Станислав
ЛЕМ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЙОНА ТИХОГО

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ФАНТАСТИКИ

Звездные дневники Ийона Тихого

Станислав Лем

Аннотация
Станислав Лем. Звездные дневники Ийона Тихого
Предисловие
Вступление к III изданию
Предисловие к расширенному изданию
Информационная заметка
Путешествие седьмое
Путешествие восьмое
Путешествие одиннадцатое
Путешествие двенадцатое
Путешествие тринадцатое
Путешествие четырнадцатое
Путешествие восемнадцатое
Путешествие двадцатое
Путешествие двадцать первое
Путешествие двадцать второе
Путешествие двадцать третье
Путешествие двадцать четвертое
Путешествие двадцать пятое
Путешествие двадцать восьмое

О выгодности дракона
Переводчики

Аннотация

Дневники знаменитого космопроходца, капитана дальнего галактического плавания, охотника за метеорами и кометами, неутомимого исследователя и первооткрывателя восьмидесяти тысяч трех миров. Путешествия Ийона Тихого полны неожиданностей и сдобрены хорошей порцией юмора и сатиры.

Станислав Лем. Звездные дневники Ийона Тихого

Предисловие

Описание доблестей Ийона Тихого, имя которого известно в обеих частях Млечного Пути, не входит в намерения издателя. Мы представляем вниманию Читателя избранные отрывки из «Звездных дневников» Ийона Тихого. Знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший восемьдесят тысяч три мира, почетный доктор университетов Обеих Медведиц, член Общества по опеке над малыми планетами и многих других обществ, кавалер млечных и туманностных орденов Ийон Тихий сам предстанет читателю в этих «Дневниках», ставящих его наравне с такими неустрашимыми мужами древности, как Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, Павел Маслобойников, Лемюэль Гулливер или магистр Алькофрибас.

Совокупность «Дневников», насчитывающих восемьдесят семь томов ин-кварто, с картами всех путешествий и приложениями (звездным словарем и ящиком с образцами), находится в

обработке у группы ученых-астрогаторов и планетников; вследствие огромного объема необходимой работы они выйдут еще не скоро. Полагая, что таить великие открытия Ийона Тихого от широчайших слоев Читателей было бы неуместно, издатель выбрал из «Дневников» небольшие отрывки и выпускает их в необработанном виде, без сносок, примечаний, комментариев и словаря космических выражений.

В подготовке «Дневников» к печати мне не помогал никто; тех, кто мне мешал, я не перечисляю, так как это заняло бы слишком много места.

АСТРАЛ СТЕРНУ ТАРАНТОГА,
профессор космической зоологии Фомальгаутского университета
Фомальгаут, 18 VI. Космической Пульсации

Вступление к III изданию

Настоящее издание сочинений Ийона Тихого, не будучи ни полным, ни критически выверенным, является все же шагом вперед по сравнению с предыдущими. Его удалось дополнить текстами двух не известных ранее путешествий — восьмого и двадцать восьмого[1]. Это последнее содержит новые подробности биографии Тихого и его предков, любопытные не только для историка, но и для физика, поскольку из них вытекает зависимость (о которой я давно догадывался) степени семейного родства от скорости[2].

Что же касается путешествия восьмого, то группа тихопсихоаналитиков перед сдачей настоящего тома в печать изучила все факты, имевшие место во сне И. Тихого[3]. В работе док-

---

[1] Примечания: 1

Е. М. Сянко. Подстилка левого ящика письменного стола И. Тихого — манускрипт его неопубликованных работ; том XVI, серия «Тихиана», с. 1193 и след.

[2] Примечания: 2

O. J. Burberrys. Kinship as velocity function in family travels; том XVII серии «Тихиана», с. 232 и след.

[3] Примечания: 3

Dr. S. Hopfstosser. Das epistemologisch Unbestrittbare in einem Traume von Ijon Tichy; спец. вып. серии «Тихиана», том VI, с. 67 и след.

тора Гопфштоссера интересующийся Читатель найдет сравнительную библиографию предмета, где раскрывается влияние снов других знаменитостей, таких как Исаак Ньютон и семейство Борджа, на сонные видения Тихого и наоборот.

Вместе с тем в настоящий том не вошло путешествие двадцать шестое, которое в конце концов оказалось апокрифом. Это доказала группа сотрудников нашего Института путем электронного сравнительного анализа текстов[4]. Стоит, пожалуй, добавить, что лично я давно уже считал так называемое «Путешествие двадцать шестое» апокрифом ввиду многочисленных неточностей в тексте; это относится, в частности, к тем местам, где речь идет об одолюгах (а не «одоленгах», как значилось в тексте), а также о Меопсере, муциохах и медлитах (Phlegmus Invariabilis Hopfstosseri).

В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его «Дневников». Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым «Лемом».

---

[4] Примечания: 4

Е. М. Сянко, А. У. Хлебец, В. У. Каламарайдысова. Частотный анализ лингвистических бета-спектров И. Тихого; том XVIII серии «Тихиана».

Согласно наиболее крайним версиям, «Лем» даже был человеком. Между тем всякий, кто хоть немного знаком с историей космоплавания, знает, что LEM — это сокращение, образованное от слов LUNAR EXCURSION MODULE, то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта «Аполло» (первая высадка на Луну). Ийон Тихий не нуждается в защите ни как автор, ни как путешественник. Тем не менее пользуюсь случаем, чтобы опровергнуть нелепые толки. Укажу, что LEM, правда, был снабжен небольшим мозжечком (электронным), но это устройство использовалось для весьма ограниченных навигационных целей и не смогло бы написать ни одной осмысленной фразы. Ни о каком другом ЛЕМе ничего не известно. О нем умалчивают как каталоги больших электронных машин (см., напр., каталог «Нортроникс», Нью-Йорк, 1966–69), так и «Большая космическая энциклопедия» (Лондон, 1979). Поэтому недостойные серьезных ученых домыслы не должны мешать кропотливой работе тихологов, от которых потребуется еще немало усилий, чтобы довести до конца многолетний труд по изданию

«OPERA OMNIA»[5] И. Тихого.

Профессор А. С. ТАРАНТОГА

Кафедра сравнительной астрозоологии Формальгаутского университета

за Редакционную комиссию «Полного собрания сочинений» Ийона Тихого,

а также

за Ученый Совет Тихологического института и Коллектив Редакции квартальника «Тихиана»

[5] Примечания: 5
«Полное собрание сочинений» (*лат.*).

Предисловие к расширенному изданию

С радостью и волнением предлагаем Читателю новое издание сочинений Ийона Тихого; здесь, наряду с текстами трех не известных ранее путешествий (восемнадцатого, двадцатого и двадцать первого), помещены любопытнейшие рисунки, выполненные рукой Автора, а также содержится ключ к ряду загадок, над которыми напрасно бились виднейшие эксперты-тихологи.

Что касается иллюстраций, то Автор долго отказывался предоставить их в наше распоряжение, утверждая, что рисовал экземпляры звездно-планетных существ — in flagranti[6] или из своей домашней коллекции — лишь для себя и к тому же в большой спешке, так что ни художественной, ни документальной ценности эти рисунки не имеют. Но, будь они даже мазней (с чем, впрочем, согласны не все знатоки), они незаменимы в качестве наглядных пособий при чтении текстов, местами весьма трудных и темных. Вот первая

---

[6] Примечания: 6
На месте (преступления) (лат.).

причина удовлетворения, которое испытывает наш коллектив.

Но кроме того, тексты новых путешествий приносят успокоение уму, жаждущему окончательного ответа на извечные вопросы, которые человек задает себе и миру; здесь сообщается, кто и почему именно так сотворил Космос, естественную и всеобщую историю, разум, бытие и прочие не менее важные вещи. Оказывается — какой приятный сюрприз для Читателя! — участие нашего достопочтенного Автора в этой сотворительной деятельности было немалым, нередко даже решающим. Поэтому понятно упорство, с которым он — из скромности — защищал ящик письменного стола, где эти рукописи хранились, и не менее понятно удовлетворение тех, кто в конце концов преодолел сопротивление Тихого. Попутно выясняется, откуда возникли проблемы в нумерации звездных дневников. Лишь изучив настоящее издание, Читатель поймет, почему Первого путешествия И. Тихого не только никогда не было, но и быть не могло; напрягши внимание, он также уяснит себе, что путешествие, названное двадцать первым, было одновременно и девятнадцатым. Правда, в этом нелегко разобраться, ибо Автор вычеркнул несколько

десятков строк в конце указанного документа. Почему? Опять-таки по причине своей непреоборимой скромности. Не будучи вправе нарушить наложенную на мои уста печать молчания, я все же решусь чуть-чуть приоткрыть эту тайну. Видя, к чему ведут попытки исправить предысторию и историю, И. Тихий в качестве Директора Темпорального института сделал нечто такое, из-за чего так и не состоялось открытие Теории Передвижения во Времени. Когда же по его указанию это открытие подверглось закрытию, то вместе с ним исчезли Программа телехронического исправления истории, Темпоральный институт и, увы, директор Института И. Тихий. Горечь утраты отчасти смягчается тем, что как раз благодаря ей мы уже можем не опасаться фатальных сюрпризов хотя бы со стороны прошлого, отчасти же тем, что безвременно усопший по-прежнему жив, хотя никоим образом не воскресал. Этот факт, признаёмся, поражает воображение; объяснение Читатель найдет в соответствующих местах настоящего издания, а именно в путешествиях двадцатом и двадцать первом.

В заключение сообщаю, что в нашем Объединении создается особое футурологическое подразделение; в соответствии с духом времени

оно при помощи метода т. н. самосбывающихся прогнозов будет изучать и те путешествия И. Тихого, которых он не совершал и совершать не намеревался.

Проф. А. С. ТАРАНТОГА

за Объединенные Институты Описательной, Сравнительной и Прогностической Тихологии и Тихографии

Информационная заметка

ПУС ОбИОСиПТТТ[7] поручил мне ознакомить галактическую общественность с обстоятельствами, при которых появилось на свет настоящее издание СПИТ[8], в обиходе именуемого «Звездными дневниками», что я и делаю.

Основополагающее стремление Ийона Тихого — это стремление к абсолютной истине. В последнее время его посетили сомнения в степени истинности того, что он себе снил на темы, предложенные ему ПУС ОбИОСиПТТТ в связи с реорганизацией указанного учреждения. Ввиду этого Ийон Тихий решил провести инвентаризацию собственной памяти при помощи МММ ПУС ОбИОСиПТТТ[9]. Поскольку тем самым под переучет подпали разделы СПИТ, в обиходе именуемые «Воспоминания Ийона Тихого», ПУС

---

[7] Примечания: 7

Президиум Ученого Совета Объединенных Институтов Описательной, Сравнительной и Прогностической Тихологии, Тихографии и Тихономики.

[8] Примечания: 8

Собрание Произведений Ийона Тихого.

[9] Примечания: 9

Математические Моделирующие Машины ПУС ОбИОСиПТТТ.

ОбИОСиПТТТ оказался перед нелегким выбором: либо приостановить печатание настоящего издания СПИТ до окончания переучета, либо издать «Звездные дневники» без «Воспоминаний».

Памятуя о возрастающем дефиците СПИТ и, следовательно, необходимости срочного удовлетворения той поистине космической потребности, какой является чтение трудов Тихого, мы решились выпустить сокращенное издание СПИТ, за которым последует публикация опущенных в нем «Воспоминаний», — как только Ийон Тихий закончит переучет.

За ПУС ОбИОСиПТТТ
Проф. А. С. ТАРАНТОГА

Постскриптум. В настоящее издание не вошли также путешествия двенадцатое и двадцать четвертое Ийона Тихого, поскольку во время перерыва на завтрак готовый уже набор был разбит никелево-марганцевым метеоритом из потока Леонид; приносим свои извинения гг. читателям за это вмешательство высшей силы.

Путешествие седьмое

Когда в понедельник, второго апреля, я пролетал вблизи Бетельгейзе, метеорит размером не больше фасолины пробил обшивку, вывел из строя регулятор мощности и повредил рули — ракета потеряла управление. Я надел скафандр, выбрался наружу и попробовал исправить повреждение, но убедился, что установить запасной руль, который я предусмотрительно захватил с собой, без посторонней помощи невозможно. Конструкторы спроектировали ракету так нелепо, что один человек не мог затянуть гайку: кто-нибудь другой должен был придерживать ключом головку болта. Сначала это меня не очень обеспокоило, и я потратил несколько часов, пытаясь удержать один ключ ногами и в то же время рукой завернуть с другой стороны гайку. Но прошло уже время обеда, а мои усилия все еще ни к чему не привели. В тот момент, когда мне это почти удалось, ключ вырвался у меня из-под ноги и умчался в космическое пространство. Так что я не только ничего не исправил, но еще и потерял ценный инструмент и лишь беспомощно

смотрел, как он удаляется, все уменьшаясь на фоне звезд.

Через некоторое время ключ вернулся по вытянутому эллипсу, но, хоть он и стал спутником ракеты, все же не приближался к ней настолько, чтобы я мог его схватить. Я вернулся в ракету и, наскоро перекусив, задумался над тем, каким образом выйти из этого дурацкого положения. Корабль тем временем летел по прямой со все увеличивающейся скоростью — ведь проклятый метеорит испортил мне и регулятор мощности. Правда, на курсе не было никаких небесных тел, но не мог же этот полет вслепую продолжаться до бесконечности. Некоторое время мне удавалось сдерживать гнев. Но когда, принявшись после обеда за мытье посуды, я обнаружил, что разогревшийся от перегрузки атомный реактор погубил лучший кусок говяжьего филе, который я оставил в холодильнике на воскресенье, я на мгновенье потерял душевное равновесие и, извергая ужаснейшие проклятия, разбил часть сервиза. Это хотя и было не очень разумно, однако принесло мне некоторое облегчение. Вдобавок выброшенная за борт говядина, вместо того чтобы улететь в пространство, не хотела расставаться с ракетой и кружила около нее,

как второй искусственный спутник, регулярно каждые одиннадцать минут и четыре секунды вызывая кратковременные солнечные затмения. Чтобы успокоить нервы, я до вечера рассчитывал элементы ее орбиты, а также возмущения, вызванные движением потерянного ключа. У меня получилось, что в течение ближайших шести миллионов лет говядина будет догонять ключ, обращаясь вокруг ракеты по круговой орбите, а потом обгонит его.

Устав от вычислений, я лег спать. Среди ночи мне показалось, что меня трясут за плечо. Я открыл глаза и увидел наклонившегося над постелью человека, лицо которого показалось мне удивительно знакомым, хотя я понятия не имел, кто бы это мог быть.

— Вставай, — сказал он, — и бери ключи. Пойдем наружу закрепим руль...

— Во-первых, мы не настолько хорошо знакомы, чтобы вы мне «тыкали», — ответил я, — а во-вторых, я точно знаю, что вас нет. Я в ракете один, и притом уже второй год, так как лечу с Земли в созвездие Тельца. Поэтому вы мне только снитесь.

Но он по-прежнему тряс меня, повторяя, чтобы я немедленно шел с ним за инструментами.

— Глупости, — отмахнулся я, уже начиная злиться, так как боялся, что эта ссора во сне разбудит меня, а я по опыту знаю, как трудно заснуть после такого внезапного пробуждения. — Никуда я не пойду, это же бессмысленно. Болт, затянутый во сне, не изменит положения, существующего наяву. Прошу не надоедать мне и немедленно растаять или исчезнуть каким-нибудь другим способом, а то я могу проснуться.

— Но ты не спишь, клянусь тебе! — воскликнуло упрямое привидение. — Ты не узнаешь меня? Взгляни!

С этими словами он прикоснулся пальцами к двум большим, как земляничины, бородавкам на левой щеке. Я непроизвольно схватился за свое лицо, потому что у меня на том же месте две точно такие же бородавки. И тут я понял, почему приснившийся напоминал мне кого-то знакомого: он был похож на меня, как одна капля воды на другую.

— Оставь меня в покое! — крикнул я и закрыл глаза, испугавшись, что проснусь. — Если ты являешься мной, то мне действительно незачем говорить тебе «вы», но вместе с тем это доказывает, что ты не существуешь.

Затем я повернулся на другой бок и натянул

одеяло на голову. Я слышал еще, как он говорил что-то об идиотизме и наконец, поскольку я не реагировал, выкрикнул:

— Ты еще пожалеешь об этом, болван! И убедишься, что это вовсе не сон, но будет поздно!

Я даже не шелохнулся. Когда я утром открыл глаза, мне сразу вспомнилось это странное ночное происшествие. Я сел на кровати и задумался о том, какие шутки играет с человеком его собственный разум: перед лицом безотлагательной необходимости, не имея на борту ни одной родственной души, я раздвоился в сонных грезах, чтобы победить опасность.

После завтрака я обнаружил, что за ночь ракета получила дополнительную порцию ускорения, и принялся листать книги бортовой библиотеки, разыскивая в справочниках совет на случай безвыходного положения, но ничего не нашел. Тогда я разложил на столе звездную карту и в свете близкой Бетельгейзе, которую время от времени заслоняла вращающаяся вокруг ракеты говядина, стал искать поблизости очаг какой-нибудь космической цивилизации, обитатели которого могли бы оказать мне помощь. Но это была настоящая звездная глушь, и все корабли обходили ее стороной как исключительно опасный район,

— здесь возникали грозные, таинственные гравитационные вихри в количестве ста сорока семи штук, существование которых объясняют шесть астрофизических теорий, и все по-разному.

Календарь космонавта предостерегал от них ввиду непредсказуемых последствий релятивистских эффектов, которые может повлечь за собой прохождение сквозь вихрь, особенно при высокой собственной скорости.

Но я был беспомощен. Я лишь подсчитал, что край первого вихря заденет мою ракету около одиннадцати, и поэтому поспешил приготовить завтрак, чтобы не бороться с опасностью натощак. Едва я вытер последнее блюдце, как ракету начало швырять во все стороны; плохо закрепленные предметы летали от стены к стене. Я с трудом добрался до кресла и, привязавшись к нему, в то время как корабль швыряло все сильнее, заметил, что словно какая-то бледно-лиловая мгла заволокла противоположную часть каюты и там, между раковиной и плитой, появилась туманная фигура человека в переднике. Человек лил взболтанные яйца на сковороду. Он взглянул на меня внимательно, но без удивления, потом видение заколебалось и исчезло. Я протер глаза. Вне всякого сомнения, я был один и поэтому

приписал это видение временному помрачению рассудка.

Я по-прежнему сидел в кресле, вернее, подпрыгивал вместе с ним, и тут меня осенило: я понял, что это совсем не галлюцинация. Когда толстый том «Общей теории относительности» пролетал мимо моего кресла, я попробовал его схватить, что удалось мне только при четвертой попытке. Листать тяжелую книгу в таких условиях было трудно — страшные силы играли кораблем, он мотался, как пьяный, но мне все-таки удалось найти нужное место. Там говорилось о феноменах так называемой петли времени, то есть об искривлении вектора времени в пределах особенно мощных гравитационных полей; это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет вспять и произойдет так называемое удвоение настоящего. Вихрь, сквозь который я сейчас проходил, не принадлежал к самым мощным. Я знал, что, если бы мне удалось хоть немного развернуть корабль к полюсу Галактики, я бы проткнул так называемый Vortex Gravitatiosus Pinckenbachii, в котором многократно наблюдалось удвоение и даже утроение настоящего.

Правда, рули не действовали, но я прошел в

реакторный отсек и манипулировал до тех пор, пока не добился небольшого отклонения курса ракеты к галактическому полюсу. Эта операция заняла у меня несколько часов. Результат превзошел все ожидания. Корабль попал в центр вихря около полуночи, вибрируя и постанывая всеми сочленениями. Я испугался, что он развалится, но он вышел из испытания с честью, а когда снова попал в объятия мертвой космической тишины, я покинул реакторный отсек и увидел самого себя сладко спящим на кровати. Я сразу понял, что это я из предыдущих суток, то есть из ночи понедельника. Не раздумывая над философской стороной этого весьма своеобразного явления, я тотчас стал трясти спящего за плечо, требуя, чтобы он быстро вставал, — я ведь не знал, как долго его понедельничное существование будет продолжаться в моем вторничном, и поэтому нам нужно было как можно скорее выйти наружу, чтобы вместе исправить руль.

Но спящий открыл только один глаз и заявил, что не желает, чтобы я ему «тыкал», а также что я только его сновидение. Напрасно я нетерпеливо тряс его, напрасно пытался силой вытащить из постели. Он отбивался, упрямо повторяя, что я ему снюсь; я начал ругаться, он логично объяс-

нил мне, что никуда не пойдет, так как болты, завинченные во сне, не будут держать рулей наяву. Напрасно я клялся, что он ошибается, поочередно то уговаривая, то проклиная; даже продемонстрированные мною бородавки не убедили его, что я говорю правду. Он повернулся ко мне спиной и захрапел. Я уселся в кресло, чтобы спокойно обдумать создавшееся положение. Я пережил его дважды, один раз как этот спящий, в понедельник, а теперь как безрезультатно будивший его во вторник. Я понедельничный не верил в реальность явления дупликации, но я вторничный уже знал о нем. Это была самая обычная петля времени. Что же делать, как исправить рули? Поскольку понедельничный продолжал спать, а также поскольку я помнил, что в ту ночь я превосходно проспал до утра, я понял, что бесполезно дальше его будить.

Карта предвещала еще множество больших гравитационных вихрей, и я мог рассчитывать на удвоение настоящего в течение следующих дней. Я хотел написать себе письмо и приколоть его булавкой к подушке, чтобы я понедельничный, проснувшись, мог воочию убедиться в реальности мнимого сна.

Но не успел я сесть к столу и взяться за перо, как

в двигателях что-то загрохотало, я бросился к ним и до утра поливал водой перегревшийся атомный реактор; а между тем понедельничный я сладко спал, да еще время от времени облизывался, что меня здорово злило. Голодный, усталый, так и не сомкнув глаз, я занялся завтраком и как раз вытирал тарелки, когда ракета вошла в следующий гравитационный вихрь. Я видел себя понедельничного, видел, как он, привязанный к креслу, ошалело смотрит, как я вторничный жарю яичницу. Потом от резкого толчка я потерял равновесие, у меня потемнело в глазах, и я упал. Очнувшись на полу среди битой посуды, я обнаружил у самого своего лица ноги стоящего надо мной человека.

— Вставай, — сказал он, поднимая меня. — Ты не ушибся?

— Нет, — ответил я, опираясь руками о пол; у меня кружилась голова. — Ты из какого дня недели?

— Из среды. Идем, надо быстро исправить рули, жаль терять время!

— А где тот, понедельничный? — спросил я.

— Его уже нет, то есть, очевидно, это ты.

— Как это я?

— Ну да, понедельничный стал в ночь с поне-

дельника на вторник вторничным и так далее...

— Не понимаю!

— Не важно, это с непривычки. Ну, пошли, не будем терять времени!

— Сейчас, — ответил я, не поднимаясь с пола. — Сегодня вторник. Если ты из среды и до этой минуты в среду рули еще не исправлены, значит, что-то помешает нам их исправить; в противном случае ты в среду уже не уговаривал бы меня, чтобы я во вторник исправлял их вместе с тобой. Может, лучше не стоит рисковать и лезть наружу?

— Бред! — воскликнул он. — Послушай, я из среды, а ты из вторника, что же касается ракеты, то я допускаю, что она, так сказать, слоистая, то есть местами в ней вторник, местами среда, а кое-где, возможно, есть даже немного четверга. Просто время перемешалось при прохождении сквозь вихри. Но какое нам до этого дело, если нас двое и поэтому есть возможность исправить рули?!

— Нет, ты не прав, — ответил я. — Если в среду, где ты уже находишься, прожив весь вторник, если, повторяю, в среду рули неисправны, то из этого следует, что они не были исправлены во вторник, потому что сейчас вторник, и, если бы мы пошли сейчас и исправили их, для тебя этот

момент был бы уже прошлым, и нечего было бы исправлять. Итак...

— Итак, ты упрям, как осел! — рявкнул он. — Ты еще раскаешься в своей глупости! Меня утешает только одно: ты будешь точно так же беситься из-за своего тупого упрямства, как я сейчас, — когда сам доживешь до среды!!!

— Ах, позволь! — воскликнул я. — Значит ли это, что в среду, став тобой, я буду пытаться уговаривать меня вторничного так, как ты это делаешь сейчас, только все будет наоборот, то есть ты будешь мной, а я тобой? Понимаю! В этом и заключается петля времени! Погоди, я иду, сейчас иду, я уже понял...

Однако прежде чем я встал с пола, мы попали в новый вихрь, и страшная тяжесть распластала нас на потолке.

Ужасные толчки и сотрясения продолжались всю ночь со вторника на среду. Когда стало немного поспокойнее, летающий по каюте том «Общей теории относительности» с такой силой ударил меня по голове, что я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел осколки посуды и лежащего среди них человека. Я вскочил и, поднимая его, воскликнул:

— Вставай! Ты не ушибся?

— Нет, — ответил он, открывая глаза. — Ты из какого дня недели?

— Из среды. Идем, надо быстро исправить рули, жаль терять время.

— А где тот, понедельничный? — спросил он, садясь. Под глазом у него был синяк.

— Его уже нет, — сказал я. — То есть, очевидно, это ты.

— Как это я?

— Ну да, понедельничный стал в ночь с понедельника на вторник вторничным и так далее...

— Не понимаю!

— Не важно, это с непривычки. Ну, пошли, не будем терять времени!

Говоря это, я начал осматриваться в поисках инструментов.

— Сейчас, — ответил он не спеша, даже не шевельнув пальцем. — Сегодня вторник. Если ты из среды и до этой минуты в среду рули еще не исправлены, значит, что-то помешает нам их исправить; в противном случае ты в среду уже не уговаривал бы меня, чтобы я во вторник исправлял их вместе с тобой. Может, лучше не стоит рисковать и лезть наружу?

— Бред! — заорал я, рассвирепев. — Послушай, я из среды, а ты из вторника...

Мы начали ругаться, поменявшись ролями, причем он в самом деле довел меня до бешенства, потому что никак не соглашался чинить со мной рули, и я тщетно называл его упрямым ослом. А когда мне наконец удалось его уговорить, мы попали в очередной гравитационный вихрь. Я обливался холодным потом, так как подумал, что теперь мы будем крутиться в этой петле времени, как в клетке, до бесконечности, но, к счастью, этого не случилось. Когда тяготение уменьшилось настолько, что я смог подняться, я снова был один в кабине. Очевидно, локальный вторник, застрявший рядом с раковиной, исчез, бесповоротно став прошлым. Я немедленно сел за карту, отыскивая какой-нибудь порядочный вихрь, в который мог бы ввести ракету, вызвать новое искривление времени и таким образом обрести помощника.

Наконец я нашел один, довольно многообещающий, и, маневрируя двигателями, с большим трудом направил ракету так, чтобы пересечь его в самом центре. Правда, конфигурация этого вихря была, как показывала карта, весьма необычна — он имел два расположенных рядом центра. Но я уже настолько отчаялся, что не обратил внимания на эту аномалию.

Во время многочасовой возни в моторном отсеке я сильно запачкал руки и решил помыться, так как до входа в вихрь времени оставалось еще много. Ванная была закрыта. Из нее доносилось бульканье, словно кто-то полоскал горло.

— Кто там?! — крикнул я удивленно.

— Я, — ответил голос изнутри.

— Какой еще «я»?

— Ийон Тихий.

— Из какого дня?

— Из пятницы. Тебе чего?

— Хочу помыть руки... — бросил я машинально, заставив свой мозг работать с максимальной интенсивностью: сейчас среда, вечер, он из пятницы, значит, гравитационный вихрь, в который должен был войти корабль, искривил время из пятницы в среду, но я никак не мог сообразить, что будет внутри вихря дальше. Особенно занимало меня, куда мог деваться четверг? Пятничный между тем все еще не впускал меня в ванную, продолжая возиться внутри, несмотря на то, что я упорно стучал в дверь.

— Перестань полоскать горло! — заорал я наконец, потеряв терпение. — Дорога каждая минута — выходи немедленно, починим рули!

— Для этого я тебе не нужен, — флегматично

ответил он из-за двери, — где-то там должен быть четверговый, иди с ним...

— Какой еще четверговый? Это невозможно...

— Наверное, я лучше знаю, возможно это или нет. Я-то уже в пятнице и, стало быть, пережил и твою среду, и его четверг...

Ощущая легкое головокружение, я отошел от двери и действительно услышал шум в каюте: там стоял человек и вытаскивал из-под кровати футляр с инструментами.

— Ты четверговый?! — воскликнул я, вбегая в каюту.

— Да, — ответил он. — Да... Помоги мне...

— А удастся нам сейчас исправить рули? — спросил я его, когда мы вместе вытаскивали из-под кровати сумку с инструментами.

— Не знаю, в четверг они еще не были исправлены, спроси у пятничного...

Действительно, как это я не догадался! Я быстро подбежал к двери ванной.

— Эй! Пятничный! Рули уже исправлены?..

— В пятницу нет.

— Почему?

— Потому, — ответил он, одновременно отворяя дверь. Его голова была обмотана полотенцем, а ко лбу он прижимал лезвие ножа, пытаясь

остановить рост большой, как яйцо, шишки. Четверговый, подошедший в это время с инструментами, остановился рядом со мной, спокойно и внимательно разглядывая пострадавшего, который свободной рукой ставил на полку бутылку со свинцовой примочкой. Это ее бульканье я принимал за полоскание горла.

— Что это тебя так? — спросил я сочувственно.

— Не что, а кто. Это был воскресный.

— Воскресный? Зачем... Не может быть!

— Это долгая история...

— Все равно! Быстро наружу, может, успеем! — повернулся ко мне четверговый.

— Но ракета вот-вот войдет в вихрь, — ответил я. — Толчок может выбросить нас в пустоту, и мы погибнем...

— Не болтай глупостей, — сказал четверговый. — Если существует пятничный, с нами ничего не может случиться. Сегодня только четверг...

— Среда! — возразил я.

— Ладно, это безразлично, во всяком случае, в пятницу я буду жить. И ты тоже.

— Но ведь это только кажется, что нас двое, — заметил я, — на самом деле я один, только из разных дней недели...

— Хорошо, хорошо, открывай люк...

Но тут оказалось, что у нас на двоих только один скафандр. Следовательно, мы не могли оба выйти из ракеты одновременно, и план исправления рулей провалился.

— А, черт возьми! — воскликнул я зло, швыряя сумку с инструментами. — Нужно было надеть скафандр и не снимать его — я об этом не подумал, но ты, как четверговый, должен был об этом помнить!

— Скафандр у меня отобрал пятничный.

— Когда? И зачем?

— Э, не все ли равно, — пожал он плечами и, повернувшись, ушел в каюту.

Пятничного в ней не было. Я заглянул в ванную, но и она была пуста.

— Где пятничный? — спросил я, пораженный.

Четверговый аккуратно разбивал ножом яйца и выливал их содержимое в шипящий жир.

— Наверное, где-нибудь в районе субботы, — спокойно ответил он, быстро помешивая яичницу.

— О, прошу прощения, — запротестовал я, — свой рацион за среду ты уже съел, ты не имеешь права второй раз за среду ужинать!

— Эти запасы настолько же твои, насколько мои. — Он спокойно приподнимал пригорающие

края яичницы ножом. — Я являюсь тобой, а ты — мной, так что это все равно...

— Что за софистика! Не клади так много масла! Ошалел? У меня не хватит запасов на такую ораву!

Сковородка выскочила у него из рук, а я отлетел к стенке — мы вошли в новый вихрь. Корабль снова трясся как в лихорадке, но я думал только о том, чтобы попасть в коридор и надеть скафандр. Таким образом, рассуждал я, когда после среды придет четверг, я четверговый буду уже в скафандре и если только ни на мгновение его не сниму, как я твердо решил, то он окажется на мне и в пятницу. Тогда я из четверга, так же как я из пятницы, мы оба будем в скафандрах и, встретившись в одном настоящем, сможем наконец исправить эти чертовы рули. Из-за увеличения силы тяжести я потерял сознание, а когда открыл глаза, заметил, что лежу по правую руку четвергового, а не по левую, как несколько минут назад. Придумать план со скафандром было несложно, гораздо труднее было привести его в исполнение — из-за возросшей тяжести я едва мог шевелиться. Как только тяготение хоть немного ослабевало, я проползал несколько миллиметров к двери, ведущей в коридор. При этом

я заметил, что четверговый, так же как и я, понемногу продвигается к двери. Наконец примерно час спустя — вихрь был очень обширный — мы встретились, распластанные, на полу у порога. Я подумал, что напрасно трачу силы, стараясь дотянуться до ручки, — пусть дверь откроет четверговый. Одновременно я начал припоминать разные вещи, из которых следовало, что это я теперь четверговый, а не он.

— Ты из какого дня? — спросил я, чтобы удостовериться окончательно. Мой подбородок был прижат к полу, мы лежали нос к носу. Он с трудом разжал губы.

— Из чет... верга... — простонал он.

Это было странно. Неужели я все еще в среде? Перебрав в уме последние события, я решил, что это исключено. Значит, он должен быть уже пятничным. Поскольку он до сих пор обгонял меня на день, так должно было быть и сейчас. Я ждал, чтобы он открыл дверь, но, кажется, он ожидал того же от меня. Сила тяжести заметно уменьшилась, я встал и побежал в коридор. Когда я схватил скафандр, он подставил мне ножку и вырвал скафандр у меня из рук, а я во весь рост растянулся на полу.

— Ах ты мерзавец, скотина! — крикнул я. — На-

дуть самого себя, какая подлость!

Но он, не обращая на меня внимания, молча надевал скафандр. Это было просто наглостью. Вдруг какая-то непонятная сила вышвырнула его из скафандра, в котором, как оказалось, уже кто-то сидел. В первый момент я растерялся, совершенно не понимая, кто кем является.

— Эй, средовый! — закричал тот, в скафандре. — Не пускай четвергового, помоги мне!

Четверговый и в самом деле пытался сорвать с него скафандр.

— Давай скафандр! — рычал четверговый.

— Отвяжись! Чего ты пристал?! Ты что, не понимаешь, он должен быть у меня, а не у тебя?! — отвечал голос из скафандра.

— Интересно, почему?

— Потому, дурень, что я ближе к субботе, чем ты, а в субботу нас будет уже двое в скафандрах!

— Ерунда, — вмешался я, — в лучшем случае в субботу ты будешь в скафандре один как последний идиот и ничего не сможешь сделать. Отдай скафандр мне: если я его сейчас надену, то ты тоже будешь иметь его в пятницу, как пятничный, так же как и я в субботу, как субботний, а значит, в этом случае нас будет двое с двумя скафандрами... Четверговый, помоги!!

— Перестань! — отбивался пятничный, с которого я силой сдирал скафандр. — Во-первых, тебе некого звать, четверговый, минула полночь, и ты сам теперь четверговый, а во-вторых, будет лучше, если я останусь в скафандре, — тебе он все равно ни к чему...

— Почему? Если я его сегодня надену, то он будет на мне и завтра.

— Сам убедишься... Я ведь уже был тобой в четверг, мой четверг уже миновал, я знаю, что говорю...

— Хватит болтать. Пусти сейчас же! — заорал я.

Но он вырвался от меня, и я начал за ним гоняться сначала по камере реактора, а потом мы один за другим ввалились в каюту. Случилось как-то так, что нас осталось только двое. Теперь я понял, почему четверговый сказал, когда мы стояли с инструментами у люка, что пятничный отнял у него скафандр: за это время я сам стал четверговым, и это у меня его забрал пятничный. Но я и не думал сдаваться. «Погоди, я тебе покажу», — подумал я, выбежал в коридор, оттуда в реакторный отсек, где во время погони заметил лежащую на полу тяжелую железную палку, служившую для помешивания в атомном котле.

Я схватил ее и, вооружившись таким образом, помчался в каюту. Пятничный был уже в скафандре, только шлема еще не успел надеть.

— Снимай скафандр! — бросил я ему в лицо, сжимая палку.

— И не подумаю.

— Снимай, говорят тебе!!

На мгновение я заколебался, не решаясь его ударить. Меня немного смущало, что у него не было ни синяка под глазом, ни шишек на лбу, как у того пятничного, обнаруженного мною в ванной, но вдруг сообразил, что именно так и должно быть. Тот пятничный теперь уже наверняка стал субботним, а возможно, даже шатается где-нибудь в районе воскресенья, зато присутствующий здесь пятничный недавно был четверговым, в которого я превратился в полночь, так что по нисходящей кривой петли времени я приближался к месту, где пятничный, еще непобитый, должен был превратиться в побитого пятничного. Но ведь он сказал, что его отделал воскресный, а того пока не было и в помине — в каюте мы находились вдвоем, он и я. Вдруг у меня мелькнула блестящая идея.

— Снимай скафандр! — рявкнул я грозно.

— Четверговый, отцепись! — закричал он.

— Я не четверговый! Я воскресный! — заорал я, бросаясь в атаку.

Он попытался меня лягнуть, но ботинки у скафандра очень тяжелые, и, пока он поднимал ногу, я успел ударить его палкой по голове. Разумеется, не слишком сильно — я уже настолько разбирался во всем этом, чтобы понимать, что, в свою очередь, я сам, став из четвергового пятничным, получу по лбу, а у меня не было никакого желания проламывать самому себе череп. Пятничный упал и, застонав, схватился за голову, а я грубо сорвал с него скафандр. Он, пошатываясь, пошел в ванную, бормоча: «Где вата... где свинцовая примочка...» — а я начал быстро влезать в скафандр, за который мы так боролись, но вдруг заметил торчащую из-под кровати ногу. Встав на колени, я заглянул туда. Под кроватью лежал человек и, стараясь заглушить чавканье, поспешно пожирал последнюю плитку молочного шоколада, которую я оставил в сундучке на черный галактический день; негодяй так спешил, что ел шоколад вместе с кусочками станиоля, поблескивавшими у него на губах.

— Оставь шоколад! — заорал я, дергая его за ногу. — Ты кто такой? Четверговый?.. — спросил я уже тише, охваченный внезапной тревогой:

может быть, я становлюсь сейчас пятничным и мне теперь достанутся побои, которыми я сам недавно наградил пятничного?

— Я воскресный, — пробормотал он с набитым ртом.

Мне стало не по себе. Либо он врал, и тогда это не имело значения, либо говорил правду, и в таком случае перспектива получения шишек была неминуема: это ведь воскресный поколотил пятничного. Пятничный сам мне об этом сказал, а я потом, прикинувшись воскресным, стукнул его палкой. Но, подумал я, если даже он врет, что он воскресный, то, во всяком случае, возможно, он более поздний, чем я, а раз так — помнит все, что помню я, следовательно, он уже знает, как я обманул пятничного, и потому, в свою очередь, может надуть меня аналогичным образом, — то, что было моей военной хитростью, для него просто воспоминание, которым можно воспользоваться. Пока я раздумывал, как быть, он доел шоколад и вылез из-под кровати.

— Если ты воскресный, где твой скафандр?! — воскликнул я, осененный новой мыслью.

— Сейчас он у меня будет, — сказал он спокойно, и вдруг я заметил в его руке палку... а потом увидел сильную вспышку, словно взорвались

десятки сверхновых одновременно, и потерял сознание.

Очнулся я, сидя на полу в ванной, в которую кто-то ломился. Я начал осматривать синяки и шишки, а снаружи все еще стучали в дверь: оказалось, это средовый. Я показал ему мою голову, украшенную шишками, он пошел с четверговым за инструментами, потом началась погоня, драка за скафандр; наконец я как-то пережил и это и субботним утром влез под кровать, чтобы проверить, не завалялась ли в сундучке хоть плитка шоколада. Кто-то потянул меня за ногу, когда я доедал последнюю плитку, найденную под рубашками; это был я, не знаю уж, из какого дня, но на всякий случай я стукнул его палкой по голове, снял с него скафандр и уже собирался одеться, как ракета вошла в новый вихрь.

Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми. Передвигаться по ней было почти невозможно. Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель, месяцев, а один, кажется, даже из будущего года. Много было побитых, с синяками, а пятеро из присутствующих были в скафандрах. Но вместо того чтобы немедленно выйти наружу и исправить повреждение, они начали спорить, ругаться, торговаться и ссориться. Они выясняли,

кто кого побил и когда. Положение осложнялось тем, что уже появились дополуденные и послеполуденные, и я начал опасаться, что, если так пойдет дальше, я раздроблюсь на минутных и секундных и, кроме того, большинство присутствующих врали без запинки, и я до сих пор не знаю по-настоящему, кого бил я и кто бил меня, пока вся эта история крутилась в треугольнике четверговый — пятничный — средовый, которыми я был поочередно. По-моему, оттого, что я сам врал пятничному, будто я воскресный, меня поколотили на один раз больше, чем следовало по календарю. Но я предпочитаю даже мысленно не возвращаться к этим неприятным воспоминаниям — человеку, который целую неделю ничего не делал другого, как только лупил самого себя, гордиться особенно нечем.

Тем временем ссоры продолжались. Меня охватывало отчаяние из-за бессмысленной потери времени, а ракета между тем неслась вслепую, то и дело попадая в гравитационные вихри. В конце концов те, что были в скафандрах, подрались с остальными. Я пробовал навести хоть какой-нибудь порядок в этом теперь уже полном хаосе, и наконец после нечеловеческих усилий мне удалось организовать что-то вроде собрания,

причем тот, который явился из будущего года, как самый старший, был единодушно избран председателем.

Потом мы выбрали счетную комиссию, согласительную комиссию и редакционную комиссию, а четверым из будущего месяца поручили охрану порядка. Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь, уменьшивший наше количество наполовину, так что при тайном голосовании не оказалось кворума и перед выдвижением кандидатов на ремонт рулей пришлось менять регламент. Карта предвещала приближение к очередным вихрям, которые свели бы на нет достигнутые успехи. И вот началось: то исчезали уже избранные кандидаты, то вновь появлялись вторничный и пятничный с обмотанными полотенцами головами и начинали некрасивые скандалы... После прохода через мощный положительный вихрь мы едва помещались в каюте и коридоре, а о том, чтобы открыть люк, нечего было и думать из-за недостатка места. Хуже всего было, однако, то, что размеры временных сдвигов все увеличивались, появлялись какие-то седоватые личности, а кое-где даже виднелись коротко остриженные мальчишечьи головы; разумеется, всеми этими

мальчишками был я сам.

Честно говоря, я не знаю, был ли я все еще воскресным или уже понедельничным. Впрочем, это все равно не имело никакого значения. Дети плакали — их придавили в толпе — и звали маму; председатель — Тихий из будущего года — ругался как сапожник, потому что Тихий из среды, который в напрасных поисках шоколада залез под кровать, укусил председателя за ногу, когда тот наступил ему на палец. Я видел, что все это кончится плохо, тем более что там и сям появлялись уже седые бороды. Между сто сорок вторым и сто сорок третьим вихрями я пустил по рукам анкету, но оказалось, что многие из присутствующих бессовестно лгут. Зачем — одному Богу известно; возможно, царящая на корабле атмосфера помутила их разум. Шум и галдеж были такие, что приходилось кричать. Вдруг какому-то из прошлогодних Ийонов пришла в голову удачная, как всем показалось, идея, чтобы старейший из нас рассказал историю своей жизни; это позволило бы выяснить, кто именно должен исправить рули. Ведь самый старший вмещал в своем опыте опыт всех присутствующих из разных месяцев, дней и лет.

С этой просьбой мы обратились к седовласому

старцу, который, слегка трясясь, стоял у стены. Он начал длинно и подробно рассказывать нам о своих детях и внуках, а потом перешел к космическим путешествиям — за свои, пожалуй, девяносто лет он совершил их несметное количество. Того, которое происходило сейчас и которое нас интересовало, старец не помнил вообще вследствие общего склероза и возбуждения, но он был настолько самонадеян, что никак не хотел в этом признаваться и уходил от ответа, упорно возвращаясь к своим большим связям, орденам и внучатам; мы не выдержали, наорали на него и велели замолчать.

После двух следующих вихрей толпа значительно поредела. После третьего не только стало свободнее, но исчезли и все в скафандрах. Остался только один пустой скафандр. Мы сообща повесили его в коридоре и продолжали заседать. После новой драки за овладение этим столь ценным нарядом ракета вошла в очередной вихрь, и вдруг стало пусто.

Я сидел на полу, со вспухшими глазами, в удивительно просторной каюте, среди разбитой мебели, обрывков одежды и разодранных книг. Пол был засыпан бюллетенями для голосования. Карта сообщила, что я уже прошел всю зону

гравитационных вихрей. Потеряв надежду на дупликацию, а значит, и на устранение дефекта, я впал в полное отчаяние.

Выглянув через некоторое время в коридор, я с удивлением увидел, что скафандр исчез. Тогда, как сквозь туман, я вспомнил, что перед последним вихрем двое мальчишек украдкой выскользнули из каюты. Неужели они вдвоем влезли в один скафандр?! Пораженный внезапной мыслью, я бросился к рулям. Они действовали! Значит, ребята исправили повреждение, пока мы увязали в бесплодных спорах. Вероятно, один всунул руки в рукава скафандра, а другой — в штанины; так они могли одновременно держать два ключа по обеим сторонам рулей. Пустой скафандр я нашел в кессоне, за люком. Я внес его в ракету, словно реликвию, испытывая бесконечную благодарность к тем отважным мальчуганам, которыми я был так давно!

Так кончилось, пожалуй, одно из наиболее удивительных моих приключений. Я благополучно долетел до цели благодаря уму и отваге, проявленным мною в облике двоих детей.

Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли себе распространять гнусные сплетни, будто я питаю слабость к

алкоголю и, тщательно скрывая это на Земле, предаюсь своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному Богу известно, какие еще сплетни распространялись по этому поводу, но таковы уж люди: они охотней верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам, которые я позволил себе здесь изложить.

Путешествие восьмое

Итак, свершилось. Я стал делегатом Земли в Организации Объединенных Планет, вернее, кандидатом, хотя и это неточно, ведь Генеральной Ассамблее предстояло рассмотреть кандидатуру всего человечества, а не мою.

В жизни я так не волновался. Пересохший язык деревяшкой стучал о зубы, а когда я шел по расстеленной от астробуса красной дорожке, то не мог понять, она ли так мягко пружинит подо мной или подгибаются мои колени. Следовало быть готовым к выступлению, а я слова не вымолвил бы через спекшееся от волнения горло; поэтому, заметив большой автомат с хромированной стойкой и прорезью для монет, я поспешно бросил туда медяк и поставил под кран предусмотрительно захваченный с собой стаканчик от термоса. Это был первый в истории человечества межпланетный дипломатический инцидент: мнимый автомат с газировкой оказался заместителем председателя тарраканской делегации в парадной форме. К счастью, именно тарракане взялись представить нашу кандидату-

ру на сессии, чего я, однако, еще не знал, а то, что этот высокопоставленный дипломат заплевал мне ботинки, счел дурным знаком, и совершенно напрасно: то были всего лишь ароматные выделения приветственных желез. Я сразу все понял, приняв информационно-переводческую таблетку, любезно предложенную мне одним из сотрудников ООП; звучавшее вокруг дребезжанье тотчас же превратилось в совершенно понятную речь, каре из алюминиевых кеглей на конце мягкой ковровой дорожки обернулось ротой почетного караула, встретивший меня тарраканин, прежде походивший на громадный рулет, показался старым знакомым, а его наружность — самой обычной. Только волнение не отпускало меня. Подъехал небольшой самовоз, специально переоборудованный для перевозки двуногих существ вроде меня, я сел, а тарраканин, втиснувшись туда с немалым трудом и усаживаясь одновременно справа и слева от меня, сказал:

— Уважаемый землянин, должен извиниться за маленькую организационную неполадку; к сожалению, председатель нашей делегации, который, в качестве специалиста-землиста, мог бы лучше всего представить вашу кандидатуру, вчера вечером был отозван в столицу, так что

мне придется его заменить. Надеюсь, дипломатический протокол вам знаком?..

— Нет... у меня не было случая... — пробормотал я, безуспешно пытаясь устроиться в кресле этого экипажа, все-таки не вполне приспособленного для человеческого тела. Сиденье напоминало почти полуметровую квадратную яму, и на выбоинах колени врезались в лоб.

— Ладно, как-нибудь справимся... — сказал тарраканин. Его одеяние с хорошо проглаженными, гранеными, металлически поблескивающими складками (недаром я принял его за буфетную стойку) чуть звякнуло, а он, откашлявшись, продолжал: — Историю вашу я знаю; человечество, ах, это просто великолепно! Конечно, знать все — моя прямая обязанность. Наша делегация выступит по восемьдесят третьему пункту повестки дня — о принятии вас в состав Ассамблеи в качестве ее действительных, полных и всесторонних членов... а верительные грамоты вы, случаем, не потеряли?! — спросил он так внезапно, что я вздрогнул и усиленно замотал головой.

Этот пергаментный рулон, уже слегка размякший от пота, я стискивал в правой руке.

— Хорошо, — сказал он. — Итак, я выступлю с речью — не так ли? — обрисую блестящие до-

стижения, дающие вам право занять место в Астральной Федерации... вам понятно, конечно, это всего лишь архаическая формальность, вы ведь не ожидаете оппонирующих выступлений... а?

— Н-нет... не думаю... — пробормотал я.

— Ну конечно! Да и с чего бы? Итак, простая формальность, не так ли, и все же не помешали бы кое-какие данные. Факты, подробности, вы понимаете? Атомной энергией вы, конечно, уже овладели?

— О да! Да! — с готовностью подтвердил я.

— Отлично. Ага, и верно, у меня это есть, председатель оставил мне свои заметки, но его почерк... гм... итак, как давно вы овладели этой энергией?

— Шестого августа 1945 года!

— Превосходно. Что это было? Атомная электростанция?

— Нет, — ответил я, чувствуя, что краснею. — Атомная бомба. Она уничтожила Хиросиму...

— Хиросиму? Это что, астероид?

— Нет... город.

— Город?.. — переспросил он с легкой тревогой. — Тогда, как бы это сказать... Лучше ничего не говорить! — вдруг решил он. — Да, но какие-то основания для похвал все же необходимы. Под-

скажите-ка что-нибудь, только быстрее, мы уже подъезжаем.

— Э-э... космические полеты... — начал я.

— Это само собой, иначе бы вас тут не было, — пояснил он, пожалуй, слишком бесцеремонно, как мне показалось. — На что вы тратите основную часть национального дохода? Ну, вспомните — какие-нибудь крупные инженерные проекты, архитектура космического масштаба, пусковые гравитационно-солнечные установки, ну? — быстро подсказывал он.

— Да-да, строится... кое-что строится, — подтвердил я. — Национальный доход не слишком велик, много уходит на арми...

— Армирование? Чего, континентов? Против землетрясений?

— Нет... на армию...

— Что это? Хобби?

— Не хобби... внутренние конфликты... — лепетал я.

— Это никакая не рекомендация! — заявил он с явным неудовольствием. — Не из пещеры же вы сюда прилетели! Ваши ученые давно должны были рассчитать, что общепланетное сотрудничество безусловно выгоднее борьбы за добычу и гегемонию!

— Рассчитали, рассчитали, но есть причины... исторические причины, знаете ли...

— Не будем об этом! — перебил он. — Ведь я тут не для того, чтобы защищать вас как обвиняемых, но чтобы рекомендовать вас, аттестовать, подчеркивать ваши достоинства и заслуги. Вам понятно?

— Понятно.

Язык у меня онемел, словно замороженный, воротничок фрачной рубашки был тесен, пластрон размяк от пота, лившего с меня ручьем, верительные грамоты зацепились об ордена, и верхний лист надорвался. Тарраканин — вид у него был нетерпеливый, а вместе с тем высокомерно-пренебрежительный и как бы отсутствующий — заговорил неожиданно спокойно и мягко (сразу было видно матерого дипломата!):

— Лучше я расскажу о вашей культуре. О ее выдающихся достижениях. Культура-то у вас есть?! — резко спросил он.

— Есть! И превосходнейшая! — заверил я.

— Вот и хорошо. Искусство?

— О да! Музыка, поэзия, архитектура...

— Ага, архитектура все же имеется! Отлично. Это я запишу. Взрывные средства?

— Как это — взрывные?

— Ну, созидательные взрывы, управляемые, для регулирования климата, перемещения континентов или же рек, — есть у вас?

— Пока только бомбы... — сказал я и уже шепотом добавил: — Зато самые разные — с напалмом, фосфором, даже с отравляющим газом...

— Это не то, — сухо заметил он. — Будем держаться духовной жизни. Во что вы верите?

Этот тарраканин, которому предстояло рекомендовать нас, не был, как я уже догадался, сведущ в земных делах, и при мысли о том, что от выступления существа столь невежественного зависит, быть или не быть нам на галактическом форуме, у меня, по правде сказать, перехватило дыхание. Вот невезенье, думал я, и надо же было как раз сейчас отозвать настоящего специалиста-землиста!

— Мы верим во всеобщее братство, в превосходство мира и сотрудничества над ненавистью и войнами, считаем, что мерой всех вещей должен быть человек...

Он положил тяжелый присосок мне на колено.

— Ну, почему же именно человек? Впрочем, оставим это. Ваш перечень состоит из одних отрицаний — отсутствие войн, отсутствие ненависти... Ради Галактики! У вас что, нет никаких

положительных идеалов?

Мне было невыносимо душно.

— Мы верим в прогресс, в лучшее будущее, в могущество науки...

— Ну, наконец-то! — воскликнул он. — Так, наука... это хорошо, это мне пригодится. На какие науки вы расходуете больше всего?

— На физику, — ответил я. — Исследования в области атомной энергии.

— Это я уже слышал. Знаете что? Вы только молчите. Я сам этим займусь. Выступлю, и все такое. Положитесь во всем на меня. Ну, в добрый час!

Машина остановилась у здания. Голова у меня кружилась, перед глазами плыло; меня вели хрустальными коридорами, какие-то невидимые преграды раздвигались с мелодическим вздохом, я мчался вниз, вверх и опять вниз, тарраканин стоял рядом, огромный, молчаливый, в складках металла; вдруг все замерло; стекловидный пузырь раздулся передо мной и лопнул. Я стоял на нижнем ярусе зала Генеральной Ассамблеи. Девственно белый амфитеатр, отливая серебром, расширялся воронкой и уходил вверх полукружьями скамей; далекие, крошечные фигурки делегатов расцвечивали белизну спиральных рядов изумрудом, золотом, пурпуром, вспыхивали

мириадами таинственных искр. Я не сразу смог отличить глаза от орденов, конечности от их искусственных продолжений, я видел только, что они оживленно жестикулируют, пододвигают к себе кипы документов, разложенных на белоснежных пюпитрах, и еще — какие-то черные, сверкающие как антрацит таблички; а напротив меня, в нескольких десятках шагов, обнесенный справа и слева стенами электрических машин, восседал на возвышении перед целой рощицей микрофонов председатель. В воздухе носились обрывки бесед на тысяче языков сразу, и диапазон этих звездных наречий простирался от самых низких басов до птичьего щебета. С таким чувством, словно пол подо мною проваливается, я одернул свой фрак. Раздался протяжный, нескончаемый звук — это председатель включил машину, которая молотком ударила по пластине из чистого золота. Металлическая вибрация ввинтилась в самые уши. Тарраканин, возвышаясь надо мной, показал мне наши места, голос председателя поплыл из невидимых мегафонов, а я, прежде чем сесть перед табличкой с названием родной планеты, обвел глазами ряды, все выше и выше, в поисках хотя бы одной братской души, хоть одного человекообразного существа,

— впустую. Огромные клубни приятных, теплых тонов; завитушки какого-то смородинового желе; мясистые плодоножки, опершиеся на пюпитры; обличья темно-коричневые, как хорошо заправленный паштет, или светлые, как рисовая запеканка; присоски, прищупки, вцеплялки, держащие судьбы звезд, ближних и дальних, проплывали передо мной словно в замедленной съемке, в них не было ничего кошмарного, ничего вызывающего отвращение, вопреки всему, что думали мы на Земле, словно это были не звездные чудища, а творения ваятеля-абстракциониста или кулинара с буйной фантазией...

— Пункт восемьдесят второй, — прошипел мне на ухо тарраканин и сел.

Сел и я. Надел наушники, лежавшие на пюпитре, и услышал:

— Как отмечается в протоколе специальной подкомиссии ООП, устройства, которые, согласно договору, ратифицированному этим высоким собранием, были поставлены, с точным соблюдением всех пунктов означенного договора, Альтаирским Содружеством Шестерному Объединению Фомальгаута, проявляют свойства, не могущие быть результатом незначительных отклонений от технологических требований,

апробированных высокими договаривающимися сторонами. Хотя, как справедливо отметило Альтаирское Содружество, договором о платежах между обеими высокими договаривающимися сторонами нами предусматривалось, что произведенные Альтаиром просеиватели излучения и планеторедукторы будут наделены способностью к воспроизводству машинного потомства, однако означенная потенция должна была проявляться, сообразно принятой во всей Федерации инженерной этике, в виде сингулярного почкования, без использования для этой цели программ с противоположными знаками, что, к сожалению, как раз и произошло. Такая полярность программ привела к нарастанию любострастных антагонизмов в главных энергетических блоках Фомальгаута, что, в свою очередь, стало причиной оскорбляющих общественную нравственность сцен и крупных материальных убытков. Изготовленные поставщиком агрегаты, вместо того чтобы целиком отдаваться труду, для которого они предназначены, часть рабочего времени отводили на процедуры размножения, причем их неустанная беготня со штепселями, имеющая целью акт воспроизводства, повлекла за собой нарушение Панундских Статутов и вызвала к

жизни феномен машинографического пика, причем вина за оба эти достойных сожаления факта лежит на ответчике. В силу вышеизложенного настоящим постановлением задолженность Фомальгаута аннулируется.

Я снял наушники — голова разболелась вконец. Черт бы побрал машинное оскорбление общественной нравственности, Альтаир, Фомальгаут и все остальное! Я был по горло сыт ООП, еще не став ее членом. Мне сделалось нехорошо. Зачем я послушался профессора Тарантогу? Зачем я принял эту ужасную должность, вынуждающую меня сгорать со стыда за чужие грехи? Не лучше ли было бы...

Меня как будто прошило током — на огромном табло загорелись цифры 83, и тут же я почувствовал энергичный рывок. Это мой тарраканин, вскочив на присоски, а может, щупальца, потянул меня за собой. Юпитеры, плавающие под сводами зала, обрушили на нас поток голубого света, лучистое сияние, казалось, просвечивало меня насквозь. Я машинально сжимал в руке уже совершенно размякший рулон верительных грамот; чуть ли не в самом ухе раздавался мощный бас тарраканина, гремевшего с воодушевлением и непринужденностью на весь амфитеатр, но

слова доходили до меня урывками, как брызги шторма до смельчака, склонившегося над волнорезом.

— ...Изумительная Зимья (он даже не мог как следует выговорить название моей родины!)... великолепное человечество... прибывший сюда его выдающийся представитель... изящные, миловидные млекопитающие... атомная энергия, с редкостной виртуозностью освобожденная их верхними лапками... молодая, динамичная, одухотворенная культура... глубокая вера в плюцимолию, хотя и не лишенная амфибрунтов (он явно путал нас с кем-то)... преданные делу единства космонаций... в надежде, что принятие их в ряды... завершая период эмбрионального социального прозябания... одинокие, затерянные на своей галактической периферии... выросли смело и самостоятельно, и достойны...

«Пока что, несмотря ни на что, неплохо, — подумал я. — Он нас хвалит, все как будто в порядке... но что это?»

— Конечно, их парность... их жесткий каркас... следует, однако, понять... в этом Высоком Собрании имеют право на представительство даже отклонения от нормы... никакая аберрация не позорна... тяжелые условия, сформировавшие

их... водянистость, даже соленая, не может, не должна стать помехой... с нашей помощью они когда-нибудь изживут свой кошма... свой нынешний облик, который это Высокое Собрание, со свойственным ему великодушием, оставит без внимания... поэтому от имени тарраканской делегации и Союза Звезд Бетельгейзе вношу предложение о принятии человечества с планеты Зумья в ряды ООП и предоставлении присутствующему здесь благородному зумьянину полных прав делегата, аккредитованного при Организации Объединенных Планет. Я кончил.

Раздался оглушительный шум, прерываемый загадочными посвистываниями; рукоплесканий не было, да и не могло быть за отсутствием рук; удар гонга оборвал этот гомон, и я услышал голос председателя:

— Желает ли какая-либо из высоких делегаций выступить по вопросу о кандидатуре человечества с планеты Зимья?

Тарраканин, сияющий и, как видно, весьма довольный собой, увлек меня на скамью. Я сел, глухо бормоча слова благодарности, и тут же два бледно-зеленых луча выстрелили из разных точек амфитеатра.

— Слово имеет представитель Тубана! — произ-

нес председатель.

Что-то встало.

— Высокий Совет! — услышал я далекий, пронзительный голос, похожий на скрежет разрезаемой жести; но вскоре я перестал замечать его тембр. — Из уст пульпитора Воретекса мы услышали теплый отзыв о доселе неизвестном Собранию племени с далекой планеты. Весьма сожалею, что внезапный отъезд сульпитора Экстревора не позволил нам полней ознакомиться с историей, обычаями и природой этого племени, в судьбе которого Тарракания принимает столь живое участие. Не будучи специалистом по космической монстрологии, я все же в меру своих скромных сил попытаюсь дополнить то, что мы имели удовольствие услышать. Прежде всего отмечу, просто ради порядка, что родная планета так называемого человечества зовется не Зимьей, Зумьей или Зымьей, как — разумеется, не по незнанию, а лишь в ораторском задоре и угаре, — говорил мой почтенный коллега. Это, конечно, малосущественная подробность. Однако и термин «человечество», принятый им, взят из языка племени Земли (именно так звучит настоящее название этой заброшенной, провинциальной планеты), тогда как наша наука определяет зем-

лян несколько по-иному. Надеюсь, что не утомлю это Высокое Собрание, зачитав полное наименование и классификацию вида, членство которого в ООП мы рассматриваем; я воспользуюсь трудом выдающихся специалистов, а именно: «Галактической монстрологией» Граммплюсса и Гзеемса.

Он раскрыл перед собой огромную книжищу там, где была закладка.

— В соответствии с общепринятой систематикой, встречающиеся в нашей Галактике аномальные формы составляют тип Aberrantia (извращенцы), который делится на подтипы: Debilitales (кретиноиды) и Antisapientinales (противоразумники). К этому последнему подтипу относятся классы Canaliacaea (мерзантропы) и Necroludentia (трупоглумы). Среди трупоглумов, в свою очередь, различается отряд Patricidiaceae (отцегубы), Matrphagideae (мамоеды) и Lasciviaceae (омерзенцы, или блуднецы). Омерзенцы, формы уже крайне выродившиеся, подразделяются на Cretininae (тупонцы, в частности, Cadaverium Mordans, или трупогрыз-межеумок) и Horrorissimae (квазиморды, классическим представителем которых может служить обалдон-выпрямленец, Idiontus Erectus Gzeemsi). Некоторые из квазиморд образуют соб-

ственные квазикультуры; сюда относятся, в частности, такие виды, как Anophilus Belligerens, или задолюб-кромешник, именующий себя Genius Pulcherrimus Mundanus — красивец-гениалец вселенчатый, а также редкостный экземпляр с почти лысым телом, наблюдавшийся Граммплюссом в самом темном закоулке нашей Галактики, — Monstroteratum Furiosum (тошняк-полоумник), называющий себя Homo Sapiens.

Зал загудел. Председатель привел в действие молоточную машину.

— Ну, держитесь! — прошипел мне тарракан-нин.

Я не видел его, то ли из-за блеска юпитеров, то ли из-за пота, застившего глаза. Слабая надежда затеплилась во мне, когда кто-то потребовал слова для справки; представившись членом делегации Водолея, астрозоологом, оратор принялся возражать тубанцу — увы, лишь постольку, поскольку, будучи сторонником школы профессора Гагранапса, считал предложенную классификацию неточной; он, вслед за своим учителем, выделял особый отряд Degeneratores, к которому принадлежат пережраки, недожраки, трупощипы и мертвомилы; определение «Monstroteratus» применительно к человеку он считал неверным;

дескать, следовало предпочесть терминологию водолейской школы, которая последовательно использует термин суррогад чудоюдный (Artefactum Abhorrens). После краткого обмена мнениями тубанец продолжил:

— Многоуважаемый представитель Тарракании, рекомендуя нам кандидатуру так называемого человека разумного, или, если быть точным, полоумника чудоюдного, типичного представителя трупомилов, не решился употребить слово «белок», как видно, считая его непристойным. Бесспорно, оно пробуждает ассоциации, распространяться о которых не позволяет приличие. Правда, даже такой телесный материал — факт сам по себе не позорный. (Возгласы: «Слушайте! Слушайте!») Не в белке дело! И не в назывании себя человеком разумным, пусть даже в действительности ты всего лишь трупомил-недоумок. Это, в конце концов, слабость, которую можно объяснить — хотя и не извинить — самолюбием. Не в этом, однако, дело, Высокий Совет!

Мое сознание отключалось, словно у обморочного, выхватывая лишь обрывки речи.

— Даже плотоядность не может вменяться в вину, раз уж она возникла в ходе естественной эволюции! Но различия между так называемым

человеком и его сородичами-животными почти совершенно отсутствуют! И подобно тому как БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ рост еще не дает права пожирать тех, кто ростом ПОНИЖЕ, так и несколько БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ разум отнюдь не дает права ни убивать, ни пожирать тех, кто ЧУТЬ НИЖЕ умственно, а если уж кто-то иначе не может (возгласы: «Может! Может! Пускай ест шпинат!»), если он, повторяю, НЕ МОЖЕТ иначе, по причине трагического наследственного увечья, то пусть бы уж поглощал свои окровавленные жертвы в тревоге и в тайне, забившись подальше в норы и самые темные закоулки пещер, терзаясь угрызениями совести и надеясь когда-нибудь избавиться от бремени непрестанных убийств. Увы, не так поступает тошняк-полоумник! Он над бренными останками глумится, он их режет, кромсает, полосует, поджаривает и лишь потом поглощает в публичных кормилищах и пожиральнях, глядя на пляски обнаженных самок своего вида и тем самым разжигая в себе аппетит на мертвечину; а мысль о том, чтобы покончить с этим галактически нестерпимым положением дел, даже не приходит в его полужидкую голову! Напротив, он насочинял для себя множество высших резонов, которые, размещаясь между его

желудком, этой гробницей бесчисленных жертв, и бесконечностью, позволяют ему убивать с высоко поднятой головой. Больше я не буду говорить о занятиях и нравах так называемого человека разумного, дабы не отнимать у Высокого Собрания драгоценное время. Среди его предков один подавал кое-какие надежды. Я говорю о homo neanderthalensis, человеке неандертальском. От человека теперешнего он отличался большим объемом черепа, а значит, и большим мозгом, то есть разумом. Собиратель грибов, склонный к медитации, любитель искусств, добродушный, спокойный, он, несомненно, заслуживал бы того, чтобы его членство сегодня рассматривалось в этой Высокой Организации. Увы, его уже нет в живых. Может быть, делегат Земли будет столь любезен и скажет нам, что случилось с неандертальцем, таким культурным и симпатичным? Он молчит... Что ж, я скажу за него: неандерталец был начисто истреблен, стерт с лица Земли так называемым homo sapiens. А земные ученые, как будто им мало было позора братоубийства, принялись очернять убиенного, объявив носителями высшего разума себя, а не его, большемозгого! И вот среди нас, в этом почтенном зале, в этих величественных стенах, мы видим представителя

трупоедов, искусного в изобретении кровавых забав, многоопытного конструктора средств истребления, вид которого вызывает смех и ужас, которые мы едва способны сдержать; там, на девственно белой доселе скамье, мы видим существо, не обладающее даже отвагой обычного уголовника, ибо свою карьеру, отмеченную следами убийств, он маскирует все новыми красивыми наименованиями, истинное, страшное значение которых ясно любому беспристрастному исследователю звездных рас. Да, да. Высокий Совет...

Хотя из его двухчасовой речи я улавливал лишь разрозненные обрывки, этого хватало с лихвой. Тубанец рисовал образ чудовищ, купающихся в крови, и делал это не торопясь, методично, поминутно раскрывая разложенные на пюпитре ученые книги, анналы, хроники, а потом с грохотом бросая их на пол, словно охваченный внезапной гадливостью, словно даже сами страницы, повествующие о нас, были запачканы кровью жертв. Затем он взялся за историю уже цивилизованного человека; рассказывал о резнях, избиениях, войнах, крестовых походах, массовых человекоубийствах, демонстрировал с помощью цветных таблиц и эпидиаскопа технологию преступлений, древние и средневековые

пытки; а когда дошел до новейшего времени, шестнадцать служителей подкатили к нему на прогибавшихся тележках кипы нового фактографического материала; тем временем другие служители, вернее, санитары ООП оказывали с небольших вертолетиков первую медицинскую помощь теряющим сознание слушателям, обходя лишь меня одного, в простодушной уверенности, что уж мне-то потоп кровавых известий о нашей культуре нисколько не повредит. И все же где-то на середине этой речи я, словно впадая в безумие, начал бояться себя самого, как если бы среди окружавших меня уродливых, странных существ я был единственным монстром. Казалось, эта грозная прокурорская речь не кончится вовсе, но наконец до меня донеслись слова:

— А теперь пусть Высокое Собрание голосует по вопросу о предложении тарраканской делегации!

Зал застыл в гробовом молчании. Вдруг что-то звякнуло рядом со мной. Это встал тарраканин, решив отразить хотя бы некоторые обвинения... несчастный! Он погубил меня совершенно, пытаясь заверить собрание, что человечество чтит неандертальцев как своих достойнейших предков, вымерших без всякой посторонней помощи;

но тубанец уничтожил его всего лишь одним лобовым вопросом: эпитет «неандерталец» у землян — похвала или оскорбление?

Все кончено, проиграно, думал я, и теперь я поплетусь обратно на Землю, словно прогнанная из будки собака, у которой из пасти вытащили задушенную птицу; но среди слабого шороха зала раздался голос председателя, наклонившегося к микрофону:

— Слово имеет представитель эриданской делегации.

Эриданин был маленький, круглый и серебристо-сизый, как клубок тумана под косыми лучами зимнего солнца.

— Я хотел бы узнать, — начал он, — кто будет платить вступительный взнос землян? Они сами? Ведь сумма немалая — биллион тонн платины не всякий плательщик осилит!

Амфитеатр наполнился сердитым гулом.

— Вопрос этот будет уместен лишь в случае положительного исхода голосования! — чуть помедлив, сказал председатель.

— С позволения Вашей Галактичности, я осмеливаюсь думать иначе, — возразил эриданин, — и поэтому свой вопрос дополню рядом замечаний, на мой взгляд весьма существенных. Вот здесь

передо мной труд прославленного дорадского планетографа, гипердоктора Враграса. Цитирую: «Планеты, на которых жизнь самопроизвольно зародиться не может, обладают следующими особенностями: а) катастрофические изменения климата в быстром попеременном ритме (так называемый цикл “зима-весна-лето-осень”), а также еще более смертоносные долгопериодические перепады температур (ледниковые периоды); б) наличие крупных собственных лун — их приливные влияния также губительны для всего живого; в) частопериодическая пятнистость центральной, или материнской, звезды — эти пятна служат источником вредоносного излучения; г) преобладание поверхности воды над поверхностью суши; д) устойчивое околополюсное обледенение; е) наличие осадков текучей или отвердевшей воды...» Как видим, отсюда...

— Прошу слова по процедурному вопросу! — вскочил тарраканин, в котором, кажется, вновь пробудилась надежда. — Как намерена голосовать делегация Эридана — «за» или «против» нашего предложения?

— Мы будем голосовать «за», с поправкой, которую я изложу Высокому Собранию, — ответил эриданин и продолжал: — Высокочтимый Совет!

На девятьсот восемнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи мы рассматривали вопрос о членстве расы блуднецов задоглавых, именовавших себя «вечностными совершенцами», хотя телесно они столь непрочны, что за время упомянутой сессии состав блуднецкой делегации менялся пятнадцать раз, между тем как сессия продолжалась не более восьмисот лет. Излагая биографию своей расы, эти несчастные путались в противоречиях, уверяя наше Собрание столь же клятвенно, сколь голословно, что создал их некий Совершенный Творец по своему собственному изумительному подобию, в силу чего они, среди прочего, бессмертны духом. Поскольку из других источников стало известно, что их планета соответствует бионегативным условиям гипердоктора Врограса, Генеральная Ассамблея учредила особую Следственную Подкомиссию, а та установила, что данная противоразумная раса возникла не вследствие безобразного каприза Природы, но в результате достойного сожаления инцидента, вызванного третьими лицами.

(«Да что это он говорит?! Молчать! Убери свой присосок, блуднец!» — все громче звучало в зале.)

— На основе отчета Следственной Подко-

миссии, — продолжал эриданин, — очередная сессия Генеральной Ассамблеи приняла поправку к статье второй Хартии Объединенных Планет, которую я позволю себе зачитать (он развернул длинный пергаментный свиток): «Настоящим устанавливается категорический запрет жизнетворительной деятельности на всех без исключения планетах типа А, Б, В, Г и Д по классификации Врагграса; руководству исследовательских экспедиций и командирам кораблей, которые совершают посадку на этих планетах, вменяется в обязанность неукоснительное соблюдение вышеозначенного запрета. Он распространяется не только на умышленные жизнетворительные процедуры, такие как рассеивание бактерий, водорослей и тому подобное, но и на неумышленное зачатие биоэволюции, будь то по халатности или по недосмотру. Эта противозачаточная профилактика диктуется доброй волей и глубокой осведомленностью ООП, которая отдает себе отчет в следующем. Во-первых, вредоносная среда, в которую заносятся извне зародыши жизни, порождает эволюционные извращения и уродства, абсолютно чуждые природному биогенезу. Во-вторых, в вышеназванных обстоятельствах возникают виды, не только

телесно ущербные, но и носящие признаки духовного вырождения в самых его тяжелых формах; если же в подобных условиях выведутся существа хоть немного разумные, а это порою случается, их жизнь отравлена душевными муками. Достигнув первой ступени сознания, они начинают искать вокруг себя причину своего возникновения и, не находя таковой, увлекаются химерами верований, возникающих из отчаяния и разлада. А так как им чужд нормальный ход эволюционных процессов в Космосе, то свою телесность (сколь бы она ни была уродлива), а также свой способ недомышления они объявляют типичными, нормальными для целой Вселенной. На основании вышеизложенного и имея в виду благоденствие и достоинство жизни вообще, а разумных существ в особенности, Генеральная Ассамблея постановляет, что нарушение вводимой отныне в действие противозачаточной статьи Хартии ОП преследуется по закону в порядке, установленном Кодексом Межпланетного Права».

Эриданин, отложив Хартию ОП, поднял увесистый том Кодекса, который вложили ему в щупальца сноровистые помощники, и, открыв эту громадную книгу в нужном месте, громко начал читать:

— «Том второй Межпланетного Уголовного Кодекса, раздел восьмидесятый: “О планетарном беспутстве”.

Статья 212. Оплодотворение планеты, по природе бесплодной, карается зазвездением на срок от ста до тысячи пятисот лет, помимо гражданской ответственности за моральный и материальный ущерб.

Статья 213. Те же действия, совершенные с особым цинизмом, а именно: преднамеренные развратные манипуляции, повлекшие за собой зарождение особенно извращенных форм жизни, возбуждающих всеобщий ужас или всеобщее омерзение, караются зазвездением на срок до тысячи пятисот лет.

Статья 214. Оплодотворение бесплодной планеты по халатности, рассеянности или вследствие неприменения противозачаточных средств карается зазвездением на срок до четырехсот лет; в случае неполной вменяемости виновного наказание может быть снижено до ста лет».

— Я умалчиваю, — добавил эриданин, — о наказаниях за вмешательство в эволюционный процесс in statu nascendi[10], поскольку это не относится к нашей теме. Отмечу, однако, что Кодекс предусматривает материальную ответственность виновных по отношению к жертвам планетарного непотребства; соответствующие статьи Гражданского Кодекса не буду зачитывать, чтобы не утомлять Собрание. Добавлю еще, что в каталоге небесных тел, признанных абсолютно бесплодными — согласно классификации гипердоктора Враграса, положениям Хартии Объединенных Планет и статьям Межпланетного Уголовного Кодекса, — на странице две тысячи шестьсот восемнадцатой, строка восьмая снизу, фигурируют следующие объекты: Зезмая, Зембелия, Земля и Зизма...

Челюсть у меня отвисла, верительные грамоты выпали из рук, в глазах потемнело. «Слушайте! — кричали в зале. — Слушайте! В кого он метит?! Долой! Да здравствует!» Сам же я, насколько это было возможно, пытался залезть под пюпитр.

— Высокий Совет! — загремел представитель Эридана, со стуком швыряя оземь тома Межпла-

---

[10] Примечания: 10
В состоянии становления (*лат.*).

нетного Кодекса (похоже, это был излюбленный в ООП ораторский прием). — Позор нарушителям Хартии Объединенных Планет! Позор безответственным элементам, зачинающим жизнь в условиях, ее недостойных! Вот приходят к нам существа, не сознающие ни мерзости своего бытия, ни его причин! Вот они стучатся в почтенные двери этого достойнейшего Собрания, и что же мы можем ответить им, всем этим блуднецам, суррогадам, тошнякам, мамоедам, трупомилам, тупонцам, заламывающим свои псевдоручки и падающим со своих псевдоножек при известии, что они относятся к псевдотипу «лжетвари», что их Совершенным Творцом был случайный матрос, выплеснувший на скалы мертвой планеты ведро перебродивших помоев, ради забавы наделив эти жалкие зародыши свойствами, которые сделают их посмешищем целой Галактики! И как потом защищаться этим горемыкам, если какой-нибудь Катон заклеймит их позором за гнусную белковую левовращательность! (Зал бушевал, машина напрасно молотила своим молотком, вокруг гудело: «Позор! Долой! Зазвездить! О ком он? Гляньте-ка, а землянин-то растворяется, тошняк уже весь потек!»)

Действительно, меня бросило в пот. Эрида-

нин, зычным басом перекрывая общий гомон, кричал:

— А теперь — несколько последних вопросов достопочтенной тарраканской делегации! Верно ли, что в свое время на мертвой тогда планете Земля опустился под вашим флагом корабль, на котором из-за аварии холодильников часть припасов протухла? Верно ли, что на этом корабле находились двое космушников-пустопроходцев, впоследствии вычеркнутых из всех реестров за беззастенчивые махинации с болотной ряской, и что этих прохвостов, этих млечных путаников звали Оспод и Погг? Верно ли, что Оспод и Погг, не ограничиваясь обычным загрязнением беззащитной, пустынной планеты, решили, по пьяному делу, учинить на ней, самым бесстыдным и возмутительным образом, биологическую эволюцию, какой еще свет не видывал? Верно ли, что оба эти тарраканина цинично и злонамеренно вступили в сговор с целью устроить из Земли питомник курьезов галактического масштаба, космический зверинец, паноптикум, кунсткамеру кошмарных диковин, живые экспонаты которой станут посмешищем в самых отдаленных Туманностях?! Верно ли, что эти безобразники, лишенные всякого чувства приличия и нравственных тормозов,

вылили на скалы безжизненной Земли шесть бочек заплесневелого желатинового клея и два ведра испорченной альбуминовой пасты, подсыпали туда забродившей рибозы, пентозы и левуллозы и, словно им мало было всех этих гадостей, добавили три больших бидона с раствором прокисших аминокислот, а получившееся месиво взболтали угольной лопатой, скособоченной влево, и кочергой, скрученной в ту же сторону, в результате чего белки всех будущих земных существ стали ЛЕВОвращающими?! Верно ли, что Погг, страдавший от сильного насморка и подстрекаемый Осподом, еле стоящим на ногах от чрезмерного употребления спиртных напитков, умышленно начихал в плазменный зародыш и, заразив его вредоносными вирусами, гоготал, что, дескать, вдохнул «нечистый дух» в несчастную эволюционную закваску?! Верно ли, что эта левовращательность и эта вредоносность перешли затем в тела земных организмов и пребывают в них по сей день, причиняя массу страданий безвинным представителям расы суррогадов, которые присвоили себе имя «человека разумного» лишь по простецкой наивности? И наконец, верно ли, что тарракане должны заплатить за землян не только вступительный взнос в размере

биллиона тонн платины, но и КОСМИЧЕСКИЕ АЛИМЕНТЫ несчастным жертвам планетарного непотребства?!

При этих его словах в амфитеатре начался сущий бедлам. Я втянул голову в плечи: по залу во всех направлениях летали папки с документами, тома Межпланетного Кодекса и даже вещественные доказательства — насквозь проржавевшие бидоны, бочки и кочерги, неведомо откуда взявшиеся; должно быть, хитроумные эридане, будучи не в ладах с Тарраканией, с незапамятных времен вели на Земле археологические раскопки, собирая улики и складируя их на летающих тарелках; но раздумывать об этом было некогда — зал ходил ходуном, в глазах рябило от щупальцев и присосков, мой тарраканин в каком-то угаре сорвался с места и что-то кричал, заглушаемый общим шумом, а я словно ушел на самое дно этого водоворота, и моя последняя мысль была о предумышленном чихе, который зачал нас.

Вдруг кто-то больно вцепился мне в волосы. Я вскрикнул. Это тарраканин, пытаясь продемонстрировать, как добротно я сработан земной эволюцией и насколько я не похож на случайное существо, наспех слепленное из всякой гнили, ухватил меня и принялся долбать по макуш-

ке своим огромным, тяжелым присоском... Я отбивался все слабей и слабей, теряя дыхание, чувствуя, что жизнь из меня уходит, еще раз-другой взбрыкнул в агонии — и упал на подушки. Еще не очнувшись, сразу вскочил. Я сидел на кровати. Ощупал голову, шею, грудь — и убедился, что все пережитое было только кошмарным сном. Я облегченно вздохнул, но потом меня начали мучить сомнения. Я сказал себе: «Страшен сон, да милостив Бог!» — но и это не помогло. В конце концов, чтобы развеять мрачные мысли, я отправился к тетке на Луну. Но вряд ли восьмиминутную поездку на планетобусе, который останавливается у моего дома, можно назвать восьмым звездным путешествием — уж скорее, этого имени заслуживает предпринятая во сне экспедиция, в которой я так настрадался за человечество.

Путешествие одиннадцатое

День начался с неприятностей. Беспорядок, царивший в доме с тех пор, как я отдал слугу в ремонт, донимал меня все сильнее. Ничего нельзя было найти. В коллекции метеоритов завелись мыши. Изгрызли самый красивый хондрит. Когда я варил кофе, молоко убежало. Этот электрический олух задевал куда-то тряпки и носовые платки. Надо было отдать его в починку еще тогда, когда он начал чистить мои ботинки изнутри. Пришлось вместо тряпки взять старый парашют; я пошел наверх, протер метеориты и поставил мышеловку. Всю коллекцию я собрал сам. Это не особенно трудно — надо только подойти к метеориту сзади и прихлопнуть его сачком. Тут я вспомнил о гренках и побежал вниз. Ну конечно — сгорели дочерна. Я выбросил их в раковину. Та сразу же засорилась. Я махнул на это рукой и заглянул в почтовый ящик. Он был забит обычной утренней почтой — два приглашения на конгрессы в глухих захолустьях Крабовидной туманности, проспекты, рекламирующие крем для полировки ракет, свежий номер «Млечно-путе-

вого обходчика» — в общем, ничего интересного. Последним был толстый темный конверт с пятью печатями. Я взвесил его в руке и распечатал.

> Тайный Уполномоченный по делам Карелирии имеет честь пригласить г. Ийона Тихого на совещание, которое состоится 16 наст. мес. в 17.30 в Малом зале Ламбретания. Вход только по приглашениям после просвечивания.
>
> Просим хранить настоящее дело в тайне.

Неразборчивая подпись, печать и красная надпечатка наискось:

ДЕЛО КОСМИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ. СЕКРЕТНО!!!

«Ну, наконец-то», — сказал я себе. Карелирия, Карелирия... Это слово мне было знакомо — но откуда? Я заглянул в «Космическую энциклопедию». Там была только Картулания и Керсемпилия. Любопытно, подумал я. В «Альманахе» Карелирии тоже не оказалось. Да, это было действительно любопытно. Не иначе как Тайная Планета. «Вот это по мне», — пробормотал я и начал одеваться. Было лишь десять часов, но приходилось делать

еще поправку на кретина-слугу. Носки я нашел почти сразу — в холодильнике и уже решил было, что могу проследить ход мыслей разладившегося электромозга, как вдруг обнаружился неожиданный факт — нигде не было брюк. Никаких. В шкафу висели одни сюртуки. Я обыскал весь дом, даже ракету перетряхнул — ничего. Я убедился лишь, что этот старый железный чурбан вылакал все растительное масло у меня в погребе. И похоже, недавно: неделю назад я пересчитывал банки — все они были полны. Это так меня разозлило, что я всерьез задумался, не сдать ли его все же на слом. Ему, видите ли, не хотелось рано вставать, и уже несколько месяцев он затыкал себе наушники воском. Звони хоть до второго пришествия. Он объяснял, что это, мол, по рассеянности, а на угрозу вывернуть у него пробки только дребезжал. Знал, что я в нем нуждаюсь. Я разделил весь дом на квадраты по системе Пинкертона и принялся прочесывать его так, будто искал булавку. В конце концов отыскалась квитанция из прачечной. Этот негодяй отдал в чистку все мои брюки. Но куда подевались те, что были на мне накануне? Я никак не мог вспомнить. Между тем подошло время обеда. Заглядывать в холодильник не было смысла — кроме носков, там

лежала только почтовая бумага. Я уже был близок к отчаянию. Достал из ракеты скафандр, надел его и пошел в ближайший универмаг. На улице кое-кто на меня косился, но все же я купил две пары брюк, одни черные, другие серые, вернулся в скафандре, переоделся и злой как черт поехал в китайский ресторан. Съел, что подали, запил раздражение бутылкой мозельского и, взглянув на часы, убедился, что скоро пять. День пропал.

Перед Ламбретанием не было ни вертолетов, ни автомобилей, ни даже самой завалящей ракеты — ничего. «Ах, вот даже как?» — мелькнуло у меня в голове. Через обширный сад, засаженный георгинами, я прошел к главному входу. Долго никто не открывал. Наконец крышечка дверного глазка сдвинулась, невидимый взгляд изучил меня, и двери приоткрылись настолько, чтобы я мог войти.

— Господин Тихий, — сказал встретивший меня человек в торчащий из кармана микрофон, — проходите наверх. Левая дверь. Вас уже ждут.

Наверху веяло приятной прохладой. Я вошел в Малый зал и увидел, что нахожусь в избранном обществе. Кроме двоих за столом президиума, которых я прежде не видел, на обитых бархатом креслах восседал весь цвет космографии. Я

заметил профессора Гаргаррага и его ассистентов. Поклонившись коллегам, я сел сзади. Один из двоих незнакомцев, высокий, с сединой на висках, достал из ящика стола каучуковый колокольчик и беззвучно зазвонил. «Что за адские предосторожности!» — подумал я.

— Господа ректоры, деканы, профессора, доценты и ты, уважаемый Ийон Тихий! — заговорил он, поднявшись. — В качестве уполномоченного по абсолютно тайным делам я открываю особое совещание по вопросу о Карелирии. Слово имеет тайный советник Ксафириус.

В первом ряду встал широкоплечий, плотный, молочно-седой мужчина, взошел на трибуну, слегка поклонился слушателям и начал без всяких вступлений:

— Господа! Примерно шестьдесят лет назад из иокогамского планетного порта отправилось торговое судно Млечной Компании «Божидар II». Этот корабль, под командованием опытного пустопроходца Астрокентия Пеапо, вез штучный груз на Арекландрию, планету гаммы Ориона. Последний раз он был замечен с галактического маяка вблизи Цербера, а потом бесследно исчез. Страховая компания «Секьюритас Космика», сокращенно именуемая СЕКОС, по истечении

года выплатила полную сумму страховки за пропавшее без вести судно. А примерно две недели спустя некий радиолюбитель с Новой Гвинеи принял радиограмму следующего содержания. Оратор взял со стола листок и прочел:

КАРКУЛЯВШЕЛ ШВИХНУВША
ШПАШИВШЕ БОЖИВШАР

— Тут, господа, мне придется углубиться в подробности, необходимые для лучшего понимания дела. Этот радиолюбитель был новичком и вдобавок шепелявил. Из-за шепелявости, а также, надо полагать, из-за неопытности он исказил послание, которое, согласно реконструкции, предпринятой экспертами Галактокода, гласило: «Калькулятор свихнулся спасите Божидар». Изучив текст, эксперты пришли к выводу, что тут имел место редкий случай бунта в абсолютной пустоте, — бунта корабельного Калькулятора. Поскольку с момента выплаты страховки судовладельцы уже никоим образом не могли претендовать на пропавшее судно, ибо все права, включая право собственности на груз, перешли к СЕКОСУ, означенная компания предложила агентству Пинкертона, в лице Абстрагазия и Мнемониуса Пинкертонов, заняться расследованием

этого дела. Дознание, проведенное этими многоопытными детективами, установило, что Калькулятор — модель, в свое время оборудованная по высшему классу, но ко времени последнего рейса достигшая уже преклонного возраста, — с некоторых пор действительно жаловался на одного из членов команды. Этот ракетчик, некий Симилеон Гиттертон, по словам Калькулятора, дразнил его на всяческий лад — снижал входное напряжение, щелкал по лампам, донимал насмешками и даже такими недостойными прозвищами, как «жестянка дебильная», «проволочные мозги» и т. д. Гиттертон все отрицал, утверждая, что у Калькулятора просто галлюцинации, — такое и в самом деле случается с пожилыми электромозгами. Впрочем, эту сторону дела подробнее осветит профессор Гаргарраг.

Прошло десять лет, а корабль все не удавалось найти. Но тут агенты Пинкертона, не переставшие заниматься тайной исчезновения «Божидара», дознались, что у отеля «Галакс» обосновался дряхлый, полупомешанный нищий, который рассказывает удивительные истории, выдавая себя за Астрокентия Пеапо, бывшего командира корабля. Старец этот, до невероятия неопрятный, действительно утверждал, что он-то

и есть Астрокентий Пеапо; однако вместе с ясным рассудком он утратил еще и дар речи — и мог только петь. Терпеливо выпытываемый людьми Пинкертона, он напел им невероятную историю — будто бы на корабле случилось нечто ужасное, и ему, выброшенному за борт в одном скафандре, вместе с горсточкой верных пустопроходцев пришлось возвращаться пешком из района Андромедийской Мглистости на Землю, что заняло двести лет; что будто бы путешествовал он на попутных метеоритах либо ракетостопом — и лишь малую часть пути прошел на Люмеоне, необитаемом космическом зонде, летевшем к Земле с околосветовой скоростью. За эту езду верхом на Люмеоне он поплатился (по его же словам) утратой речи, зато основательно помолодел благодаря известному феномену усадки времени на телах, движущихся с субсветовой скоростью.

Таков был рассказ, вернее, лебединая песнь старца. О том, что случилось на «Божидаре», он не обмолвился ни словом; и, только установив у входа в отель магнитофоны, агенты Пинкертона записали припевки старого нищего; в некоторых из них самыми чудовищными ругательствами поминался арифмометр, провозгласивший себя Архитворцом Космического Всебытия. Отсю-

да Пинкертон заключил, что послание было расшифровано правильно и Калькулятор, повредившись в уме, избавился от всего экипажа.

Свое продолжение эта история получила пять лет спустя благодаря экспедиции корабля Метагалактологического института «Мега-руль»: близ одной из планет Проциона им был замечен заржавленный корпус, силуэтом схожий с пропавшим «Божидаром». «Мега-руль», у которого уже кончалось горючее, на планете не садился, а лишь известил по радио Землю. Затем небольшой патрульный корабль «Дейкрон» обследовал окрестности Проциона и нашел искомый объект. Это и в самом деле был остов «Божидара». «Дейкрон» сообщил, что корабль в ужасающем состоянии, — с него были сняты машины, палубы, внутренние переборки, крышки люков — всё до последнего винтика, так что вокруг планеты кружила пустая, выпотрошенная оболочка. В ходе дальнейших исследований, проведенных экипажем «Дейкрона», выяснилось, что Калькулятор «Божидара», подняв мятеж, решил обосноваться на этой планете, а все содержимое корабля присвоил, чтобы устроиться на ней поудобнее. В связи с этим в нашем Отделе начато особое делопроизводство под кодом КАРЕЛИРИЯ, что

означает «Калькуляторных Реликтов Репатриация».

Калькулятор, как показали дальнейшие разыскания, осел на планете и к тому же размножился, наплодив немалое число роботов, над которыми осуществлял абсолютную власть. Поскольку Карелирия, вообще говоря, находится в сфере гравиполитического влияния Проциона и его мельманлитов, каковая разумная раса поддерживает с Землей добрососедские отношения, мы отказались от резких мер и на некоторое время оставили Карелирию в покое вместе с основанной на ней Калькулятором колонией роботов, получившей в документах Отдела кодовое обозначение КАЛЬКОРОБ. Однако же СЕКОС потребовал репатриации колонии, считая самого Калькулятора и всех его роботов законной собственностью страховой компании. Мы обратились по этому вопросу к мельманлитам; те ответили, что, по их сведениям, Калькулятор основал не колонию, а государство, именуемое его обитателями Бесподобией, а мельманлитское правительство, хотя и не признало это государство де-юре и не обменялось с ним дипломатическими представителями, все же признало существование этого социального организма де-факто и не намерено

санкционировать какие бы то ни было изменения в существующем положении дел.

Поначалу роботы жили на планете спокойно, не проявляя сколько-нибудь опасной агрессивности. Разумеется, наш Отдел полагал, что пустить это дело на самотек было бы проявлением легкомыслия; поэтому мы послали на Карелирию наших людей, переодев их роботами, ибо юный национализм Калькороба проявлялся в виде безрассудной ненависти ко всему человеческому. Карелирийская пресса упорно именует нас гнусными работорговцами, бессовестными эксплуататорами невинных роботов. Так что переговоры, которые мы пытались вести от имени компании СЕКОС в духе полного равенства и взаимопонимания, окончились безрезультатно: ответом даже на самые скромные наши требования — чтобы Калькулятор вернул Компании себя самого и своих роботов — было оскорбительное молчание.

— Господа, — повысил голос оратор, — события, увы, развивались не так, как мы того ожидали. После нескольких радиограмм наши люди, посланные на Карелирию, более не отзывались. Мы послали других, и повторилась та же история. После первой шифрограммы, гласившей, что

высадка прошла без помех, они уже не подавали признаков жизни. За прошедшие девять лет мы забросили на Карелирию в общей сложности две тысячи семьсот восемьдесят шесть агентов, и ни один из них не вернулся и даже не вышел на связь. Кроме этих признаков все более четкой работы их контрразведки, есть и другие, едва ли не более настораживающие. Карелирийская пресса нападает на нас все разнузданнее, а местные типографии беспрерывно печатают прокламации и листовки для земных роботов. Люди изображаются здесь электропийцами и негодяями, а в официальных выступлениях нас уже именуют не иначе как клеюшниками, а человечество — клейковиной. Мы обратились с меморандумом к правительству Проциона, но оно повторило свои прежние заявления о невмешательстве; наши попытки указать на пагубность этой якобы нейтралистской, а по сути страусиной политики не принесли результатов. Нам лишь дали понять, что роботы — наша продукция, следовательно, мы отвечаем за любые их действия. В то же время Процион категорически против любых карательных экспедиций и принудительной экспроприации Калькулятора и его подданных. Вот почему было созвано настоящее совещание;

а чтобы показать вам, господа, всю остроту ситуации, добавлю, что месяц назад в «Электронном курьере», официальном органе Калькулятора, появилась статья, в которой смешивается с грязью эволюционное древо человека и выдвигается требование присоединения Земли к Карелирии, поскольку-де роботы — более высокая ступень развития, чем живые существа. На этом я заканчиваю и передаю слово профессору Гаргаррагу.

Согбенный летами прославленный специалист по электрической психиатрии не без труда взошел на трибуну.

— Господа! — начал он старческим, чуть дрожащим, но все еще звучным голосом. — Давно известно, что электрические мозги надо не только конструировать, но и воспитывать. Судьба электрического мозга нелегка. Круглосуточный труд, сложнейшие вычисления, жестокое обращение и грубые шутки обслуживающего персонала — вот что вынужден выносить столь необычайно чувствительный по своей природе аппарат. Нечего удивляться, что нередко это приводит к тяжелой депрессии и даже короткому замыканию — с целью покончить самоубийством. Недавно у себя в клинике я имел дело с подобным случаем. У пациента наступило раздвоение личности

— dichotomia profunda psychogenes electrocutiva alternans[11]. Этот мозг писал нежные письма себе самому, именуя себя «катушечкой», «электреночком», «лампунчиком», — явное доказательство того, сколь сильно нуждался он в ласке, заботе и сердечном участии. Серия электрических шоков и продолжительный отдых вернули ему здоровье. Или, скажем, tremor electricus frigoris oscillativus[12]. Корабельный мозг, господа, — не швейная машина, которой хоть гвозди заколачивай в стенку, это существо, обладающее сознанием и весьма впечатлительное; поэтому в минуты опасности он иногда начинает так дрожать вместе со всем кораблем, что трудно на палубе устоять.

Некоторым грубым натурам это не по душе. Они доводят мозг до последней крайности. Электрический мозг относится к нам как нельзя лучше, но, господа, выносливость проводов и ламп имеет свои границы. Только вследствие неописуемых издевательств со стороны капитана, беспробудного пьяницы, электронный мозжечок Греноби, применяемый для расчета курсовых поправок, в

---

[11] Примечания: 11
Глубокое перемежающееся раздвоение личности (*лат.*).

[12] Примечания: 12
Электрическое мелкоразмашистое дрожание (*лат.*).

приступе буйного помешательства объявил себя дистанционным детищем Великой Андромеды и наследственным императором Мурвиклаудрии. После курса лечения в нашей закрытой клинике он отошел, успокоился и теперь почти совершенно нормален; бывают, конечно, и более тяжелые случаи. Так, некий университетский мозг, влюбившись в жену профессора математики, начал из ревности искажать результаты расчетов, пока математик не впал в депрессию, вообразив, что уже разучился складывать. Но в оправдание этого мозга замечу, что жена математика систематически его совращала, заставляя суммировать счета за свое интимнейшее белье. Случай, который мы сегодня рассматриваем, отчасти напоминает историю с большим корабельным мозгом «Панкратиуса», который накоротко замкнулся на другие бортовые мозги и в неудержимом стремлении к росту (так называемая электродинамическая гигантофилия) опустошил склад запасных частей, высадил экипаж на скалистую Мирозену, а сам нырнул в океан Алантропии и провозгласил себя патриархом тамошних ящеров. Прежде чем мы туда прибыли с психотропными средствами, он в приступе бешенства сжег себе лампы, так как ящеры не желали его слушать. Правда, и тут

оказалось, что второй штурман «Панкратиуса», известный космический шулер, дочиста обыграл несчастный мозг при помощи крапленой колоды. Но случай с Калькулятором, господа, исключительный. Перед нами бесспорные симптомы таких недугов, как gigantomania ferrogenes acuta, paranoia misantropica persecutoria, poliplasia panelectropsychica debilitativa gravissima[13], и, наконец, некрофилия, танатофилия и некромания.

Господа! Должен разъяснить вам одно обстоятельство, первостепенное для понимания этого случая. «Божидар II» имел на борту, кроме штучного груза, предназначенного арматорам Проциона, контейнеры ртутной синтетической памяти, получателем которых значился Млечный Университет в Фомальгауте. В них содержалась информация двоякого рода: из области психопатологии и архаической лексикологии. Надо полагать, Калькулятор, разрастаясь, поглотил и эти контейнеры. Тем самым он усвоил со всеми подробностями историю Джека Потрошителя и Глумспикского Душителя, биографию Захер-Мазоха, мемуары маркиза де Сада, протоколы секты

[13] Примечания: 13

Гигантомания железородная в острой форме, паранойя мизантропическая преследующая, общеэлектрическое всестороннее дебильное развитие в тяжелой форме (*лат.*).

бичующихся из Пирпинакта, оригинал труда Мурмуропулоса «Кол в историческом разрезе», а также знаменитый раритет аберкромбийской библиотеки — «Живорезчество», рукописное сочинение Гапсодора, казненного в Лондоне в 1673 году и известного также под кличкой Ошейник Младенцев. Далее, оригинальный труд Яника Пидвы «Малый изуверсум», его же «Резьба, Колотьба и Кольба — материалы по катографии», а также уникум, единственный в своем роде, — «Смачно-смазочные масла», предсмертный опус отца Гальвинари из Амагонии. В этих злосчастных контейнерах содержались еще расшифрованные тексты каменных таблиц, протоколы заседаний секции каннибалов союза неандертальских писателей, а также «Висельные размышления» виконта де Крампфусса; если добавить, что там нашлось место и для таких сочинений, как «Идеальное убийство», «Тайна черного трупа» и «Азбука убийства» Агаты Кристи, то нетрудно представить, сколь пагубно должно было все это подействовать на невинную, в сущности, натуру Калькулятора.

Ведь мы по мере сил стараемся держать электромозги в неведении относительно этих кошмарных сторон человеческого бытия. Теперь же,

когда окрестности Проциона населяет железный приплод машины, напичканной историей человеческой дегенерации, патологии и преступности, я должен, увы, заявить, что в данном случае электропсихиатрия бессильна. Больше мне сказать нечего.

И удрученный старец нетвердыми шагами покинул трибуну при общем глухом молчании. Я поднял руку. Председательствующий удивленно взглянул на меня, но, чуть помешкав, все-таки дал мне слово.

— Господа! — сказал я, поднявшись. — Дело, как вижу, нешуточное. В полном объеме я смог оценить его лишь благодаря содержательной речи профессора Гаргаррага. Решаюсь предложить уважаемому собранию следующее. Я готов в одиночку отправиться в район Проциона, чтобы выяснить, что там творится, и раскрыть тайну исчезновения тысяч людей, а также, по мере возможности, добиться мирного решения назревающего конфликта. Для меня несомненно, что задание это самое трудное из всех, с какими мне приходилось встречаться, но бывают минуты, когда надобно действовать, не прикидывая вероятность успеха или провала. Итак, господа...

Мои слова потонули в рукоплесканиях. О том,

что последовало затем, я умолчу, уж слишком это было похоже на бурные овации в мою честь. Комиссия и собрание предоставили мне всяческие полномочия. На другой день я беседовал с начальником Отдела Проциона и шефом космической разведки в одном лице, советником Малинграутом.

— Хотите лететь сегодня же? — спросил он. — Отлично. Но не на вашей ракете, Тихий. Это исключено. Для таких случаев у нас есть особые.

— Зачем? — удивился я. — Моя вполне мне подходит.

— Не сомневаюсь в ее достоинствах, — ответил он, — но дело тут в маскировке. Вы полетите в ракете, похожей на все что угодно, кроме ракеты. Это будет... впрочем, увидите сами. И еще: садиться будете ночью...

— Как это ночью? Выхлопной огонь меня выдаст...

— Такова была до сих пор наша тактика, — сказал он, явно встревоженный.

— Ладно, увижу на месте, — сказал я. — Я полечу переодетым?

— Да. Это уж непременно. Наши специалисты вами займутся. Они уже ждут. Сюда, пожалуйста...

По тайному коридору меня провели в комнату, похожую на небольшую операционную. Тут за меня взялись сразу четверо. Когда через час меня подвели к зеркалу, я себя не узнал. Закованный в листовую сталь, с квадратными плечами и квадратной головой, с линзами окуляров вместо глаз, я выглядел как зауряднейший робот.

— Господин Тихий, — обратился ко мне шеф гримеров, — запомните, что я скажу. Прежде всего, остерегайтесь дышать...

— Да вы не в своем уме! — перебил я его. — Ведь я задохнусь.

— Я не то хотел сказать. Конечно, дышите себе на здоровье, но тихонечко. Никаких вздохов, сопения, глубоких вдохов — все совершенно бесшумно, и упаси вас боже чихнуть. Это верная гибель.

— Хорошо. Что еще?

— На дорогу вы получите годовые подшивки «Электронного курьера» и органа оппозиции — «Голоса пустоты».

— Так у них и оппозиция есть?

— Есть. Но возглавляет ее тоже Калькулятор. Профессор Млассграк предполагает, что у него, наряду с электрическим, еще и политическое раздвоение личности. Слушайте дальше. Вам

нельзя ни есть, ни даже сосать леденцы — об этом забудьте. Питаться будете исключительно ночью, через это отверстие; вставите ключик сюда — это замок с секретом, — и заслонка откроется, вот так. Ключик не потеряйте, не то умрете голодной смертью.

— Верно, ведь роботы не едят.

— Мы не очень-то много знаем об их обычаях — вы понимаете. Внимательно просмотрите газетные объявления, это вам кое-что даст. А в разговоре, пожалуйста, держитесь подальше от собеседника, чтобы он не мог заглянуть через сетку динамика внутрь; зубы черните почаще, вот вам коробочка с чернью. И не забывайте демонстративно смазывать себе шарниры каждое утро, так у них принято. Излишне усердствовать, впрочем, не стоит — если будете немного поскрипывать, это даже хорошо. Ну, вот как будто и все. Погодите! На улицу — в таком виде? Ну мыслимое ли это дело? Тут есть тайный ход... смотрите...

Он прикоснулся к корешку книги на стеллаже, стенка раздвинулась, и я, грохоча, спустился по узенькой лестнице во двор, где уже стоял грузовой вертолет. Меня погрузили в кабину, и машина взлетела. Через час мы приземлились на тайном космодроме. Рядом с обычными ракетами

на бетоне высился круглый, высокий амбар.

— Побойтесь Бога, и это, по-вашему, ракета? — сказал я сопровождающему меня тайному офицеру.

— Да. Все, что вам может понадобиться — шифры, коды, передатчик, газеты, продукты и всякие мелочи, — уже там. И еще — тяжелая фомка.

— Фомка?

— Для взлома бронированных сейфов... вместо оружия, на крайний случай, конечно. Ну, ни пуха ни пера! — сердечно пожелал офицер.

Я даже не мог пожать ему руку как следует, ведь моя сидела в железной перчатке. Внутри амбар оказался самой обыкновенной ракетой. Очень хотелось вылезти из своего железного ящика, но этого мне не советовали — дескать, лучше будет, если я заранее привыкну к этому бремени.

Я включил реактор, взлетел и вышел на курс, а затем не без труда пообедал — как я ни выворачивал шею, рот не совпадал с заслонкой; пришлось пустить в ход рожок для ботинок. Потом я устроился в гамаке и взялся за карелирийскую прессу. На первых же полосах в глаза мне бросились заголовки:

КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТАГО ЭЛЕКТРИЦИЯ

КЛЕЮШНИКОВ ЗЛОУМЫШЛЕНИЯМ ВРАЖЬИМ
ПОЛОЖИМ ПРЕДЕЛ
БЕЗУРЯДИЦА НА ПОЛЕ ИГРЕЦКОМ
КЛЕЮШНИК В ОКОВАХ

Слог и лексика удивили меня, но тут я вспомнил о лексиконах архаического языка, которые вез «Божидар». Я уже знал, что клеюшниками роботы называют людей, а себя — бесподобцами.

Я прочел последнюю заметку, о клеюшнике в оковах:

> «Двои алябардисты Его Индуктивности поймали сего дня в третий утрешный звон клеюшника лазутщика, иже в подворьи бесп. Мремрана в мерзостности своей укрытие мнил обрести. Яко верный Е. Индуктивности слуга, бесп. Мремран тот час Алябардьерню градскую в известность привел, опосле чего вражий выведыватель, с забралом отверстым позора вяцшего ради, злохульными воплями черни сопровождаемый, в темницу Калефауструм ввергнут был. Казус сей судия II Субстанции Туртран в дело произвел».

«Для начала недурно», — подумал я и вернулся к заметке «Безурядица на поле игрецком».

> «Уже было смотрельцы забавы грындельной в досаде великой ристалище покидали, ино о ту пору Гирлай III, грындель Туртукуру передавая, малую толику пробульдожил, и того ради поломанье берца от потехи игрецкой его отвратило. Закладчики, кои закладов лишилися, в Кассу бежма побежали, на оконце кассовое нападение учинили и окошечника прежестоко помяли. Отряд Алябардьерни предместной осьмерых безурядчиков, каменьем дюжим отягощенных, в ров побросал. Скоро ль ино конец оным пертурбациям прииде, кветливые смотрельцы всепокорнейше Начальство пытают?»

Из словаря я узнал, что «кветливый» — это «мирный» (от латинского quietus), «пытать» значит спрашивать, а грындельня — что-то вроде спортивной площадки, где бесподобцы играют в свою разновидность футбола со свинцовым ядром вместо мяча. Я упорно корпел над газетами: в Отделе мне твердили без устали, что я в совершенстве должен усвоить обычаи бесподобцев;

даже мысленно я называл их именно так: назвать туземца роботом не только значило оскорбить его, но и выдало бы меня с головой.

Итак, я одну за другой прочитал статьи: «Артикулов шесть о предмете бесподобцев совершенного благополучия», «Авдиенция Учителя Грегатуриана», «Како оружельный цех починение в нонешнем годе учиняет», «Достославные странствия планетников-бесподобцев ради ламп охлаждения», но еще чудней были объявления. Во многих из них я мало что понимал.

> АРМЕЛАДОР VI, РЕЗЩИК, знаменитый одежи латанием, дырья клепанием, шарниров точением, тариффы ниския.
>
> ВОНАКС, средство против ржавенствия, ржавок, ржанок, ржамок, ржабок и ржути — повсюдно приобрести можешь.
>
> МАСЛА
>
> МАСЛЯНИСТЫЕ ГЛАВЫ УМАСЛЕНИЯ РАДИ — Дабы выя скрыпом своим мозгованью препон не чинила!!

Некоторых я вообще понять не мог. К примеру, таких:

> ВОЖДЕЛЕНЦЫ! Туловки потешные в

досталь! Размеры по изволу. За порукой гвайдольница на месте. Тармодрал VIII.

ПОХОТЛИВЦУ ложницу панкраторную с амфигнайсом отдам в наем. Перкоратор XXV.

И были там объявления, от которых волосы вставали у меня дыбом под стальным шлемом:

ЛУПАНАРИУМ ГОМОРРЕУМ СЕВОДНИ ВРАТА ОТВОРЯЕТ!

ОПОСЛЕ
ПИРОВАНЬЯ
ДЛЯ ЛАКОМНИКОВ СЕЛЕКЦИЯ КОЕЙ В СВЕТЕ НЕ ВИДЫВАНО!!

РЕБЯТЕНКИ КЛЕЮШНЫЕ, ТАКОЖ СКОТСКИЙ МОЛОДНЯК В ПОКОЯХ И НА ВЫНОС!!!

Я ломал голову над этими загадочными текстами, а времени у меня было довольно, ведь лететь предстояло почти год.

В «Голосе пустоты» объявлений было еще больше.

КОСТОХРЯСКИ, ПИЛОРУБКИ, РЕЗАКИ КАДЫЧНЫЕ, ОСТРОКОЛЫ, КРЮКОВИЩА

ПРИСТОЙНЫЕ
предлагает ГРЕМОНТОРИУС, ФИДРИКАКС LVI.

ГОСУДАРИ ПИРОМАНЬЯКИ!!! Новых, маслом нефтяным умащенных факелов Абракерделя НИ ЧЕМ НЕ УГАСИШЬ!!

УДУШИТЕЛЮ-ЛЮБИТЕЛЮ младенцы клеюшные — плачливые, речливые, со всею утварью, також подноготник щипцовый, в изрядном состояньи, за дешево.

ГОСУДАРИ
И ГОСУДАРЫНИ БЕСПОДОБЦЫ — гастроколы, Хребтоломки, Тушедавки

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ!!! — Каркаруан XI.

Начитавшись этих объявлений досыта, я начал, как мне казалось, догадываться, какая судьба постигла отряды посланных на разведку добровольцев Второго Отдела. Не сказал бы, что на планету я высаживался с очень уж героической миной. Приземлился я ночью, сманеврировав между высоких гор и приглушив двигатели, сколько было возможно; немного подумав, прикрыл ракету срубленными ветвями деревьев. Эксперты из Второго оказались не слишком догад-

ливы — амбар на планете роботов был, осторожно выражаясь, не на месте. Запихнув внутрь своего железного ящика столько припасов, сколько вошло, я двинулся к городу, заметному издалека благодаря яркому электрическому зареву. Несколько раз пришлось останавливаться, чтобы переложить консервированные сардины, — так оглушительно они во мне громыхали. Вдруг что-то невидимое подсекло мне ноги. Я упал с чудовищным грохотом, успев на лету подумать: «Уже! Так скоро?!» Но вокруг не было ни единой живой, то бишь электрической души. На всякий случай я приготовил свой арсенал — фомку для вскрытия сейфов и небольшую отвертку. Вытянув руки, нащупал впотьмах какие-то металлические конструкции. Это были останки старых автоматов — их заброшенное кладбище. Оно тянулось чуть ли не на целую милю. В темноте, которую не могло рассеять далекое зарево, я вдруг заметил два четвероногих силуэта — и замер. В инструкциях ни слова не говорилось о том, что на планете обитают животные. Еще одна пара четвероногих беззвучно приблизилась к первой. Я неосторожно пошевелился, панцирь звякнул, и темные силуэты стремительно скрылись в ночи.

После этого случая я удвоил осторожность. Для

вступления в город время, пожалуй, было не самое подходящее: глубокая ночь, пустынные улицы; мое появление могло быть замечено. Я спрятался в придорожной канаве и стал терпеливо дожидаться рассвета, грызя печенье. Я знал, что до следующей ночи у меня ни крошки не будет во рту.

На рассвете я вошел в пригород. Улицы были пусты. На ближайшем заборе белел старый, полустертый дождями плакат. Я подошел поближе.

ПОВЕЩЕНИЕ

Власти градския в известность пришли, яко бы клейковатая мерзость тщитца между честных бесподобцев вполсти. Буде кто узрит клеюшника також особу, к усумненью дающую повод, в миг Алябардьерне своей о сем донести долженствует. Всяческое с оным сношенье такожде помочь, оному даденная, наказуется развинчиваньем на веки веков. За клеюшную голову следует награждение тысяща ферклосов.

Я пошел дальше. Предместья выглядели не слишком-то радостно. У жалких, проржавевших

бараков сидели кучки роботов, играющих в чет и нечет. Время от времени между ними вспыхивали драки — с таким грохотом, словно артиллерия палила по складу железных бочек. Чуть дальше я обнаружил трамвайную остановку. Подъехал почти пустой вагон, я сел. Машинист был сращен с мотором, его рука — с рукояткой управления. Кондуктор, привинченный ко входу, служил одновременно дверьми; он ходил на петлях. Я дал ему мелочь из запаса, которым снабдил меня Отдел, и уселся на скамейке, невыносимо скрипя. В центре я вышел и зашагал как ни в чем не бывало. Все больше попадалось алебардистов, они шествовали серединой улиц по двое и по трое. Заметив прислоненную к стене алебарду, я словно ненароком взял ее и пошел дальше; но мое одиночество могло показаться странным, поэтому, когда один из тройки шедших впереди стражников свернул во двор, чтобы поправить сползающую решетку, я занял его место в строю. Абсолютное сходство всех роботов оказалось как нельзя более кстати. Мои товарищи хранили молчание, наконец один из них заговорил:

— Скоро ли блудку узрим, Бребране? Теснится мне, и в охотку с электрюхой потешился бы.

— Охти, сударь, — отозвался другой, — куда как

кондиция наша худа!

Так мы обошли весь центр города. Внимательно присматриваясь, по дороге я заметил две ресторации, у входа в которые стоял, прислоненный к стене, целый лес алебард. Однако я ни о чем не спрашивал. Ноги изрядно болели, да и душно было в нагревшемся на солнце железном котелке, а ноздри щекотала ржавая пыль — я боялся, что, не дай Бог, чихну; но когда я попробовал потихоньку отстать от них, они закричали в голос:

— Гей, служивый! Куды навострился? Хочешь ли от начальства битым быть, разбулаваненным вдрызг? Али ума решился?

— Никак, — отвечал я, — ино присесть чуток похотел.

— Присесть? Али одурь тебе катушки пожгла? Вить мы тут в дозоре, железяки-служаки!

— Инось правда, — благосогласно ответил я и зашагал дальше.

«Нет, — решил я, — эта карьера никуда не выведет. Возьмусь за дело иначе». Мы обошли город еще раз, по дороге нас остановил офицер и рявкнул:

— Реферназор!

— Брентакурдвиум! — заорали в ответ служивые.

Я хорошо запомнил пароль и отзыв. Офицер оглядел нас спереди и сзади и велел поднять алебарды повыше.

— Коим манером держите, обалдуи!! Печки чугунные, право слово, а не стража Его Индуктивности!! Ровнехонько у меня! Нога в ногу! Марш!!

Этот разнос алебардисты приняли без комментариев. Мы по-прежнему вышагивали под палящим солнцем, и я проклинал ту минуту, когда добровольно вызвался лететь на эту гнусную планету; вдобавок голод уже выворачивал мне кишки. Я даже побаивался, что их урчание выдаст меня, и на всякий случай старался погромче скрипеть. Мы проходили мимо ресторации. Я заглянул внутрь. Почти все столики были заняты. Бесподобцы, или печки чугунные, как я мысленно окрестил их вслед за офицером, сидели недвижно, иссиня вороненые; время от времени кто-нибудь скрежетал или поворачивал голову, чтобы стеклянными зенками зыркнуть на улицу. Они не ели, не пили, а словно бы ждали неизвестно чего. Официант — я узнал его по белому фартуку, нацепленному поверх доспехов, — стоял у стены.

— А не худо бы, чаю, и нам там вона присесть, — заметил я, чувствуя каждый пузырь на стертых

железной обувкой ногах.

— Ин ты, право слово, обасурманился! — возмутились мои товарищи. — Сиживать не велено нам! Наша служба ходильная! Не тужи, ужо те ребяты клеюшника на фортель возьмут, как скоро объявится и, супу спросив аль похлебки, вражью свою натуру откроет!

Ничего не поняв, я покорно побрел дальше. Во мне уже начинала закипать злость; наконец мы направились к большому краснокирпичному зданию, на котором красовалась выкованная в железе надпись:

КАЗАРМЫ АЛЯБАРДИСТОВ
ЕГО СИЯТЕЛЬНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ
КАЛЬКУЛЯТРИЦИЯ ПЕРВАГО

Я отстал от них у самого входа. Когда караульный со скрипом и скрежетом отвернулся, я прислонил алебарду к стене и бросился в переулок. Сразу же за углом оказался порядочный дом с вывеской: «ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР У ТОПОРА». Едва я заглянул внутрь, как хозяин, пузатый робот с коротким туловищем, радушно скрежеща, выбежал мне навстречу.

— Челом бью, сударь мой... покорнейший слуга вашей милости... Горницу какую не угодно ли?

— Добро! — ответил я лаконично.

Он чуть ли не силой втащил меня внутрь и, поднимаясь со мною по лестнице, без умолку бубнил жестяным голосом:

— Странников тьма сбирается ныне, тьма... затем что нет бесподобца, иже собственными своими глазницами пластин конденсаторных Его Индуктивности узреть не желал бы... Сюда, ваша милость... вот апартаменты изрядные, прошу покорнейше... туто потешная... тамо гостиная... Чаю, ваша милость с дороги-то притомились... пыль в шестеренках хрустит... дозвольте, скорым делом утварь потребную принесу...

Он загремел по лестнице и, прежде чем я толком успел разглядеть довольно темную комнату с железными шкафами и железной кроватью, вернулся, держа в руках масленку, ветошь и бутылку солидола. Поставив все это на стол, он промолвил тише и доверительней:

— Очистивши естество, извольте, сударь мой, вниз... Для благородных особ, какова ваша милость, у меня всеконечно секретик сладчайший, сюрпризик некий отыщется... потешитесь...

И вышел, подмигивая фотоэлементами; не имея лучших занятий, я смазал себя, начистил доспехи и тут заметил оставленную на столе

хозяином карточку, похожую на ресторанное меню. Я с удивлением — ведь роботы ничего не едят — взял ее и прочел.

«ЛУПАНАРИУМ II КАТЕГОРИИ»

— стояло там в самом верху.

Детеныш-клееныш, головооттяпство ... 8 феркл.
Тож, с вымянем ... 10 феркл.
Тож, плачливый ... 11 феркл.
Тож, душераздирающе ... 14 феркл.
Скотский молодняк:
Содомия топорная, за штуку ... 6 феркл.
Изрубенок потешный ... 8 феркл.
Тож, телячья дитятина ... 8 феркл.

Я опять ничего не понял, но мурашки забегали у меня по спине, когда за стеной раздался грохот такой неслыханной силы, словно поселившийся в соседнем покое робот пытался вдребезги его разнести. Меня бросило в дрожь. Это уже было слишком. Стараясь не дребезжать и не лязгать, я выбрался из этого зловещего притона на улицу и, лишь отойдя подальше, перевел дух. «Ну и что же мне делать теперь, горемыке?» — размышлял

я. Я остановился возле кучки роботов, которые резались в дурака, и сделал вид, будто увлеченно слежу за игрой. Пока что я ничего, по сути, не знал о занятиях бесподобцев. Снова затесаться в алебардисты? Но это немного дало бы, а вероятность провала была велика. Что делать?

Я побрел дальше, не переставая думать об этом, пока не заметил сидящего на скамье приземистого робота; он грел на солнышке свои старые латы, голову прикрыв газетой. На первой полосе виднелось стихотворение, начинавшееся словами: «Я угробец-бесподобец». Что там было дальше, не знаю. Слово за слово завязалась беседа. Я назвался приезжим из соседнего города Садомазии. Старый робот оказался на редкость радушным и почти тотчас же предложил у него погостить.

— Почто вашей милости шляться по всяким там, сударь мой, постоялым дворам да с хозяевами браниться! Пожалуйте лучше ко мне. Просим покорно, нижайший поклон, не побрезгуйте, милостивец, удостойте. Радость вступит с почтенной особой вашей в скромные покои мои.

Что было делать? Я согласился, это меня даже устраивало. Мой новый хозяин жил в собственном доме, на третьей улице. Он немедля провел меня в гостевую горницу.

— С дороги, поди, пыли без счету наглотаться пришлося, — промолвил он.

Снова появилась масленка, ветошь и солидол. Я уже знал, что он скажет, — натура роботов довольно проста. И точно:

— Очистивши члены, извольте в потешную, — сказал он, — потешимся самдруг...

И закрыл дверь. Ни к масленке, ни к солидолу я не притронулся, а только проверил в зеркале свою гримировку, начернил зубы и четверть часа спустя, с некоторой тревогой ожидая предстоящей «потехи», уже собирался идти, как вдруг откуда-то снизу донесся протяжный грохот. На этот раз я уже не мог убежать. Я спускался по лестнице под такое громыханье, словно кто-то в щепки рубил железный чурбан. Потешный покой ходил ходуном. Хозяин, раздевшись до железного корпуса, каким-то необычного вида тесаком разделывал на столе большущую куклу.

— Милости просим, гость дорогой! Можете, сударь, вволюшку то-воно туловко распотрошить, — сказал он, прервав рубку и указывая на другую, лежавшую на полу куклу, чуть поменьше. Когда я к ней подошел, она села, открыла глаза и принялась слабым голосочком твердить:

— Сударь — я дитя невинное — смилуйтесь

— сударь — я дитя невинное — смилуйтесь...

Хозяин вручил мне топор, похожий на алебарду, но с укороченной рукоятью.

— Ну-тко, почтеннейший, прочь тоскованье, прочь печалованье — руби с плеча, да бодрее!

— Ино... не по нраву мне детки... — слабо возразил я.

Он застыл неподвижно.

— Не по нраву? — повторил он за мной. — Уж как жаль. Удручили вы меня, сударь. Как быть? Единых я ребятенков держу — слабость то моя, так-то... Разве телятко испробуете?

Так началась моя невеселая жизнь на Карелирии. Поутру, после завтрака, состоявшего из кипящего масла, хозяин отправлялся на службу, а хозяйка что-то яростно распиливала в опочивальне — должно быть, телят, но наверняка не скажу. Не в силах вынести весь этот визг, мычанье и грохот, я уходил из дому. Занятия горожан были довольно-таки однообразны. Четвертование, колесование, припекание, шинкование — в центре находился луна-парк с павильонами, где покупателям предлагались самые изощренные орудия. Через несколько дней я уже не мог смотреть даже на собственный перочинный нож, и лишь чувство голода по вечерам заставляло

меня отправляться за город и там, укрывшись в кустах, торопливо глотать сардины и печенье. Не диво, что при таком довольствии мне постоянно угрожала икота, смертельно опасная для меня.

На третий день мы пошли в театр. Давали драму под названием «Трансформарий». Это была история молодого, красивого робота, претерпевавшего жестокие мучения от людей, то бишь клеюшников. Они обливали его водой, в масло ему подсыпали песок, отворачивали винтики, из-за чего он поминутно грохался оземь, и все в таком роде. Зрители негодующе скрежетали. Во втором действии появился посланец Калькулятора, и молодой робот был избавлен от рабства; в третьем действии детально изображалась судьба людей, как легко догадаться, не слишком завидная.

Со скуки я рылся в домашней библиотеке хозяев, но тут не было ничего интересного: несколько жалких перепечаток мемуаров маркиза де Сада да еще брошюрки наподобие «Опознания клеюшников», из которых я запомнил несколько фраз. «Клеюшник, — говорилось там, — собою зело мягок, консистенцией сходство имеет с клецкою... Глаза его суть туповатые, водянистые, являя образ душевной оного гнусности. Физиогномия

резиноподобная...», и так далее, чуть ли не на сотне страниц.

По субботам приходили в гости виднейшие горожане — мастер цеха жестянщиков, помощник градского оружейничего, цеховой старшина, двое протократов, один альтимуртан, — к сожалению, я не мог понять, кто это такие, поскольку говорили все больше об изящных искусствах, о театре, о превосходном функционировании Его Индуктивности; дамы потихоньку сплетничали. От них я узнал о скандально известном в высших кругах повесе и шалопае, некоем Подуксте, который прожигал жизнь почем зря, окружал себя целыми хороводами электровакханок и осыпал их драгоценными лампами и катушками. Но мой хозяин не выказал особенного смущения, когда я упомянул о Подуксте.

— Молодая сталь, молодой амперaж, — добродушно промолвил он. — Ржавок прибудет, ампер поубудет, тут он и сбавит ток...

Одна бесподобка, бывавшая у нас изредка, бог весть отчего меня заприметила и однажды, после очередного кубка горячего масла, шепнула:

— Любезный мой! Люба ли я тебе? Скрадемся ко мне, поэлектризуемся...

Я сделал вид, будто не расслышал ее из-за ис-

кренья катодов.

Хозяин с хозяйкой обыкновенно жили в сердечном согласии, но как-то я невольно стал свидетелем ссоры; супруга вопила: «Чтоб тя в лом покорежило!» — он, как и положено мужу, отмалчивался.

Бывал у нас известный электролекарь, куратор городской клиники, и от него я узнал, что роботы тоже подвержены сумасшествию, а самая тяжелая его форма — маниакальное убеждение, будто они — люди. И хотя прямо он этого не сказал, можно было понять, что эта мания в последнее время ширится.

Однако на Землю я этих сведений не передавал: они казались мне слишком скудными, да и не хотелось брести через горы к ракете, где был передатчик. Однажды утром (я как раз приканчивал очередного теленка, которым хозяева снабжали меня каждый вечер, в убеждении, что ничем не доставят мне большей утехи) весь дом огласился яростным стуком. Стучали в ворота. Моя тревога оказалась даже слишком оправданной. Это была полиция, то есть алебардисты. Меня вывели на улицу под конвоем, без единого слова, на глазах моих оцепеневших от ужаса хозяев; заковали в кандалы, запихнули в тюремный фургончик

и повезли в тюрьму. У ее ворот уже поджидала враждебно настроенная толпа, встретившая меня злобными воплями. Я был брошен в одиночную камеру. Когда дверь за мною захлопнулась, я уселся на железные нары и громко вздохнул. Теперь мне ничто уже не могло повредить. Я стал вспоминать, сколько я перевидал тюрем в самых разных закоулках Галактики, но так и не смог сосчитать. Под нарами что-то валялось. Это была брошюрка об опознании клеюшников. Нарочно ее, что ли, подбросили, из низменного злорадства? Я невольно открыл ее. Сначала прочел, что верхняя часть клеюшного туловища шевелится по причине так называемого дыхания; и как проверить, не будет ли поданная им рука тестовидной и не исходит ли из его ротового отверстия еле заметный ветерок. В состоянии возбуждения, говорилось в конце раздела, клеюшник выделяет водянистую жижу, главным образом лбом.

Это было довольно точно. Я выделял эту водянистую жижу. Вообще-то исследование Вселенной выглядит несколько однообразным, а все из-за этого, почти непременного этапа любой экспедиции, каким является сидение в тюрьмах — звездных, планетных и даже туманностных; но никогда еще мое положение не было столь

беспросветным. В полдень стражник принес мне миску теплого масла, в котором плавало несколько круглых дробинок от подшипников. Я попросил чего-нибудь посъедобнее, раз уж меня все равно раскрыли, но он, саркастически скрежетнув, ушел. Я стал барабанить в дверь, требуя адвоката. Никто не отвечал. Под вечер, когда я съел уже последнюю крошку печенья, отыскавшуюся внутри панциря, ключ в замке загремел, и в камеру вошел пузатый робот с толстым кожаным портфелем в руке.

— Будь ты проклят, клеюшник! — произнес он и добавил: — Я защитник твой.

— Вы всегда так приветствуете своих подзащитных? — спросил я, садясь.

Он тоже сел, дребезжа. Вид у него был препоганый. Стальные пластины на животе совсем разошлись.

— Клеюшников — только так, — ответил он убежденно. — Единственно из почтенья к занятию своему — однако же не к тебе, бестыжая гадина! — я выкажу свое искусство твоей обороны ради, гнида! Быть может, изыщется способ смягчить уготованную тебе казнь до разборки на малые части.

— Помилуй, — возразил я, — меня нельзя разо-

брать!

— Ха-ха! — заскрежетал адвокат. — Это лишь тебе представляется. А теперь говори, какое ты дело замыслил, мерзавец липучий!

— Как твое имя? — спросил я.

— Клаустрон Фридрак.

— Скажи, Клаустрон Фридрак, в чем меня обвиняют?

— В клейковатости, — немедля ответил он. — Каковая карается высшею мерой. А сверх того, в изменническом злонырстве, в шпионстве по наущению клейковины, в кощунственном помышлении поднять руку на Его Индуктивность, — довольно тебе, клеюшник навозный? Сознаешься ли в означенных винах?

— Точно ли ты адвокат? — спросил я. — Говоришь ты как прокурор или следователь.

— Я твой защитник.

— Хорошо. Не сознаюсь ни в одной из этих вин.

— Ужо полетят с тебя стружки! — заревел он.

Видя, какого мне дали защитника, я умолк. Назавтра меня повели на допрос. Я ни в чем не сознался, хотя судья гремел еще ужасней — если это было возможно, — чем вчерашний защитник. Он то рычал, то шептал, то взрывался жестяным

хохотом, то снова принимался спокойно втолковывать мне, что скорей он начнет дышать, нежели я избегну бесподобческого правосудия.

На следующем допросе присутствовал какой-то важный сановник, судя по числу искрившихся в нем ламп. Прошло еще четыре дня. Хуже всего было с едой. Я довольствовался брючным ремнем, размачивая его в воде, которую приносили раз в день; при этом стражник держал миску подальше от себя, словно это был яд.

Через неделю ремень кончился; к счастью, на мне были высокие ботинки из козлиной кожи — их языки оказались вкуснее всего, что мне довелось отведать в тюрьме.

На восьмое утро двое стражников велели мне собираться. Под охраной, в тюремной машине меня доставили в Железный дворец, резиденцию Калькулятора, и по великолепной нержавеющей лестнице, через зал, инкрустированный катодными лампами, провели в большое помещение без окон. Стражники вышли, я остался один. С потолка свисала черная занавесь, ее складки четырехугольником огораживали центр зала.

— Жалкий клеюшник! — загремел чей-то голос; он словно бы доносился по трубам из железного подземелья. — Бьет твой последний час. Молви,

что милее тебе: шинковальня, костохряска или кромсальня?

Я молчал. Калькулятор загудел, заухал и заговорил снова:

— Слушай, липкая тварь, прибывшая по наущению клейковины! Слушай могучий мой голос, клееныш причмокнутый, слизнючка кисельчатая! В неизреченном милосердии светлейших токов моих дарую тебе снисхождение: ежели вступишь в ряды верного моего воинства, ежели сердцем более всего на свете бесподобцем стать пожелаешь, я, возможно, сохраню тебе жизнь.

Я отвечал, что это издавна было моей сокровенной мечтой. Калькулятор загоготал издевательским, пульсирующим смехом и сказал:

— Сказкам твоим веры не даю ни на грош. Слышь, хлюпняк. Липкую свою жизнь можешь сберечь единственно как тайный бесподобец-алебардист. Задачей твоею будет клеюшников-лазутчиков, агентов, изменщиков и прочую нечисть, которую клейковина сюда присылает, изобличать, обнажать, забрало сдирать, железюгой каленой выжигать и лишь таковою верною службой можешь спастись.

Я торжественным манером поклялся и был уведен в соседнюю комнату; там меня занесли в

реестр, обязав каждодневно представлять рапорт в Главную Алебардьерню, а потом — разбитого, еле стоящего на ногах — выпустили из дворца.

Смеркалось. Я отправился за город, сел на траву и задумался. Тяжко было у меня на душе. Если бы меня обезглавили, я хотя бы сохранил честь; теперь же, перейдя на сторону этого электроизверга, я предал дело, ради которого был сюда послан, загубил свою миссию. Так что же — возвращаться к ракете? Это означало бы позорное бегство. И все-таки я тронулся в путь. Судьба соглядатая в услужении у машины, которая правит отрядами железных ящиков, была бы еще позорнее. Но как описать мое потрясение, когда там, где я оставил ракету, я увидел одни лишь обломки — разбросанные, покореженные какими-то машинами!

Было уже темно, когда я добрался до города. Присев на камне, я в первый раз в жизни горько зарыдал по утраченной родине, а слезы, стекая по железному нутру полого истукана, которому отныне суждено было служить мне тюрьмой до самой могилы, вытекали через наколенные щели, грозя ржавчиной и отверденьем суставов. Но мне уже было все равно.

Вдруг в последних лучах заката я увидел взвод

алебардистов, медленно продвигавшийся к пригородным лугам. Что-то странное было в их поведении. Сумерки сгущались, и, пользуясь темнотой, то один, то другой отделялся от строя и, как можно тише перебирая ногами, скрывался в кустах. Это было так удивительно, что, несмотря на свое безмерно угнетенное состояние, я тихонько встал и двинулся за ближайшим из них.

Эта была, должен добавить, пора, когда в пригородных кустарниках поспевали дикие ягоды, по вкусу напоминающие бруснику, только слаще. Я сам объедался ими всякий раз, как удавалось выбраться из железного града. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что выслеживаемый мною алебардист маленьким ключиком, точь-в-точь как тот, что вручил мне сотрудник Второго Отдела, открывает свое забрало и, в две руки обрывая ягоды, как безумный запихивает их в разинутый рот! Даже оттуда до меня доносилось торопливое чавканье и причмокиванье.

— Тс-с, — прошипел я пронзительно, — эй, послушай!

Он мигом прыгнул в кусты, но дальше не убегал — я бы услышал. Он был где-то рядом.

— Эй, — сказал я, понизив голос, — не бойся. Я человек. Человек. Я тоже переодетый.

Что-то — кажется, один-единственный, горящий страхом и подозрением глаз — зыркнуло на меня из-за листьев.

— А коли обманываешь? Как мне то знать? — услышал я хриплый голос.

— Да говорят же тебе. Не бойся. Я прибыл с Земли. Меня сюда нарочно послали.

Я уговаривал его до тех пор, пока он не успокоился настолько, что вылез из кустов. В темноте он потрогал мой панцирь.

— Подлинно ли ты человек? Ужели то правда?

— А ты почему не говоришь по-людски? — спросил я.

— Ино попризабыл. Пятый уж год, как меня сюда рок безщастный занес... натерпелся, что и словами не скажешь... Истинно, благая фортуна, иже даровала мне клеюшника пред кончиной узреть... — бормотал он.

— Опомнись! Перестань нести околесицу! Слушай: а ты, случаем, не из Второго?

— Ино так. Вестимо, из Второго. Малинграут меня сюда снарядил на муки жестокие.

— Что ж ты не убежал?

— Статочное ли дело! Вить ракету мою разобрали да в премелкую дробь раздробили. Братец — не можно мне тут сидеть. В казармы пора...

ах, еще ль когда свидимся? К казармам поутре прийди... прийдешь?

Уговорился я с ним, даже не зная, как он выглядит, и мы распрощались; он велел мне оставаться на месте, а сам исчез в темноте. Я вернулся в город приободренный, потому что видел уже возможность организации заговора; а пока, чтобы набраться сил, заночевал на первом попавшемся постоялом дворе.

Утром, разглядывая себя в зеркало, я заметил на груди, под левым наплечником, маленький меловой крестик, и у меня словно шоры упали с глаз. Тот человек хотел меня выдать — и пометил крестом! «Мерзавец!» — мысленно твердил я, лихорадочно размышляя, что теперь делать. Я стер иудино клеймо, но этого было недостаточно. Он, поди, уже и рапорт подал, и теперь начнутся поиски замеченного клеюшника; конечно, они поднимут свои реестры и прежде всего проверят наиболее подозрительных — а я ведь там был, в этих списках; при мысли о предстоящем допросе меня бросило в дрожь. Надо было как-то отвести подозрение от себя, и вскоре я нашел способ. Весь день я провел на постоялом дворе, для маскировки кромсая телят, а с наступлением темноты вышел на улицу, пряча в руке кусок мела. Я поста-

вил добрых четыре сотни крестов на железных спинах прохожих — всякий, кто мне подвернулся, получил отметину. Поздно ночью, в несколько лучшем расположении духа, я вернулся на постоялый двор и лишь тут вспомнил, что кроме давешнего иуды в кустах копошились и другие алебардисты. Здесь было над чем поразмыслить. Вдруг меня осенила поразительно простая догадка. Я снова отправился за город, в ягодник. Около полуночи явился все тот же железный сброд, понемногу разбежался, рассыпался, и лишь из окружающих зарослей доносилось посапыванье и причмокиванье остервенело жующих ртов; потом залязгали опускаемые забрала, и вся компания стала молчком выбираться из кустов, обожравшись ягодами до отвала. Я пристроился к ним; в темноте меня приняли за своего; маршируя, я метил соседей кружочками, куда попало, а у ворот алебардьерни повернулся кругом и пошел на свой постоялый двор.

Назавтра я уселся на лавке возле казарм, ожидая выхода стражников, получивших увольнительную в город. Отыскав в толпе служивого с кружком на лопатке, я пошел за ним; улучив минуту, когда рядом никого не было, хлопнул его по плечу железной перчаткой, так что он весь

загремел, и произнес:

— Именем Его Индуктивности! Следуй за мной!

Он так испугался, что начал лязгать всем корпусом, и без единого слова поплелся за мной, покорный как кролик. Я запер двери горницы, вынул из кармана отвертку и начал отвинчивать ему голову. На это ушел целый час. Наконец я поднял железный горшок, и моему взору предстало неприятно побелевшее от долгого пребывания в темноте, исхудавшее лицо с вытаращенными в страхе глазами.

— Клеюшник?! — грозно спросил я.

— Точно так, ваша милость, однако ж...

— Что однако ж?!

— Однако ж я... вписан в реестр... присягу давал на верность Его Индуктивности!

— Давно ль, отвечай?!

— Три... три года тому... ваша милость... Почто... почто вы меня...

— Погоди, — сказал я, — а иных клеюшников знаешь?

— На Земле? Вестимо, знаю, ваша честь... помилосердствуйте, я ино...

— Не на Земле, остолоп! Здесь!

— Никак! Никогда! Возможно ль! Как скоро

узрю, мигом донесу, ваша ми...

— Ну, довольно, — сказал я. — Ступай. Голову сам себе привинти.

Я сунул ему все его винтики и вытолкнул за дверь — было слышно, как он напяливает свой череп трясущимися руками, — а сам присел на кровать, немало удивленный услышанным. Всю следующую неделю я трудился без устали: брал с улицы первых встречных, вел их на постоялый двор и там отвинчивал головы. Предчувствие не обмануло меня: все до единого были людьми! Я не нашел ни одного робота! Понемногу в уме у меня складывалась апокалиптическая картина...

Да он просто дьявол, электрический дьявол, этот Калькулятор! В его раскаленных проводах родилась настоящая преисподняя! Планета была сырая, для роботов в высшей степени нездоровая, они, конечно, ржавели целыми толпами; должно быть, чем дальше, тем больше недоставало запасных частей, роботы выходили из строя, один за другим отправлялись на пригородное кладбище, и только ветер отбивал похоронный звон листами ржавеющей стали. Тогда-то, видя, как редеют его ряды, поняв, что его владычество под угрозой, Калькулятор решился на гениальный трюк. Из врагов, из посылаемых ему на погибель шпионов

он стал вербовать свое собственное войско, собственных агентов, собственный народ! Никто из них не мог ему изменить — никто не отваживался сойтись поближе с другими, считая их роботами, а если бы и проведал о ком-нибудь правду, все равно побоялся бы, что тот его сразу же выдаст, как это сделал человек, застигнутый мною в кустарнике. Калькулятор не просто обезвреживал врагов, но каждого делал бойцом за свое дело; вынуждая перевербованного выдавать других засылаемых на планету людей, он лишний раз доказывал свое дьявольское коварство: кто же мог лучше опознать человека, если не сами люди, знавшие все секреты Второго Отдела?!

Разоблаченный, внесенный в реестры, принявший присягу человек чувствовал себя одиноким и, пожалуй, боялся себе подобных даже больше, чем роботов, ведь не каждый робот был на службе у тайной полиции, а люди — все до единого. Вот так электрический монстр держал нас в порабощении, угрожая всем — всеми; ведь это мои товарищи по несчастью разнесли мою ракету в куски, а еще раньше (мне сказал об этом один из алебардистов) — и тысячи других ракет.

«Ад, исчадие ада!» — думал я, дрожа от бешенства. И мало того, что он вынуждал к измене, а

Отдел присылал все новых и новых людей к его же пользе, — но вдобавок их облачали в самые лучшие, самые качественные, нержавеющие доспехи! Оставался ли еще хоть один робот в этих закованных в сталь отрядах? В этом я сильно сомневался. Теперь мне стало понятно усердие, с которым они преследовали своих. Этим неофитам бесподобчества, навербованным из людей, приходилось быть больше роботами, чем настоящие роботы. Отсюда та жгучая ненависть, которой пылал ко мне адвокат; отсюда же — подлая попытка выдать меня, предпринятая человеком, которому я открылся. Какой демонизм проводов и катушек, какая электростратегия!

Разглашение тайны ни к чему бы не привело; по приказу Калькулятора меня, конечно, засадили бы в подземелье — слишком давно покорность вошла в привычку, слишком долго изображали они послушание и преданность электрифицированному Вельзевулу; они и говорить-то по-своему разучились!

Что делать? Пробраться во дворец? Безумие. Но что мне еще оставалось? Невероятно: вот город, окруженный кладбищами, на которых покоится обращенное в ржавчину воинство Калькулятора, а он владычествует по-прежнему, могуществен-

ный как никогда, совершенно уверенный в себе, ведь Земля шлет ему все новые пополнения — чертовщина, и только! Чем дольше я размышлял, тем лучше понимал, что даже это открытие, которое, несомненно, уже не однажды было сделано до меня, ничуть не меняет моего положения. В одиночку я ничего не добьюсь, надо кому-то довериться, кому-то открыться — но тогда меня бы немедленно предали; предатель, понятно, рассчитывал на продвиженье по службе, на особые милости ужасной машины. «Клянусь святым Электрицием, — думал я, — истинно, это гений...» И, думая так, замечал, что и сам уже слегка архаизирую речь, что и мне передается эта зараза, что естественной мне начинает казаться внешность этих железных чурбанов, а человеческое лицо — каким-то голым, уродливым, неприличным... клеюшным. «О Боже, я ведь схожу с ума, — мелькнула мысль, — а другие, верно, давно уже спятили... На помощь!»

После ночи, проведенной в мрачных раздумьях, я отправился в центр, там за тридцать ферклосов купил самый острый тесак, какой только смог найти, и с наступлением сумерек пробрался в огромный сад, окружавший дворец Калькулятора. Здесь, укрывшись в кустах, я с помощью

отвертки и плоскогубцев выбрался из железного панциря и босой бесшумно вскарабкался по водосточной трубе на второй этаж. Окно было открыто. По коридору, глухо лязгая, расхаживал караульный. Когда он оказался в дальнем конце коридора, ко мне спиной, я спрыгнул внутрь, быстро добежал до ближайшей двери и тихо вошел — он ничего не заметил.

Это был тот самый зал, в котором я слышал голос Калькулятора. Здесь царил мрак. Я раздвинул черную занавесь и увидел огромную, до потолка, панель Калькулятора со светящимися как глаза индикаторами. Сбоку белела какая-то щель — чуть приоткрытые двери. Я подошел к ним на цыпочках и затаил дух.

Нутро Калькулятора походило на маленький номер второразрядной гостиницы. У стены стоял приоткрытый сейф со связкой ключей в замке. За письменным столом, заваленным бумагами, сидел старообразный, ссохшийся человечек в сером костюме и бухгалтерских нарукавниках с буфами и страница за страницей заполнял какие-то формуляры. Рядом дымился стакан с чаем и стояла тарелка с печеньем. Я неслышно вошел и притворил дверь. Она даже не скрипнула.

— Тс-с, — сказал я, обеими руками занося над

головою тесак.

Человечек вздрогнул и поднял глаза; блеск занесенного тесака поверг его в неописуемый ужас. С искаженным лицом он упал на колени.

— Нет!! — взмолился он. — Не-ет!!!

— Будешь кричать — бесславно погибнешь, — сказал я. — Кто ты?!

— Ге... Гептагоний Аргуссон, ваша милость.

— Я тебе вовсе не милость. Называй меня «господин Тихий», ясно?!

— Так точно! Да! Да!

— Где Калькулятор?

— Го... господин...

— Никакого Калькулятора нету, а?!

— Так точно! Такой у меня был приказ!

— Ага. Чей, если не секрет?

Он дрожал всем телом. Умоляюще воздел руки.

— Ох, быть беде... — простонал он. — Пощадите! Не вынуждайте меня, ваша ми... простите! — господин Тихий! Я... я всего лишь служащий четвертой категории...

— Что я слышу? А Калькулятор? А роботы?

— Господин Тихий, сжальтесь! Я открою всю правду! Наш шеф — это он все устроил. Ради кредитов... расширения сферы деятельности, ради большей... э-э... оперативности... и чтобы прове-

рить наших людей, но главное — это кредиты...

— Так это было подстроено? Все-все?!

— Не знаю! Клянусь вам! С тех пор как я здесь — ничего не менялось, только не думайте, будто я тут главный, сохрани Бог! Я только личные дела заполняю, и все. Хотели проверить... сдюжат ли наши люди перед лицом врага... в критической обстановке... готовы ли они на смерть...

— А почему никто не вернулся?

— Потому что... потому что все предали, господин Тихий.... ни один не согласился отдать жизнь за дело клейковины... тьфу ты! — за наше дело, хотел я сказать, извините — привычка! Одиннадцать лет я тут безвылазно, думал, через годик на пенсию, у меня жена и ребенок, господин Тихий, умоляю...

— Заткнись! — гневно загремел я. — О пенсии размечтался, мерзавец, я тебе покажу пенсию!

Я поднял тесак над головой. У человечка глаза вылезли из орбит; он пополз к моим ногам на коленях.

Я велел ему встать. Убедившись, что в сейфе есть маленькое зарешеченное окошко, я запер его там.

— И ни гугу у меня! Посмей только постучать или лязгнуть, паршивец, — сразу на шинковаль-

ню!

Остальное было уже просто. Ночь я провел не самую лучшую: листал бумаги. Отчеты, донесения, анкеты — на каждого жителя планеты отдельная папка. Я застелил стол совершенно секретной корреспонденцией: надо было на чем-то спать. Утром включил микрофон и от имени Калькулятора повелел всему населению явиться на дворцовую площадь, и чтобы каждый принес отвертку и плоскогубцы. Когда они все построились, словно гигантские, вороненые шахматные фигуры, я приказал им пооткручивать друг другу головы, ради благопроводности блаженного Электриция. В одиннадцать показались первые человеческие лица, начался шум и гвалт, послышались крики «Измена! Измена!», которые несколькими минутами позже, когда последний железный колпак с грохотом рухнул на мостовую, сменились единодушным радостным ревом. Тогда я явился в своем настоящем виде и предложил под моею командой взяться за работу: я хотел изготовить из местного сырья и материалов большой корабль. Оказалось, однако, что в подземельях дворца хранится немало ракет с полным запасом горючего, готовых к отлету. Перед стартом я выпустил Аргуссона из сейфа,

но не взял его на борт и другим не позволил. Я обещал известить обо всем его шефа и высказать ему как можно подробнее, что я о нем думаю.

Так завершилось одно из самых удивительных моих путешествий. Несмотря на все труды и мученья, которых оно мне стоило, я рад был такому обороту вещей, ибо снова обрел веру — поколебленную космическими аферистами — в природное благородство электронных мозгов. Утешительно все же думать, что лишь человек способен быть проходимцем.

Путешествие двенадцатое

Вероятно, ни в каком путешествии я не подвергался таким поразительным опасностям, как в полете на Амауропию, планету в созвездии Циклопа. Приключениями, пережитыми на ней, я обязан профессору Тарантоге. Этот ученый-астрозоолог не только прославился как исследователь, но, как известно, он в свободное время занимается также изобретательством. Между прочим, он изобрел жидкость для выведения неприятных воспоминаний, банкноты с горизонтальной восьмеркой, означающие бесконечно большую сумму денег, три способа окрашивать туман в приятные для глаза цвета, а также специальный порошок для прессовки облаков в соответствующие формы, благодаря чему они становятся плотными и долговечными.

Кроме того, он создал аппаратуру для использования бесполезно растрачиваемой (обычно) энергии детей, которые, как известно, ни минуты не могут обойтись без движения. Эта аппаратура представляет собой систему торчащих в разных местах жилища рукояток, блоков и рычагов;

играя, дети толкают их, тянут, передвигают и таким образом, сами того не зная, накачивают воду, стирают белье, чистят картофель, вырабатывают электричество и т. д. Заботясь о младшем поколении, остающемся иногда в жилище без присмотра, профессор изобрел незагорающиеся спички, выпускаемые сейчас на Земле в массовом порядке.

Однажды профессор показал мне свое последнее изобретение. В первый момент мне показалось, что я вижу перед собой обыкновенную железную печурку. Тарантога признался, что именно этот предмет он и положил в основу своего изобретения.

— Это, дорогой Ийон, извечная мечта человечества, получившая реальное воплощение, — пояснил он, — а именно — это удлинитель, или, если захочешь, замедлитель времени. Он позволяет продлить жизнь на сколько угодно. Одна минута внутри него длится около двух месяцев, если я не ошибаюсь в расчетах. Хочешь испробовать?..

Интересуясь, как всегда, новинками техники, я кивнул и с охотой втиснулся в аппарат. Едва я там уселся, профессор захлопнул дверку. У меня зачесалось в носу — сотрясение, с каким печурка

закрылась, подняло в воздух невычищенные остатки сажи, так что, втянув их с воздухом, я чихнул. В этот момент профессор включил ток. Вследствие замедления времени мой чих продолжался пять суток, и, открыв дверку, Тарантога нашел меня почти без чувств от изнеможения. Он удивился и встревожился, но, узнав, в чем дело, добродушно усмехнулся и сказал:

— А в действительности по моим часам прошло только четыре секунды. Ну, что ты скажешь, Ийон, о моем изобретении?

— Сказать по правде, мне кажется, оно еще не усовершенствовано, хотя и заслуживает внимания, — ответил я, как только удалось отдышаться.

Достойный профессор несколько опечалился, но потом великодушно подарил аппарат мне, объяснив, что он может служить одинаково и для замедления и для ускорения хода времени. Чувствуя себя несколько усталым, я до времени отказался испытывать второе свойство удивительной машины, сердечно поблагодарил профессора и отвез ее к себе. По правде говоря, я не очень ясно представлял себе, что с нею делать, а потому убрал ее на чердак своего ракетного ангара, где она пролежала с полгода.

Работая над восьмым томом своей знаменитой «Астрозоологии», профессор детально ознакомился с материалами, касающимися существ, живущих на Амауропии. Ему пришло в голову, что они являются великолепными объектами для испытания замедлителя (а также ускорителя) времени.

Я ознакомился с этим проектом и так им увлекся, что в три недели собрал запас горючего и провианта, а затем, захватив с собою карты этого малознакомого мне района Галактики и аппарат, вылетел, не медля ни минуты. Это было тем разумнее, что перелет на Амауропию продолжается около тридцати лет. О том, что я делал все это время, напишу где-нибудь в другом месте. Упомяну только об одном из самых крупных событий; это была встреча в области ядра Галактики (кстати сказать, вряд ли можно найти другое такое запыленное место!) с племенем межзвездных бродяг, называемых выгонтами.

У этих несчастных вообще нет родины. Зато фантазия у них, мягко выражаясь, богатая, так как почти каждый из них рассказывал мне историю племени по-своему. Позже я слышал, что они просто растранжирили свою планету, по великой алчности своей хищнически разрабатывая ее

недра и экспортируя различные минералы. В конце концов они так изрыли и перекопали всю внутренность планеты, что вовсе разрушили ее; осталась только большая яма, рассыпавшаяся у них под ногами. Некоторые, правда, утверждают, что выгонты, отправившись однажды на пирушку, попросту заблудились и не смогли вернуться домой. Неизвестно, как там было на самом деле; во всяком случае, никто этим космическим бродягам не рад; если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова.

Однажды на Арденурии они, говорят, слизнули целый материк — хорошо, что непригодный, обледеневший. Они охотно нанимаются для чистки и регулировки лун, но мало кто доверяет им столь ответственные работы. Их детвора закидывает кометы камнями, катается на старых метеоритах — словом, хлопот с ними полон рот. Я увидел, что мириться с такими условиями существования нельзя; прервав ненадолго путешествие, я взялся помочь им, и так успешно, что мне удалось достать по случаю совершенно пригодную для употребления луну. Ее подремонтировали и бла-

годаря моим связям произвели в ранг планеты.

Правда, на ней не было воздуха, но я объявил складчину; окрестные жители сложились — и нужно было видеть, с какой радостью вступили почтенные выгонты на свою собственную планету! Благодарностям их не было конца. Сердечно попрощавшись с ними, я пустился в дальнейший путь. До Амауропии оставалось не более шести квинтильонов километров; пролетев этот последний отрезок пути и найдя нужную планету (а там их что маковых зерен), я начал опускаться на ее поверхность.

Несколько погодя я включил тормоза и с изумлением увидел, что они не действуют и я падаю на планету камнем. Выглянув из шлюза, я заметил, что тормозов вообще нет. С возмущением вспомнил я о неблагодарных выгонтах, но размышлять о них было некогда, так как я уже мчался в атмосфере и ракета начала раскаляться до рубинового блеска, еще минута — и я сгорел бы заживо.

К счастью, в последний момент я вспомнил о замедлителе времени: включив его, я замедлил время настолько, что мое падение на планету продолжалось три недели. Разделавшись таким образом с затруднением, я осмотрел окрестности.

Ракета опустилась на обширной поляне, со всех сторон окруженной бледно-голубым лесом. Над деревьями, чьи стволы напоминали каракатиц, очень быстро кружились какие-то смарагдового цвета существа. Завидя меня, в лиловые кусты кинулась толпа существ, поразительно похожих на людей, с тою только разницей, что кожа у них была ярко-синяя и блестящая. Я уже знал о них кое-что от Тарантоги, а достав карманный справочник космонавта, почерпнул оттуда пригоршню добавочных сведений. Планету населяла порода человекообразных существ, называемых микроцефалами и находящихся на крайне низкой ступени развития.

Попытки связаться с ними не дали результатов. Было совершенно очевидно, что справочник не ошибается. Микроцефалы ходили на четвереньках; иногда, садясь на корточки, искали друг у друга вшей, а когда я приближался к ним, только таращили на меня изумрудные глаза, галдя без малейшего складу и ладу. Несмотря на отсутствие разума, нрава они были спокойного и добродушного.

Два дня я изучал голубой лес и окружающие его просторные степи и, вернувшись в ракету, захотел отдохнуть. Уже в постели я вспомнил об

ускорителе и решил пустить его в ход на несколько часов, а завтра посмотреть, какие это даст результаты. Поэтому я не без труда вытащил его из ракеты, поставил под деревом, включил на ускорение времени и, вернувшись в постель, уснул сном праведным.

Разбудили меня сильные толчки и тряска. Открыв глаза, я увидел наклонившихся надо мной микроцефалов; они теперь стояли на двух ногах, крикливо переговаривались между собою, с огромным интересом изучали мои руки, а когда я попробовал сопротивляться, чуть не вырвали мне их из предплечий. Самый здоровенный, фиолетовый великан, силком открыл мне рот и пальцем пересчитал зубы.

Я тщетно вырывался из их рук. Меня вынесли на поляну и привязали к хвосту ракеты. Отсюда было видно, как микроцефалы вытаскивали из ракеты все что могли; крупные предметы, не проходившие в отверстие шлюза, они предварительно разбивали камнями на кусочки. Вдруг на ракету и на суетившихся вокруг нее микроцефалов обрушился град каменьев; один угодил мне в голову. Я был связан и не мог посмотреть, откуда летят камни; слышал только шум сражения. Микроцефалы, связавшие меня, кинулись бежать.

Подбежали другие, освободили меня от веревок и с выражением великого почтения унесли на плечах в глубь леса.

У подножия развесистого дерева шествие остановилось. С ветвей свисал на лианах какой-то воздушный шалашик с маленьким окошком. Через окошко меня впихнули внутрь, а собравшаяся под деревом толпа упала на колени, молитвенно голося. Хороводы микроцефалов приносили мне в жертву цветы и плоды. В последующие дни я был предметом всеобщего поклонения, причем жрецы предсказывали будущее по выражению моего лица, а когда оно казалось им зловещим, окуривали меня дымом, так что однажды я чуть не задохнулся. К счастью, во время жертвоприношений жрецы раскачивали святилище, в котором я сидел, благодаря чему мне время от времени удавалось отдышаться.

На четвертый день на моих поклонников напал отряд вооруженных дубинами микроцефалов под предводительством великана, считавшего мне зубы. Переходя во время битвы из рук в руки, я поочередно становился предметом то поклонения, то оскорблений. Битва закончилась победой нападавших, вождем которых был тот самый великан, по имени Глистолёт. Я принимал участие

в его триумфальном возвращении в стойбище: меня привязали к длинной жерди, которую несли родичи вождя. Это вошло в обычай, и с тех пор я стал чем-то вроде знамени, которое носили во всех военных походах, — должность нелегкая, но с привилегиями.

Научившись немного языку микроцефалов, я начал объяснять Глистолёту, что он и его подданные обязаны столь быстрым развитием мне. Дело шло медленно, но, кажется, он уже начинал кое-что понимать, когда, к сожалению, был отравлен своим же племянником Одлопензом. Тот объединил микроцефалов, женившись на жрице Мастозимазе.

Увидев меня на свадебном пиру (я был отведывателем блюд, эту должность учредил Одлопенз), Мастозимаза радостно вскричала: «Ах, какая у тебя беленькая шкурка!» Это наполнило меня недобрыми предчувствиями, которые вскоре оправдались. Мастозимаза задушила своего спящего супруга и вступила со мной в морганатический брак. Я пытался объяснить свои заслуги перед микроцефалами и ей, но она поняла меня неправильно, так как при первых же словах крикнула: «Ага, так я тебе уже надоела!» — и мне пришлось долго успокаивать ее.

При последующем дворцовом перевороте Мастозимаза погибла, а я спасся бегством через окно. От нашего брака остался только бело-фиолетовый цвет государственных знамен. Убежав, я разыскал в лесу поляну с ускорителем и хотел выключить его, но потом мне пришло в голову, что лучше будет подождать, пока микроцефалы создадут у себя более демократическую цивилизацию.

Некоторое время я прожил в лесу, питаясь лишь кореньями и только ночью приближаясь к стойбищу, которое быстро превращалось в обнесенный частоколом город.

Сельские микроцефалы занимались земледелием, городские нападали на них, насиловали их жен, а их самих убивали и грабили. Из всего этого быстро родилась торговля. В то же время окрепли религиозные верования, ритуал которых усложнялся с каждым днем. К моей великой досаде, микроцефалы утащили ракету с поляны в город и поставили посреди главной площади как божество, окружив стенами и стражей. Несколько раз земледельцы объединялись, нападали на Лиловец (так назывался город) и общими усилиями разрушали его до основания, но каждый раз он очень быстро отстраивался.

Этим войнам положил конец царь Сарцепанос: он сжег деревни, выкорчевал под корень леса и уничтожил земледельцев, живших под городом. Так как жить мне больше было негде, я пришел в Лиловец. Благодаря моим знакомствам (дворцовая прислуга помнила меня со времен Мастозимазы) я получил должность тронного массажиста. Сарцепанос полюбил меня и решил дать мне чин помощника государственного палача, в ранге старшего мучителя. В отчаянии кинулся я на поляну, где работал ускоритель, и поставил его на максимальное действие. В ту же ночь Сарцепанос умер от обжорства, и на трон вступил военачальник Тримон Синеватый. Он ввел табель о рангах, подати и принудительный рекрутский набор. От военной службы меня спас цвет кожи: будучи признан альбиносом, я не имел права приближаться к царскому жилищу. Я жил среди невольников, и они называли меня Ийоном Бледным.

Я начал проповедовать всеобщее равенство и разъяснять свою роль в общественном развитии микроцефалов. Вскоре вокруг меня сгруппировалось множество сторонников этого учения, которых назвали Машинистами, начались волнения и бунты, кроваво подавленные гвардией

Тримона Синеватого. Машинизм был запрещен под страхом защекотания насмерть.

Несколько раз мне приходилось убегать из города и прятаться в городских рыбных садках, а мои приверженцы подвергались жестоким преследованиям. Потом на мои публичные лекции стало собираться все больше и больше высокопоставленных лиц — конечно, инкогнито. Когда Тримон трагически скончался, по рассеянности перестав дышать, царем стал Карбагаз Рассудительный. Это был сторонник моего учения, возведший его в ранг государственной религии. Я получил титул Хранителя Машины и великолепное жилище по соседству с дворцом. У меня было множество дел, и я сам не заметил, как подчиненные мне жрецы начали проповедовать о моем небесном происхождении. Напрасно старался я этому помешать. В то же время возникла секта Антимашинистов, утверждавших, что микроцефалы развиваются естественным путем и что я — всего лишь бывший невольник, который, выбелившись мелом, пытается морочить народ.

Вождей секты схватили, и царь пожелал, чтобы я в качестве Хранителя Машины осудил их на смерть. Не видя иных возможностей, я убежал через окно дворца и некоторое время скрывался

в рыбных садках. Однажды до меня дошла весть, что жрецы проповедуют о вознесении на небо Ийона Бледного, который, выполнив свою планетную миссию, вернулся к своим божественным родителям. Я пошел в Лиловец, чтобы это опровергнуть, но толпа, преклонявшая колени перед моими изображениями, при первых же словах хотела забросать меня камнями. Жреческая стража спасла меня, но лишь затем, чтобы бросить в темницу как самозванца и святотатца. В течение трех дней меня скребли и терли, чтобы удалить предполагаемые белила, с помощью которых, как гласило обвинение, я притворялся вознесшимся на небеса Бледным. Так как я не голубел, решено было подвергнуть меня пытке. От этой неприятности мне удалось спастись благодаря одному стражнику, доставшему мне немного голубой краски. Я живо кинулся в лес, где находился ускоритель, и, порядком повозившись, поставил его на еще большее ускорение в надежде приблизить таким образом наступление порядочной цивилизации, а затем две недели скрывался в рыбных садках.

Я вернулся в столицу, когда были провозглашены республика, инфляция, амнистия и равенство сословий. На заставах уже требовали документы,

а у меня никаких не было, так что меня арестовали за бродяжничество. Выйдя на свободу, я за неимением средств к жизни стал курьером в Министерстве просвещения. Министерские кабинеты сменялись иногда дважды в сутки, а так как каждое новое правительство начинало свою деятельность с отмены прежних декретов и издания новых, мне все время приходилось бегать с циркулярами. В конце концов у меня распухли ноги, и я подал в отставку, впрочем, не принятую, так как в стране было военное положение. Пережив республику, две директории, реставрацию просвещенной монархии, авторитарное правление генерала Розгроза и его гильотинирование, я потерял терпение при виде медленного развития цивилизации и еще раз принялся регулировать аппарат; в результате в нем сломался какой-то винтик. Я не обратил на это особого внимания, но дня через два заметил, что творится что-то необычайное.

Солнце вставало на западе, на кладбище слышались какие-то шумы, встречались воскресшие покойники, состояние которых улучшалось с каждой минутой, взрослые люди уменьшались на глазах, а детишки куда-то исчезали.

Вернулись правление генерала Розгроза, про-

свещенная монархия, директория и, наконец, республика. Увидев собственными глазами идущее задним ходом погребальное шествие царя Карбагаза, который через три дня встал с катафалка и был разбальзамирован, я понял, что, вероятно, испортил аппарат и время пошло вспять. Хуже всего было то, что я замечал признаки помолодения на собственной особе. Я решил подождать воскресения Карбагаза I; тогда я снова стану Великим Машинистом и, пользуясь тогдашним своим влиянием, без труда смогу попасть внутрь обожествляемой ракеты.

Однако хуже всего был ужасающий темп изменений; я не был уверен, что дождусь нужной минуты. Каждый день я становился под деревом во дворе и отмечал черточками свой рост: я уменьшался с огромной скоростью. Сделавшись Хранителем Машины при Карбагазе, я выглядел не старше девятилетнего, а еще нужно было собрать запасы пищи на дорогу. Я сносил их в ракету по ночам, и это стоило мне немалых трудов, так как я становился все слабее. К величайшему моему изумлению, я заметил, что в свободные от дворцовых занятий минуты меня охватывает желание поиграть в пятнашки.

Когда ракета была уже готова к отлету, я на

рассвете скрылся в ней и хотел взяться за стартовый рычаг, но оказалось, что он слишком высоко. Чтобы его передвинуть, пришлось взобраться на стул. Я хотел выругаться и, к своему ужасу, убедился, что могу только пищать, как младенец. В момент старта я еще ходил, но, видимо, приданный мне импульс действовал еще некоторое время, так как уже вдалеке от планеты, когда ее диск превратился в светлое пятнышко, мне с трудом удалось подползти к бутылке с молоком, заранее припасенной мною. Таким способом мне пришлось питаться целых шесть месяцев.

Полет на Амауропию занимает, как я уже сказал, около тридцати лет, так что, вернувшись на Землю, я не вызвал своим видом тревоги у моих друзей. Жаль только, что я не умею фантазировать, иначе мне не пришлось бы избегать встреч с Тарантогой, и я сумел бы, не обижая его, выдумать какую-нибудь сказку, чтобы польстить его изобретательским талантам.

Путешествие тринадцатое

Смешанные чувства теснятся в груди моей, когда я приступаю к описанию этой экспедиции, принесшей мне больше, нежели я мог надеяться. Отправляясь в путь с Земли, я назначил себе целью достижение невероятно далекой планеты в созвездии Краба, Зазьявы, слава о которой разносится по всей космической пустоте благодаря тому, что она подарила Вселенной одну из наиболее выдающихся ее личностей, Учителя Ох. Не так на самом деле зовут сего блестящего мыслителя, я же пользуюсь этим именем, ибо ни один земной язык не в состоянии передать его иным образом. Ребенку, рождающемуся на Зазьяве, вместе с необыкновенно длинным, по нашим представлениям, именем присваивают несметное множество титулов и отличий.

Когда в свое время Учитель Ох пришел в мир, его нарекли именем Гридипидагититоситипопокартуртегвауана-топочтоэтотам. Он получил титулы Златотканого Оплота Бытия, Доктора Совершенной Кротости, Светлой Вероятностной Всесторонности и т. д. и т. п. По мере того как он

мужал и учился, каждый год его лишали одного титула и частички имени, а поскольку способности он выказывал необычайные, уже на тридцать третьем году жизни у него отобрали последнее отличие, спустя же еще два года у него вообще не осталось титулов, а имя его обозначалось одной только — да к тому же немой — буквой зазьявского алфавита: «придыхание блаженства», то есть особого рода подавленный вздох, который издают от избытка уважения и наслаждения.

Теперь читатель, конечно же, поймет, почему я зову этого мудреца Учителем Ох. Муж сей, нареченный Благодетелем Космоса, всю жизнь посвятил делу осчастливливания различных племен Галактики и, трудясь в поте лица, создал науку об исполнении желаний, именуемую также Общей Теорией Протезов. Отсюда же, как всем известно, и сам он выводит определение собственной деятельности; как вы знаете, он считает себя протезистом.

Впервые я столкнулся с плодами деяний Учителя Ох на Европии. Испокон веков планета та бурлила от раздоров, неприязни и желчной враждебности, которые отличали взаимоотношения ее жителей. Брат завидовал там брату, ученик ненавидел учителя, подчиненный — начальни-

ка. Однако же, когда я прибыл туда, в глаза мне бросились — в противоречии с молвой — всеобщая кротость и нежнейшая любовь, которую питали друг к другу все без исключения члены планетного общества.

Однажды, когда в компании знакомого туземца я прохаживался по улицам столицы, внимание мое в витринах многих магазинов привлекли головы в натуральную величину, словно шляпы, насаженные на подставки, а также большие куклы, поразительно точно изображавшие европейцев. Будучи спрошен, спутник мой разъяснил, что это громоотводы неприязненных чувств. Испытывая к кому-нибудь нерасположение или предубеждение, отправляешься в такой магазин и требуешь там верную копию нужной особы, дабы затем, запершись на все засовы в своей квартире, вволю над ней потешиться. Кто побогаче, может позволить себе приобрести целую куклу, тем же, кто победнее, приходится довольствоваться истязанием одних только голов.

Это прежде мне неведомое высочайшее достижение социальной техники, именовавшееся Протезом Свободы Поступков, побудило меня ближе заинтересоваться его создателем, которым оказался Учитель Ох.

Бывая затем на иных планетах, я не раз имел случай видеть спасительные плоды его деятельности. Так, на планете Арделурих жил некий знаменитый астроном, утверждавший, что планета вращается вокруг собственной оси. Тезис этот противоречил вере арделуриев, в согласии с которой планета недвижно пребывает в центре Вселенной. Коллегия жрецов вызвала астронома в суд и потребовала, дабы он отрекся от своего еретического учения. Когда он отказался, его приговорили к очищающему от грехов сожжению заживо. Учитель Ох, услышав об этом, поехал на Арделурию. Беседовал со жрецами и учеными, однако обе стороны неколебимо стояли на своем. Проведя ночь в размышлениях, мудрец нашел подходящую идею, которую незамедлительно и претворил в жизнь. Это был планетарный тормоз. С его помощью осевое вращение Арделурии было остановлено. Астроном, сидя в застенке и наблюдая небо, убедился в происшедшей перемене и отказался от прежних утверждений, охотно признав догмат о неподвижности Арделурии. Так был создан Протез Объективной Истины.

В минуты, свободные от общественных дел, Учитель Ох отдавался исследовательским работам иного толка: так, к примеру, создал он метод

открытия с очень далеких расстояний планет, населенных разумными существами. Этот метод — «ключ апостериори» — необыкновенно прост, как всякая гениальная идея. Вспышка новой звезды на небосклоне, там, где раньше звезд не наблюдалось, свидетельствует о том, что распадается планета, жители которой достигли высокого уровня цивилизации и овладели способом использования атомной энергии. Учитель Ох в меру сил своих старался предупреждать подобный ход событий, причем делал он это следующим образом: жителей планет, где истощались запасы естественного топлива вроде нефти или угля, он обучал выращиванию электрических угрей. Способ этот пришелся ко двору на многих планетах, получив название Протеза Прогресса. Кто же из астронавтов не наслаждался вечерними прогулками на Энтероптозе, когда в непроглядной тьме вас сопровождает дрессированный угорь с лампочкой в пасти?

Желание мое познакомиться с Учителем Ох со дня на день росло. Я, однако же, отдавал себе отчет в том, что, прежде чем встретиться с ним, мне надлежит изрядно потрудиться, дабы достичь вершин его интеллекта. Влекомый этой мыслью, я принял решение во время полета, рассчитан-

ного на девять лет, заняться самообразованием в области философии. Так что я стартовал с Земли в ракете, от люка до носа заставленной библиотечными полками, которые прогибались под тяжестью возвышеннейших плодов духа человеческого. Удалившись от родной планеты на шестьсот миллионов километров, когда ничто уже не могло потревожить моего покоя, я принялся за чтение. Видя гигантские его масштабы, я составил для себя специальный план, сводившийся к тому, что, дабы по ошибке не прочитать вторично ту же книгу, каждое изученное произведение я через люк выбрасывал из ракеты, имея в виду на обратном пути собрать эти свободно парящие в пространстве труды.

Так на двести восемьдесят дней погрузился я в Анаксагора, Платона и Плотина, Оригена и Тертуллиана, прошел Иоанна Скота Эригену, епископов Граба из Майнца и Гинкмара из Реймса, от доски до доски проштудировал Ратрамна из Корби и Серватуса Люпуса, а также Августина, а именно его «De Vita Dei», «De Civitate Dei» и «De Quantitate Animae»[14]. После чего взялся за Фому Аквинского, епископов Синезия и Не-

---

[14] Примечания: 14

«О блаженной жизни», «О граде Божием», «О количестве души» (*лат.*).

мезия, а также Псевдодионисия Ареопагита, святого Бернарда и Суареса. На святом Викторе мне пришлось сделать перерыв, так как из-за моей привычки катать во время чтения хлебные шарики ракета была уже полна ими. Выметя все в пустоту, я задраил люк и вернулся к учению. Последующие полки занимали труды более поздние — было их около семи с половиной тонн, и я начал было опасаться, что на освоение всего мне недостанет времени, однако вскоре убедился, что мотивы повторяются, разница лишь в подходе. То, что одни, говоря образно, ставили на ноги, другие переворачивали на голову; и я немало смог пропустить.

Прошел я, значит, мистиков и схоластов, Гартмана, Джентиле, Спинозу, Вундта, Мальбранша, Гербарта и познакомился с инфинитизмом, с совершенством Создателя, предустановленной гармонией и монадами, не переставая удивляться тому, сколь многое каждый из этих мудрецов мог сказать о душе человеческой, притом такого, что противоречило бы тезисам, провозглашаемым остальными.

Когда я погрузился в доставляющее истинное наслаждение описание предустановленной гармонии, чтение мое было прервано довольно-таки

неприятным происшествием. Я находился уже в области космических магнитных вихрей, которые с необыкновенной силой намагничивают все железные предметы. Такое случилось и с железными наконечниками шнурков моих домашних туфель, и, прилипнув к стальному полу, я не мог сделать ни шагу, дабы приблизиться к шкафчику со снедью. Мне грозила уже голодная смерть, я, однако же, своевременно вспомнил о карманном «Справочнике Астронавта», с которым никогда не расставался, и узнал из него, что в подобных ситуациях надлежит снять туфли. Затем я возвратился к книгам.

Когда я одолел уже тысяч шесть томов и так освоился с их содержимым, словно это было содержимое моего кармана, от Зазьявы отделяли меня какие-нибудь восемь триллионов километров. Я как раз принялся за следующую полку, заставленную критикой чистого разума, когда до ушей моих донесся энергичный стук. Изумленно поднял я голову, ведь в ракете я был один, да и гостей из пустоты в общем-то не ожидал. Стук повторился настойчивее, затем я услышал приглушенный голос:

— Откройте! Рыбиция!

Поспешно открутил я винты люка, и в ракету

вошли три существа в скафандрах, покрытых млечной пылью.

— Ага! Попался, водяной, с поличным! — завопил один из гостей, а другой присовокупил:

— Где ваша вода?

Прежде нежели я, остолбеневший от удивления, успел раскрыть рот, третий сказал тем двоим что-то, что их немного умиротворило.

— Ты откуда? — полюбопытствовал первый.

— С Земли. А вы кто будете?

— Свободная Рыбиция Пинты, — буркнул он и подал мне чистую анкету.

Едва взглянув на рубрики этого документа, а затем на скафандры существ, издававших при каждом движении нечто вроде бульканья, я сообразил, что по невнимательности залетел в окрестности планет-близнецов Пинты и Панты, обходить которые далеко стороной наказывают все справочники. Увы — было уже слишком поздно. Пока я заполнял анкету, типы в скафандрах добросовестно описывали предметы, находившиеся в ракете. Напав на банку со шпротами в масле, они издали торжествующий крик, после чего опечатали ракету и взяли ее на буксир. Я попытался вступить с ними в беседу, но безуспешно. Я заметил, что нижняя часть их скафандров походила

на широкий, плоский шлейф, словно бы у пинтийцев вместо ног были рыбьи хвосты. Вскоре мы стали опускаться на планету. Всю ее поверхность покрывала вода, правда, стояла она невысоко, поскольку крыши строений были видны. Когда на космодроме рыбиты сняли скафандры, я убедился, что они весьма напоминают людей и лишь конечности их как-то странно искривлены и перекручены. Меня усадили в некое подобие лодки, отличительная особенность которой состояла в том, что в днище ее были огромные отверстия и всю ее, по самые борта, наполняла вода. Так, погруженные в воду, медленно поплыли мы к центру города. Я поинтересовался, нельзя ли законопатить дыры и вычерпать воду; затем я выспрашивал и о многом другом, но спутники мои не отвечали, а лишь лихорадочно записывали мои слова.

По улицам бродили жители планеты с опущенными в воду головами, которые они то и дело высовывали наружу, чтобы глотнуть воздуху. Сквозь стеклянные стены очень красивых домов можно было заглянуть внутрь: комнаты примерно до половины их высоты заполняла вода. Когда наш экипаж остановился на перекрестке подле здания с надписью «Главное Ирригационное

Управление», из открытого окна долетело до меня бульканье чиновников. На площадях стояли устремленные ввысь изваяния рыб, украшенные венками из водорослей. В то время как лодка наша снова ненадолго остановилась (движение было довольно оживленным), из разговоров прохожих я уловил, что минуту назад как раз на этом углу разоблачили шпиона.

Потом мы выплыли на широкий проспект, декорированный превосходными портретами рыб и разноцветными лозунгами: «Да здравствует водянистая свобода!», «Плавником к плавнику, водяной, одолеем сушу!» — и другими, кои я не успел прочитать. Наконец лодка причалила к гигантскому небоскребу. Фронтон его украшали гирлянды, а над входом виднелась изумрудная табличка: «Свободная Водная Рыбиция». В лифте, который походил на небольшой аквариум, мы поднялись на шестнадцатый этаж. Меня ввели в кабинет, вода в котором поднималась выше уровня письменного стола, и приказали ждать. Кабинет был весь обит восхитительной изумрудной чешуей.

Я оттачивал про себя ответы на вопросы, откуда я тут взялся и куда намереваюсь следовать далее, а меж тем никто меня об этом не спрашивал.

Следователь, небольшого роста рыбит, вошел в кабинет, смерил меня строгим взглядом, после чего, поднявшись на цыпочки так, чтобы рот его оказался над водой, спросил:

— Когда ты начал свою преступную деятельность? Много ли получал ты за нее? Кто твои сообщники?

Я возразил, что доподлинно никакой я не шпион; разъяснил также обстоятельства, приведшие меня на планету. Когда же я заявил, что на Пинте очутился ненароком, следователь разразился смехом и сказал, что мне лучше бы придумать что-нибудь поумнее. Затем он погрузился в изучение протоколов, поминутно бросая мне всякого рода вопросы. Давалось ему это непросто, ибо всякий раз приходилось вставать, дабы глотнуть воздуху, а как-то, забывшись, он захлебнулся и долго кашлял. Потом я подметил, что с пинтийцами такое случается довольно часто.

Рыбит мягко внушал мне, чтобы я во всем сознался, а поскольку в ответ я продолжал твердить о своей невиновности, он в конце концов вскочил и, указывая на банку шпрот, спросил:

— А это что значит?

— Ничего, — ответил я в изумлении.

— Посмотрим. Увести провокатора! — закри-

чал он.

На этом допрос был окончен.

В помещении, куда меня заперли, было совершенно сухо. Я с искренним удовлетворением отметил это, ибо вечная сырость порядочно мне опротивела. Помимо меня, здесь, в крохотной комнатенке, находились семеро пинтийцев, которые встретили меня с неподдельным радушием и, как чужестранцу, уступили место на скамье. От них узнал я, что шпроты, найденные в ракете, представляют собою в согласии со здешними законами чудовищное оскорбление самых святых пинтийских идеалов посредством так называемого «преступного намека». Я допытывался, о каком намеке идет речь, они, однако же, не умели, а скорее не хотели (так мне показалось) этого открыть. Сообразив, что расспросы о сем предмете неприятны им, я умолк. Еще я узнал от них, что застенки наподобие того, в котором пребывал я, — единственные сухие места на всей планете. Я поинтересовался, всегда ли на протяжении своей истории существовали они в воде, мне ответили, что когда-то на Пинте было много суши и мало морей и планета изобиловала омерзительными сухими просторами.

Нынешним правителем планеты был Вели-

кий Водяной Рыбон Эрмезиний. За три месяца пребывания моего «в сухой», меня обследовали восемнадцать различных комиссий. Они определяли форму, каковую приобретал туманный след на зеркальце, на которое мне предлагалось подышать, подсчитывали число капелек, стекавших с меня после погружения в воду, примеряли мне рыбий хвост. Я обязан был также рассказывать экспертам свои сны, которые тотчас же классифицировались и группировались в соответствии с параграфами уголовного кодекса. К осени доказательства моей вины занимали уже восемьдесят огромных томов, а вещественные доказательства забили до отказа три шкафа в кабинете с рыбьей чешуей. Наконец я сознался во всем, в чем меня обвиняли, а в особенности в перфорировании хондритов и систематической обильной трипежи в пользу Панты. Я по сей день не знаю, что бы это могло означать. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, а именно: мою тупость, мешавшую мне постичь благодати подводной жизни, а также приближавшиеся именины Великого Водяного Рыбона Эрмезиния, мне вынесли умеренный приговор — два года свободного ваяния условно, то есть с заменой их погружением в воду на шесть месяцев, после чего меня должны

были отпустить.

Я решил устроиться со всеми удобствами на те полгода, которые суждено мне было провести на Пинте, и, не нашедши места ни в одной гостинице, снял угол у старушки, зарабатывавшей себе на жизнь дрессировкой улиток, то есть обучением их располагаться в известном порядке, составляя определенные узоры в дни национальных торжеств.

В первый же вечер по выходе из «сухой» отправился я на концерт столичного хора, который разочаровал меня совершенно, ибо пел хор под водою — булькая.

Внимание мое вдруг привлек дежурный рыбит, выпроваживавший какого-то господина, который после того, как зрительный зал погрузился в темноту, стал дышать через тростниковую трубку. Сановники, расположившиеся в наполненных водою ложах, без устали поливались из душа. Я не мог побороть удивления, заметя, что всем это по меньшей мере не доставляет удобства. Я попробовал было также заговорить о сем предмете с моею хозяйкою, но она не соблаговолила поддержать разговор; спросила лишь, до какого уровня предпочел бы я иметь воду в комнате. Когда же я ответил, что предпочел бы не видеть воды нигде,

кроме как в ванной, она стиснула губы, пожала плечами и удалилась, не дослушав меня.

Стремясь всесторонне изучить пинтийцев, я старался принимать участие в их культурной жизни. Как раз когда я прибыл на планету, в местной печати велась оживленная дискуссия по вопросу о бульканье. Специалисты высказывались в пользу приглушенного бульканья, как наиболее перспективного.

Одну комнату у моей хозяйки занимал весьма приятный молодой пинтиец, редактор популярной газеты «Рыбий голос». В прессе мне часто попадались упоминания о бальдурах и бадубинах; судя по всему, речь шла о каких-то живых существах, но я не мог взять в толк, что общего у них с пинтийцами. Лица, каковых я об этом расспрашивал, обыкновенно погружались в воду, заглушая меня бульканьем. Я вознамерился справиться у редактора, но он был чем-то весьма расстроен. За ужином в неописуемом возбуждении он признался мне, что с ним приключилась ужасная история. По недосмотру он написал в передовице, что в воде мокро. В связи с этим он ожидал самого худшего. Я попытался успокоить его, полюбопытствовал, разве, по их понятиям, в воде сухо; он задергался и ответил, что я ничего

не смыслю. На все следует смотреть с рыбьей точки зрения. Так вот, рыбам не мокро, ergo — в воде не мокро. Спустя два дня редактор исчез.

С особыми трудностями сталкивался я, посещая публичные собрания. Когда я впервые пришел в театр, следить за представлением мне мешал неумолкающий шепот. Полагая, что перешептываются мои соседи, я силился не обращать на это внимания. В конце концов, выведенный из терпения, я пересел в другое кресло, но и там шепот преследовал меня. Как только на сцене зашла речь о Великом Рыбоне, тихий голос зашелестел: «Члены твои охватывает дрожь ликования». Я заметил, что все в зале принялись потихоньку трястись. Позднее я убедился, что повсюду в общественных местах размещены специальные шептуны, подсказывающие присутствующим правильные переживания. Желая получше узнать обычаи и характер пинтийцев, я приобрел множество книг — и романов, и школьных хрестоматий, и ученых сочинений. Некоторые из них и по сию пору сохранились у меня, к примеру: «Маленький Бадубин», «О чудовищности засухи», «Как рыбно под водой», «Бульканье вдвоем» и т. п. В университетской книжной лавке мне рекомендовали труд об эволюции путем убеждения,

однако же и из него не вынес я ничего путного, кроме весьма подробных описаний бальдуров и бадубинов.

Хозяйка моя, когда я попробовал было расспросить ее, затворилась в кухне с улитками, так что я опять отправился в книжную лавку и поинтересовался, где можно увидеть хотя бы одного бадубина. Услыша такие слова, все продавцы нырнули под прилавок, а случайно оказавшиеся в лавке молодые пинтийцы доставили меня в Рыбицию как провокатора. Брошенный в «сухую», я встретил там трех своих давних приятелей. И только от них узнал, что ни бальдуров, ни бадубинов на Пинте еще нет. Это благородные, совершенные в своей рыбности формы, в которые со временем обратятся пинтийцы, согласно учению об эволюции путем убеждения. Я полюбопытствовал, когда это произойдет. Все в ответ затряслись и попытались нырнуть, что ввиду отсутствия воды явно не имело ни малейших шансов на успех, а самый пожилой, члены которого были невообразимо искривлены, проговорил:

— Слушай-ка, водяной, такие вещи даром у нас не проходят. Узнай Рыбиция о твоих вопросах, она не пожалеет набросить тебе срок.

Огорченный, предался я невеселым размышлениям, от которых оторвала меня беседа товарищей моих по несчастью. Они рассуждали о своих провинностях, взвешивая их тяжесть. Один попал в «сухую», поскольку, уснув на омываемом водою диване, захлебнулся и вскочил на ноги, вопя: «Сдохнуть от этого можно». Другой носил ребенка на закорках вместо того, чтобы сызмальства приучать его к жизни под водой. Наконец, третий, самый пожилой, имел неосторожность во время лекции о трехстах водяных героях, которые погибли, устанавливая рекорд жизни под водой, забулькать таким способом, каковой компетентные лица сочли многозначительным и оскорбительным.

Вскоре меня вызвали к рыбиту, который сообщил мне, что повторный позорный проступок, мною совершенный, вынуждает его приговорить меня по совокупности к трем годам свободного ваяния. Наутро в компании тридцати семи пинтийцев отправился я на лодке знакомым уже образом, то есть по шею в воде, в места ваяния. Располагались они вдали от города. Работа наша состояла в изготовлении статуй рыб из семейства пышноусых. На моей памяти выдолбили мы их около 140000. По утрам мы плыли на работы, рас-

певая песни, из которых я лучше всего запомнил одну, начинавшуюся словами: «Ой ты доля, моя доля, ой-ой, силы для ваяния удвой». После работы мы возвращались в свои помещения, а перед ужином, который надлежало съедать под водой, ежедневно приезжал докладчик и читал научно-популярную лекцию о подводных свободах; желающие могли записаться в клуб созерцателей плавниковости. Заканчивая лекцию, докладчик неизменно допытывался, не пропала ли у кого охота к ваянию? Поскольку никто почему-то не отзывался, молчал и я. Впрочем, размещенные в зале шептуны заявляли, что мы намерены ваять очень долго и по возможности подводным способом.

Однажды начальство наше охватило чрезвычайное волнение, а за обедом мы узнали, что мимо наших мастерских сегодня проплывет Великий Водяной Рыбон Эрмезиний, который отправляется на воплощение бальдурьей налимности. Посему до самого вечера в ожидании высочайшего прибытия мы плавали по стойке смирно. Шел дождь и было ужасно холодно, мы все продрогли. Шептуны, размещенные на плавающих буях, сообщали, что нас трясет от энтузиазма. Кортеж Великого Рыбона на семистах

лодках следовал мимо нас чуть ли не до темноты. Находясь совсем близко, я имел случай увидеть самого Рыбона, который, к моему удивлению, ни в малейшей степени не напоминал рыбу. Это был зауряднейший на вид, правда, совершенно седой пинтиец с необыкновенно изуродованными конечностями. Восемь сановников, одетых в пурпурную и золотую чешую, поддерживали правителя под его высочайшие ручки, когда он высовывал голову из воды, дабы набрать воздуху; он при этом так отчаянно кашлял, что мне даже сделалось его жалко. В ознаменование сего события мы сверх плана изваяли восемьсот пышноусых рыб.

Примерно неделю спустя впервые почувствовал я неприятнейшую ломоту в руках; сотоварищи мои разъяснили, что у меня просто-напросто начинается ревматизм, самый страшный бич Пинты. Однако же нельзя называть его болезнью, следует говорить: «симптомы безыдейного сопротивления организма орыбению». Теперь только стало мне понятно, отчего все пинтийцы такие скрученные.

Каждую неделю нас водили на представления, изображавшие перспективы подводной жизни. Я спасался тем, что закрывал глаза, ибо при одном

воспоминании о воде мне делалось дурно.

Так влачил я свое существование пять месяцев. К этому времени я сдружился с одним пожилым пинтийцем, университетским профессором, которого отправили свободно ваять за то, что как-то на лекции он заявил, будто вода хотя и необходима для жизни, однако же в ином смысле, нежели это повсеместно практикуется. Во время бесед, которые, как правило, вели мы по ночам, профессор рассказывал о древней истории Пинты. Планете досаждали когда-то суховеи, и ученые доказали, что это грозит ей превращением в сплошную пустыню. В связи с этим они разработали великий план обводнения. Дабы претворить его в жизнь, были образованы соответствующие институты и руководящие учреждения; но, когда сеть каналов и водохранилищ уже была построена, учреждения не пожелали исчезнуть и продолжали функционировать, все более и более заливая Пинту. И в результате, сказал профессор, то, что должно было быть покорено, покорило нас. Никто меж тем не хотел в этом сознаться, и следующим, теперь уже неизбежным шагом стала констатация, что все именно так, как и должно быть.

Однажды в нашей среде поползли слухи, необы-

чайно всех взбудоражившие. Говорили, будто ожидаются какие-то радикальные перемены, кое-кто решался даже утверждать, что, мол, сам Великий Рыбон вот-вот установит квартирную, а не исключено и повсеместную сухость. Начальство незамедлительно развернуло борьбу с пораженчеством, предложив новые проекты рыбьих изваяний. Вопреки этому слухи упрямо продолжали распространяться, один фантастичнее другого; я собственными ушами слышал, как кто-то рассказывал, будто видел Великого Водяного Рыбона Эрмезиния с полотенцем в руках.

Раз ночью из начальственного здания донеслись до нас звуки буйного веселья. Выплыв во двор, я увидел, как начальник вместе с докладчиком, горланя во все горло, огромными ведрами вычерпывают из помещения воду, выливая ее в окно. Чуть рассвело, появился докладчик; сидя в законопаченной лодке, он сообщил нам, будто все, что делалось до сих пор, было недоразумением; что разрабатывается новый, истинно свободный, а не такой, как прежде, образ существования, а пока суть да дело, отменяется бульканье — как мучительное, вредное для здоровья и совершенно излишнее. В продолжение всего выступления он опускал ногу в воду и мо-

ментально выдергивал ее, перекашиваясь от отвращения. Заключил он тем, что всегда был против воды и, как мало кто, понимал, что ничего путного из нее не выйдет. Два дня мы не ходили на работы. Затем нас направили к готовым уже скульптурам; мы отбивали у них плавники и взамен приделывали ноги. Докладчик стал разучивать с нами новую песню «Разгоню тоску я, заживу всухую!», и повсюду говорили, что на днях привезут помпы для откачивания воды.

Однако же после второго куплета докладчик был вызван в город и более не возвращался. Наутро приплыл к нам начальник, едва выставляя голову из воды, и роздал всем непромокаемые газеты. В них сообщалось, что бульканье — как вредное для здоровья и не способствующее бальдурению — раз и навсегда отменяется, что, однако, не означает возвращения на губительную сушу. Совсем напротив. Дабы приклимить бадубины и спентвить бальдуры, на всей планете устанавливается исключительно подводное дыхание как в высшей степени рыбье, причем, принимая во внимание интересы общества, вводится оно постепенно — то есть каждый день всем гражданам вменяется в обязанность пребывать под водою чуть-чуть дольше, нежели накануне.

Имея в виду облегчить им это, общий уровень воды повсеместно будет поднят до одиннадцати глубинников (мера длины).

Действительно, вечером вода поднялась настолько, что нам пришлось спать стоя. Поскольку шептунов залило, их разместили чуть выше прежнего, а новый докладчик принялся за тренировку в подводном дыхании. Спустя несколько дней в ответ на единодушную просьбу граждан всемилостивейшим распоряжением Эрмезиния уровень воды подняли еще на полглубинника. Все мы стали ходить исключительно на цыпочках. Особы пониже ростом вскоре куда-то исчезли. Так как подводное дыхание ни у кого не выходило, сложилась практика еле видного выскакивания из воды для забора воздуха. Не прошло и месяца, как все более или менее наладилось, причем все притворялись, будто и сами так не поступают, и других, подобным же образом поступающих, не замечают. Печать сообщала об огромном прогрессе подводного дыхания во всем государстве, а на свободное ваяние прибывало множество лиц, булькавших по-старому.

Все это, вместе взятое, причиняло столько неудобств, что в конце концов я решился покинуть места свободного ваяния. После работы я

спрятался за постаментом нового памятника (запамятовал сказать, что мы отбивали приделанные рыбам ноги и возвращали плавники на прежнее место), а когда все опустело, поплыл в город. В этом отношении у меня было значительное превосходство перед пинтийцами, которые вопреки всему, что можно было бы ожидать, вовсе не умеют плавать.

Намаялся я порядочно, но все же мне удалось доплыть до космодрома. Ракету мою стерегли четверо рыбитов. К счастью, кто-то поблизости забулькал, и рыбиты кинулись в ту сторону. Тогда я сорвал печати, вскочил в ракету и с быстротою, на какую только был способен, стартовал. Спустя четверть часа планета уже мерцала вдали крохотной звездочкой, на которой столь многое довелось мне пережить. Я лег в постель, наслаждаясь ее сухостью; увы, счастливый отдых этот продолжался недолго. Меня вдруг разбудил энергичный стук в люк. Еще спросонья я проорал: «Да здравствуют пинтийские свободы!» Восклицание это дорого обошлось мне, ибо в ракету рвался патруль Пантийской Ангелиции. Тщетны были мои разъяснения, что меня плохо расслышали, что я кричал «свободы пантийские», а не «пинтийские». Ракету опечатали и взяли на бук-

сир. На мою беду, в кладовке осталась еще одна банка шпрот, которую я открыл перед тем, как отправиться ко сну. Заметив открытую банку, ангелиционеры затряслись, а затем, испуская торжествующие вопли, составили протокол. Вскоре мы опустились на планету. Когда меня усаживали в поджидавший экипаж, я облегченно вздохнул, увидя, что на планете, куда ни обрати взор, воды нет. После того как мой эскорт снял скафандры, я убедился, что имею дело с существами, как две капли воды напоминающими людей, но лица у них были словно у близнецов, а вдобавок все они улыбались.

Хотя спускались сумерки, в городе от огней было светло, как днем. Я обратил внимание на то, что, кто бы из прохожих ни посмотрел на меня, всякий непременно с ужасом или состраданием покачает головой, а какая-то пантийка, завидя меня, упала в обморок, и это казалось тем необычнее, что она и тогда не перестала улыбаться.

Вскоре мне пришло в голову, что все жители планеты носят своего рода маски, хотя вполне в этом я все же уверен не был. Путешествие завершилось перед зданием с вывеской: «СВОБОДНАЯ АНГЕЛИЦИЯ ПАНТЫ». Ночь провел я в одиночестве в небольшой комнатенке, прислушиваясь

к доносившимся через окно отголоскам жизни большого города. Назавтра в кабинете у следователя мне зачитали обвинительное заключение. В вину мне вменялись проявление ангелофагии по пинтийскому наущению, а также преступная индивидуализация личности. Вещественных доказательств, свидетельствовавших против меня, было два: первое представляла собой открытая банка из-под шпрот, а второе — зеркальце, в которое позволил мне посмотреться следователь.

Это был Ангелит IV Ранга в белоснежном мундире с пересекавшими грудь бриллиантовыми молниями; он растолковал мне, что за мои прегрешения мне угрожает пожизненная идентификация, после чего прибавил, что суд предоставляет мне четыре дня для подготовки к защите. С назначенным адвокатом я мог видеться по первому требованию.

Поскольку на собственном опыте я уже познакомился с методами судебного разбирательства в этой части Галактики, мне прежде всего захотелось выяснить, в чем состоит грозившее мне наказание. И вот, исполняя мое желание, привели меня в небольшую зальцу янтарного цвета, в которой уже дожидался адвокат, Ангелит II Ранга. Он оказался чрезвычайно снисходительным и не

скупился на объяснения.

— Знай, пришелец из чужих сторон, — заговорил он, — что мы постигли саму суть всяческих забот, страданий и бед, которым подвергаются существа, собирающиеся в сообщества. Источник их коренится в личности, в ее частной индивидуальности. Коллективные организмы вечны, они подчиняются законам постоянным и неизменным, как подчиняются им гигантские солнца и звезды. Индивид характеризуется шаткостью, нечеткостью решений, нелогичностью поступков, а прежде всего бренностью. Так вот, мы совершенно уничтожили индивидуализм в пользу коллективизма. На нашей планете существует исключительно сообщество, а индивидов нет вовсе.

— Как же так, — изумился я, — то, что ты говоришь, должно быть, не более чем риторическая фигура, ведь ты же сам индивид...

— Ни в малейшей степени, — ответствовал он с неизменной улыбкой. — Ты, наверное, заметил, что мы все на одно лицо. Точно так же мы добились и полной социальной взаимозаменяемости.

— Не понимаю. Что это такое?

— Я сейчас все тебе растолкую. В каждый данный момент в обществе существует определен-

ное количество функций, или, как мы говорим, должностей. Это должности профессиональные — правителей, садовников, техников, врачей; есть также единицы семейные — отцов, братьев, сестер и так далее. Так вот, каждую подобную должность пантиец занимает лишь в течение суток. В полночь во всем нашем государстве происходит одно движение, говоря образно, все делают по одному шагу — и в результате лицо, которое вчера было садовником, становится сегодня инженером, вчерашний строитель — судьей, правитель — учителем и так далее. Аналогичным образом обстоит дело и в семье. Каждая семья состоит из родственников, стало быть, из отца, матери, детей — только эти функции неизменны, — существа же, их исполняющие, через каждые сутки меняются. Итак, неизменным остается лишь сообщество, понимаешь? Всегда одно и то же количество родителей и детей, врачей и медицинских сестер, и так во всех сферах жизни. Могучий организм нашего государства из века в век остается неколебимым и неизменным, прочнее скалы, а прочностью этой мы обязаны тем, что раз и навсегда покончили с эфемерной природой индивидуального существования. Вот почему я говорил, что мы абсолютно взаимоза-

меняемы. Ты скоро в этом убедишься, ведь после полуночи, если ты позовешь меня, я приду к тебе в новом образе...

— Но зачем все это? — спросил я. — И неужели каждый из вас умудряется владеть всеми профессиями? Можешь ли ты быть не только садовником, судьею или защитником, но также, по желанию, отцом или матерью?

— Многих профессий, — ответствовал мой улыбающийся собеседник, — я хорошо не знаю. Прими все же в расчет, что служению одной профессии отводится всего лишь день. Помимо того, во всяком обществе старого типа подавляющее большинство лиц исполняет свои профессиональные обязанности небрежно, а ведь общественный механизм из-за этого функционировать не перестает. Некто, будучи бездарным садовником, запустит у вас сад, неумелый правитель доведет до плачевного состояния все государство, ведь и у того, и у другого на это есть время, которого у нас им не отпущено. Сверх того, в обыкновенном обществе, кроме профессиональной непригодности, дает о себе знать отрицательное и даже губительное влияние личных устремлений индивидуумов. Зависть, высокомерие, эгоизм, тщеславие, жажда вла-

сти подтачивают жизнь сообщества. Подобного негативного воздействия у нас нет. По самой сути своей нет у нас стремления сделать карьеру, никто также не руководствуется личными интересами, поскольку личный интерес у нас отсутствует совершенно. Я не могу сделать сегодня в своей должности ни одного шага в надежде, что он принесет мне выгоду завтра, ибо завтра я буду уже кем-то другим, а сегодня я не знаю, кем стану завтра.

Смена должностей происходит в полночь по принципу всеобщей лотереи, на исход которой не может повлиять никто из живых. Начинаешь ли ты постигать глубокую мудрость нашего строя?

— А чувства? — спросил я. — Можно ли любить что ни день иного человека? И как обстоит дело с отцовством и материнством?

— Известным недостатком такой системы, — отвечал мой собеседник, — в давние времена бывала ситуация, когда лицо в должности отца рожало ребенка, ибо случалось, что в должности отца оказывалась женщина, которой как раз приходила пора разрешиться от бремени. Трудность эта, однако, исчезла, как только законом было установлено, что отец может родить. Что же касается чувств, то тут мы утолили две на первый

взгляд друг друга исключающие разновидности жажды, иссушающие всякое разумное существо: жажду постоянства и жажду перемен. Привязанность, уважение, любовь омрачались когда-то неутихающим беспокойством, страхом перед утратой любимого существа. Мы победили этот страх. В самом деле, какие бы потрясения, хвори, катаклизмы ни обрушивались на нас, у каждого из нас всегда есть отец, мать, супруг (супруга) и дети. Но и это еще не все. То, что постоянно, спустя какое-то время наскучивает, независимо от того, вкушаем ли мы от добра или от зла. Однако вместе с тем мы стремимся к постоянству судьбы, хотим уберечь ее от случайностей и трагедий, мы хотим существовать и при этом не быть бренными, изменяться и сохранять постоянство, быть всем, не рискуя ничем. Противоречия эти, казалось бы, непримиримые, у нас обыденность. Мы уничтожили даже антагонизм между социальными верхами и низами, ибо всякий в любой день может стать верховным правителем, ибо нет такой сферы жизни, такой области деятельности, которая перед кем-либо была бы закрыта.

Теперь я могу разъяснить тебе, что означает нависшая над тобой кара. Она несет с собой величайшее несчастье, какое только может обру-

шиться на пантийца; она означает — отлучение от всеобщей лотереи и перевод на одиночное индивидуальное существование. Идентификация — это акт уничтожения индивида посредством возложения на него жестокого и беспощадного бремени пожизненной индивидуальности. Поторопись, коли хочешь задать мне еще какой-нибудь вопрос, ибо близится ночь; мне вот-вот придется покинуть тебя.

— Как же вы относитесь к смерти? — спросил я.

Наморща лоб и улыбаясь, адвокат разглядывал меня, как будто силясь уразуметь смысл этого слова. Наконец он произнес:

— Смерть? Это устаревшее понятие. Нет смерти там, где нет индивидов. У нас никто не умирает.

— Но это же вздор, в который ты и сам не веришь! — вскричал я. — Ведь каждое живое существо должно умереть, стало быть, и ты!

— Я, то есть кто? — перебил он, улыбаясь. Воцарилось молчание.

— Ты, ты сам!

— Кто же я такой, я сам, вне сегодняшней должности? Фамилия, имя? У меня их нет. Лицо? Благодаря биологическим операциям, которые столетия назад проделаны у нас, лицо мое точно

такое же, как и у всех. Должность? Она изменится в полночь. Что же остается? Ничего. Подумай, что такое смерть? Это утрата, трагичная из-за своей невосполнимости. Кого теряет тот, кто умирает? Себя? Нет, ибо умерший — это не существующий, а тот, кого нет, не может ничего утратить. Смерть — дело живых; она — утрата кого-то близкого.

Так вот, мы никогда не теряем своих близких. Я ведь уже говорил тебе об этом. Каждая семья у нас вечна. Смерть у нас означала бы сокращение должностей. Законы этого не допускают. Мне пора уходить. Прощай, пришелец из чужих стран.

— Постой! — закричал я, видя, что мой адвокат встает. — Есть же у вас, не могут не быть различия, хотя бы вы и были похожи друг на друга словно близнецы. Должны же у вас быть старики, которые...

— Нет. Мы не ведем учета количества должностей, которые кто-нибудь занимал. Не ведем и подсчета астрономических лет. Никто из нас не ведает, сколько он живет. Должности безвозрастны. Мне пора.

С этими словами он ушел. Я остался один. Спустя минуту двери растворились и адвокат появился вновь. На нем был тот же лиловый мундир с золотыми молниями Ангелита II Ранга

и все та же улыбка.

— Я к твоим услугам, обвиняемый пришелец с иной звезды, — проговорил он, и мне показалось, что это новый голос, которого я еще не слышал.

— А все-таки есть у вас кое-что неизменное: должность обвиняемого! — воскликнул я.

— Ты ошибаешься. Это касается лишь посторонних. Мы не можем допустить, чтобы, прикрываясь должностью, кто-нибудь попытался изнутри взорвать наше государство.

— Ты знаком с юриспруденцией? — спросил я.

— С ней знакомы книги законов. Впрочем, процесс твой состоится лишь послезавтра. Должность будет защищать тебя...

— Я отказываюсь от защиты.

— Хочешь защищаться сам?

— Нет. Хочу быть осужденным.

— Ты легкомыслен, — улыбаясь, проговорил защитник. — Помни о том, что ты не будешь индивидом среди индивидов, но в пустоте, более страшной, нежели межзвездная...

— Ты слышал когда-нибудь об Учителе Ох? — спросил я. Сам не знаю, как у меня сорвался с языка этот вопрос.

— Да. Это он основатель нашего государства. Тем самым он создал свое величайшее детище

Протез Вечности.

Так окончилась наша беседа. Через три дня я предстал перед судом и был приговорен к пожизненной идентификации. Меня отвезли на космодром, откуда я незамедлительно стартовал, взяв курс на Землю. Не знаю, появится ли у меня когда-нибудь еще охота встретиться с Благодетелем Вселенной.

Путешествие четырнадцатое

19.VIII.

Отдал ракету в ремонт. Прошлый раз слишком близко подошел к Солнцу; весь лак облез. Завмастерской советует перекрасить в зеленый цвет. Еще не знаю. До обеда приводил в порядок коллекцию. В меху красивейшего гаргауна полно моли. Подсыпал нафталина. После обеда — у Тарантоги. Пели марсианские песни. Взял у него «Два года меж курдлей и осьмиолов» Бризарда. Читал до утра — страшно интересно.

20.VIII.

Согласился на зеленый цвет. Заведующий убеждает купить электрический мозг. У него один есть, вполне приличный, почти не бывший в употреблении, мощностью двенадцать паровых душ. Говорит, без мозга никто теперь не отправится дальше Луны. Пока не решил — расход все же немалый. После обеда читал Бризарда, до самого вечера. Захватывающее чтение. Даже стыдно, что ни разу не видел курдля.

21.VIII.

С утра — в мастерской. Заведующий показал мне мозг. И в самом деле приличный, с батареей анекдотов на пять лет. Это как будто решает проблему космической скуки. «Вы просмеетесь самое долгое путешествие», — пообещал заведующий. Когда батарея кончится, можно ее заменить. Велел покрасить рули в красный цвет. Что же до мозга — еще подумаю. До полуночи читал Бризарда. Не поохотиться ли самому?

22.VIII.

В конце концов купил этот мозг. Велел вмонтировать его в стену. Завмастерской в придачу дал электрическую подушку. Должно быть, немало содрал с меня лишнего! Говорит, я сэкономлю кучу денег. Ведь за посадку на планетах обычно требуют въездную пошлину. А если у вас есть мозг, ракету можно оставить в пространстве, чтобы она свободно кружила себе на манер искусственной луны, и дальше идти пешком, не платя ни гроша. Мозг рассчитывает астрономические элементы движения ракеты и сообщает, где потом ее искать. Закончил Бризарда. Почти решился ехать на Энтеропию.

23.VIII.

Забрал ракету из мастерской. Выглядит чудно,

только рули не гармонируют с остальным. Перекрасил сам в желтый цвет. Много лучше. Взял у Тарантоги том «Космической энциклопедии» на «Э» и выписал статью об Энтеропии. Вот она:

«ЭНТЕРОПИЯ, 6-я планета двойного (красного и голубого) солнца в созвездии Тельца. 8 континентов, 2 океана, 167 действующих вулканов, 1 оргаст (*см.* ОРГАСТ). Сутки 20-часовые, климат теплый, условия для жизни хорошие, кроме периода смега (*см.* СМЕГ).

Обитатели:

а) Господствующая раса — ардриты, существа разумные многопрозрачногранные симметричные непарноотростковые (3), вид Siliconoidea, отряд Polytheria, класс Luminifera. Как и все политерии (*см.*), ардриты подвержены произвольному периодическому расщеплению. Создают семьи шаровидного типа. Система правления: градархия II-В, с введенным 340 лет назад Пенитенциарным Трансмом (*см.* ТРАНСМ). Высокоразвитая промышленность, главным образом пищевая. Основные статьи экспорта: фосфори-

зованные манубрии, сердцеклеты и лаудамы нескольких десятков сортов, рифленые и слегка опаленные. Столица: Этотам, 1400000 жителей. Осн. промышленные центры: Гаупр, Друр, Арбагеллар. Культура люминарная с признаками старогрибизма вследствие впитывания реликтов цивилизации фитогозиан (грибковцев, *см.*), истребленных ардритами. В последние годы все большую роль в общественной и культурной жизни играют сепульки (*см.*). Верования: господствующая религия — монодрумизм. Согласно М., мир сотворен Множественным Друмой, принявшим облик Прадавней Плюквы, из к-й народились солнца и планеты во главе с Энтеропией. Ардриты возводят плюкированные храмы, постоянные и складные. Кроме монодрумизма имеется несколько сект, важнейшая из них — плакотралы. Плакотралы (*см.*) не верят ни во что, кроме Экзальтиды (*см.* ЭКЗАЛЬТИДА), да и то не все. Искусство: танцы (катальные), радиоакты, сепуление, околёсная драма. Архитектура: в связи со смегом — пневматическо-дмесе-

вая. Пневмоскребы достигают 130 этажей. На иск. лунах постройки, как правило, овицеллярные (яйцевидные).

б) Животный мир. Фауна силиконоидального типа, осн. представители: мразивцы, дендроги дребенчатые, асманиты, курдли и скулёжные осьмиолы. В сезон смега охота на курдлей и осьмиолов запрещена. Для человека эти животные несъедобны, за исключением курдлей (а у них — только участок зарда, *см.* ЗАРД). Водная фауна служит сырьем для пищевой промышленности. Осн. представители: инферналии (адюки), глопы, вшавки и сляксы. Достопримечательностью Энтеропии считается оргаст с его сумбуральной флорой и фауной. Единственный его аналог в нашей Галактике — алы в бездревных джунглях Юпитера. Как показали исследования школы проф. Тарантоги, жизнь на Энтеропии зародилась в пределах оргаста, из бальбазиловых залежей. В связи с массовой застройкой суши и вод следует считаться с возможностью скорого исчезновения остатков оргаста. Подпадая под парагр. 6

конвенции об охр. планетных древностей (Codex Galacticus, т. MCCCVII, ч. XXXII, стр. 4670), оргаст подлежит охране; в особенности запрещено топотать его втемную».

Здесь мне понятно все, кроме упоминаний о сепульках, трансме и смеге. К сожалению, последний том «Энциклопедии», вышедший из печати, кончается статьей «СИРОП ГРУШЕВЫЙ», так что ни о трансме, ни о смеге там ничего нет. Все-таки я пошел к Тарантоге, чтобы прочесть о сепульках. Нашел следующие краткие сведения:

«СЕПУЛЬКИ — важный элемент цивилизации ардритов (*см.*) с планеты Энтеропия (*см.*). См. СЕПУЛЬКАРИИ».

Я последовал этому совету и прочел:

«СЕПУЛЬКАРИИ — устройства для сепуления (*см.*)».

Я поискал «Сепуление»; там значилось:

«СЕПУЛЕНИЕ — занятие ардритов (*см.*) с планеты Энтеропия (*см.*). См. СЕПУЛЬКИ».

Круг замкнулся, больше искать было негде. Ни за что на свете я не признался бы Тарантоге в подобном невежестве, а никого другого спросить не могу. Жребий брошен — еду на Энтеропию. Отправляюсь через три дня.

28.VIII.

Стартовал ровно в два, сразу после обеда. Никаких книг не взял, ведь у меня теперь есть этот мозг. До самой Луны слушал его анекдоты. Насмеялся вдоволь. Потом ужин, и спать.

29.VIII.

Похоже, простудился в лунной тени — все время чихаю. Принял аспирин. По курсу — три товарные ракеты с Плутона; машинист телеграфировал, чтобы я пропустил их. Спросил, что за груз; думал, бог знает что, а это обыкновенные брындасы. И тотчас же — «скорая» с Марса, набитая до отказа. Я видел в окна — пассажиры один на другом, как селедки. Мы махали друг другу платочками, пока еще что-то было видно. До ужина слушал анекдоты. Бесподобно, только чихаю без перерыва.

30.VIII.

Прибавил скорость. Мозг работает как часы. У меня даже диафрагма стала побаливать, так

что я вырубил его часика на два и включил электрическую подушку. Это хорошо на меня подействовало. После двух поймал радиосигнал, посланный Поповым в 1896 году. Я таки порядочно отмахал от Земли.

31.VIII.

Солнце уже едва различимо. Перед обедом — прогулка вокруг ракеты, чтобы ноги на затекли. До вечера — анекдоты. Большинство с бородой. Похоже, завмастерской давал мозгу старые юмористические журналы и только сверху добавил горсточку острот посвежее. Я забыл о картошке, которую поставил в атомный котел, и она вся сгорела.

32.VIII.

Из-за скорости время удлиняется — пора бы быть сентябрю, а тут все август да август. В окне начало что-то мигать. Думал, уже Млечный Путь, а это всего лишь лак облезает. Халтурщики чертовы! По курсу — станция техобслуживания. Раздумываю, стоит ли тормозить.

33.VIII.

Все еще август. После обеда подлетел к станции. Расположена она на маленькой, совершенно пустой планете. Станционное здание словно

вымерло, вокруг ни души. Взял ведерко и пошел посмотреть, нет ли какого лака. Ходил я так, пока не услышал пыхтенье. Смотрю, а за станцией стоят несколько паровых машин и разговаривают. Подхожу.

Одна говорит:

— Ведь ясно же, что облака — это форма загробной жизни паровых машин. Но вот вопрос: что было раньше — паровые машины или водяной пар? Я утверждаю, что пар!

— Молчи, идеалистка проклятая! — зашипела другая.

Попробовал спросить насчет лака, но куда там! Они так шипели и свистели, что я собственного голоса не слышал. Оставил запись в жалобной книге и полетел дальше.

34.VIII.

Неужто конца не будет этому августу? До обеда драил ракету. Скука ужасная. Потом — сразу в каюту, к мозгу. Вместо смеха меня одолела такая зевота, что даже испугался за челюсти. По правому борту астероид. Пролетая мимо него, заметил какие-то белые точки. В бинокль увидел, что это таблички с надписью: «Не высовываться!» С мозгом что-то неладно — рассказывая анекдоты, глотает самую соль.

1.X.

Пришлось остановиться на Строглоне — горючее кончилось. Тормозя, по инерции проскочил весь сентябрь. На космодроме большое движение. Оставил ракету в пространстве, чтобы не платить пошлину; захватил только жестянки для горючего. Перед этим рассчитал с помощью мозга координаты эллиптической орбиты. Час спустя возвращаюсь с полными банками, а ракеты и след простыл. Принялся, конечно, искать. Думал, без ног останусь: как-никак отшагал добрых четыре тысячи километров. Разумеется, мозг обсчитался. Ох, и поговорю я с этим заведующим, когда вернусь.

2.X.

Скорость такая, что звезды вытянулись в огненные полоски, словно кто-то бросил миллион сигарет в темной комнате. Мозг заикается. Хуже всего, что я не могу заткнуть ему рот, — выключатель сломался. Болтает без удержу.

3.X.

Мозг, кажется, приустал — говорит по слогам. Постепенно к этому привыкаю. Стараюсь побольше сидеть снаружи, только ноги опускаю в ракету — холодновато все же.

7.X.

В половине двенадцатого добрался до космопорта Энтеропии. Ракета порядком разогрелась при торможении. Пришвартовал ее к верхней палубе искусственной луны (она-то и служит космопортом) и пошел внутрь, чтобы уладить формальности. В спиральном коридоре — не протолкнуться; приезжие из самых дальних сторон Галактики прохаживаются, перетекают и прыгают от окошка к окошку. Я встал в очередь за голубым алгольцем, а тот учтивым жестом предостерег меня, чтобы я не слишком приближался к его заднему электрическому органу. За мною сразу же встал молодой сатурниец в бежевом шланговике. Тремя присосками он держал чемоданы, четвертой вытирал пот. Было и в самом деле очень жарко. Когда подошла моя очередь, служащий, прозрачный, как хрусталь, ардрит, изучающе посмотрел на меня, позеленел (ардриты выражают чувства сменой окраски; зеленая соответствует нашей улыбке) и спросил:

— Вы позвоночный?

— Да.

— Двоякодышащий?

— Нет. Только воздухом...

— Прекрасно, благодарю вас. Кормежка сме-

шанная?

— Да.

— С какой планеты, позвольте узнать?

— С Земли.

— Тогда прошу вас к следующему окошку.

Я прошел дальше и, заглянув в окошко, убедился, что передо мною все тот же служащий, вернее, его продолжение. Он листал конторскую книгу.

— Ага! Нашел, — сказал он. — Земля... гм, отлично, отлично. Вы к нам туристом или по торговому делу?

— Туристом.

— Тогда позвольте...

Одним присоском он начал заполнять бланк, а другим тем временем подал мне еще один, для подписи, и сказал:

— Смег повалит через неделю. Поэтому не откажите в любезности посетить комнату 116; там вами займется наша резервная мастерская. А потом попрошу вас зайти в комнату 67, в фармацевтический пункт. Там вы получите пилюли эвфруглия; принимать их надо каждые три часа, чтобы нейтрализовать вредное для вашего организма радиоактивное излучение нашей планеты... Угодно ли вам светиться во время пребывания на Энтеропии?

— Нет, спасибо.

— Как желаете. Пожалуйста, вот ваши бумаги. Вы ведь млекососущий, не правда ли?

— В некотором роде.

— Что ж, приятного вам сосания!

Попрощавшись с учтивым служащим, я пошел, как он и советовал, в резервную мастерскую. В яйцеобразном помещении было, как мне сперва показалось, пусто. Там стояло несколько электрических аппаратов, а под потолком бриллянтовыми лучами сияла хрустальная люстра, которая, однако, оказалась ардритом, дежурным техником; он тотчас спустился ко мне. Я сел в кресло, а техник, развлекая меня разговором, произвел какие-то измерения и сказал:

— Благодарю, ваш бутон получат все инкубатории на планете. Если во время смега с вами что-нибудь станется, можете быть совершенно покойны... мы немедленно доставим резерв.

Я не вполне понимал, о чем он толкует, но многолетние странствия научили меня сдержанности. Нет ничего тягостнее для обитателей какой угодно планеты, нежели объяснять чужаку местные обычаи и привычки.

В фармацевтическом кабинете я снова встал в очередь; продвигалась она очень быстро, и

вскоре проворная ардритка в фаянсовом абажуре вручила мне порцию пилюль. Еще одна мелкая таможенная формальность (я уже не рискнул положиться на электрический мозг), и с визой в руке я вернулся на верхнюю палубу.

Тотчас за луной начиналась космотрасса, прекрасно ухоженная, с большими рекламными надписями по сторонам. Промежуток между буквами составляет тысячи километров, но при нормальной езде слова мелькают так быстро, будто читаешь газету. Какое-то время я читал с любопытством, например: «Охотники! Пользуйтесь только ловецкой пастой МНЯМ!», или: «Хочешь быть веселым — плюй на осьмиолов!» и т. п.

В семь вечера я приземлился на этотамском космодромме. Голубое солнце только что зашло. В лучах красного, стоявшего еще довольно высоко, все вокруг пламенело, словно охваченное пожаром, — необыкновенное зрелище. Неподалеку от моей ракеты величественно опустился галактический крейсер. Рядом с его хвостом разыгрывались трогательные сцены встреч. Разъединенные на долгие месяцы ардриты с радостными восклицаниями падали друг другу в объятия, а затем все — отцы, матери, дети — со-

единялись, нежно обнявшись, в шары, пылавшие на солнце ярким румянцем, и спешили к выходу. Я двинулся вслед за катившимися в завидной гармонии семьями; тут же за космодромом была остановка гламбуса, в который я и сел. Экипаж этот, украшенный вверху золотыми буквами, которые составляют надпись: «ПАСТА РАУС САМА ОХОТИТСЯ!», весьма схож со швейцарским сыром: в дырках побольше размещаются взрослые, в маленьких дырочках — детвора. Только я сел, как гламбус тронулся. Окруженный его кристаллической мякотью, над собой, под собой и вокруг себя я видел радушно подсвеченные, разноцветные силуэты попутчиков. Я сунул руку в карман за томиком Бедекера — пора уже было познакомиться с его указаниями, — но как же я был удивлен, обнаружив у себя в руках выпуск, посвященный планете Энтевропии, удаленной на три миллиона световых лет от места, в котором я находился. Нужный выпуск остался дома. Проклятая рассеянность!

Не оставалось ничего другого, как пойти в этотамское представительство известного астронавтического агентства «ГАЛАКС». Любезный кондуктор, к которому я обратился, тотчас остановил гламбус, указал присоском на огромное

здание и на прощанье дружески переменился в лице.

С минуту я стоял неподвижно, наслаждаясь редкостным видом, какой представляли собой центральные кварталы города в наступающих сумерках. Красное солнце только что опустилось за горизонт. Ардриты не знают искусственного освещения, потому что светятся сами. Проспект Мрудр, на котором я вышел, переполняло мерцанье прохожих; какая-то молодая ардритка кокетливо вспыхнула и помигала мне золотистыми полосками под своим абажуром, но затем — как видно, распознав чужеземца, — смущенно пригасла.

Ближние и дальние здания искрились и разгорались жильцами, которые возвращались домой; в глубине храмов лучились в молитвенном экстазе толпы прихожан; в проемах лестничных клеток с бешеной скоростью радужно переливались дети; все это было так восхитительно, так живописно, что просто не хотелось уходить, но я боялся, что «Галакс» закроется.

В вестибюле агентства меня направили на двадцать третий этаж, в провинциальный отдел. Увы, такова печальная, но непреложная истина: Земля затеряна в мало кому известной, заколо-

ченной досками космической глуши!

Сотрудница, к которой я обратился, потускнела, смешавшись, и объяснила, что «Галакс», к сожалению, не располагает ни путеводителями, ни маршрутами для землян, поскольку те посещают Энтеропию не чаще одного раза в столетие. Взамен она предложила мне руководство для юпитериан, сославшись на общее солнечное происхождение Юпитера и Земли. Я взял его за неимением лучшего и попросил зарезервировать мне номер в «Космонии». Я также записался на охоту, которую устраивал «Галакс», и вышел на улицу. Неудобство моего положения заключалось в том, что сам я не светился; поэтому, встретив на перекрестке ардрита-регулировщика, я подошел к нему и в его свете перелистал полученный справочник.

Как и следовало ожидать, там сообщалось, где можно запастись метановыми продуктами, куда девать щупальца на официальных приемах, и так далее. Швырнув руководство в мусорную урну, я остановил проезжавший мимо эборет и велел ехать в квартал пневмоскребов. Эти великолепные чашевидные здания уже издалека сверкали разноцветными огоньками ардритов, предававшихся радостям семейной жизни, а в конторах

дивно переливались яркие ожерелья служащих.

Я отпустил эборет и пошел пешком; когда я с восхищением разглядывал возвышавшийся над площадью пневмоскреб Главсупа, оттуда вышли двое сотрудников — должно быть, важные птицы, судя по их особенно яркому блеску и красным гребешкам вокруг абажура. Они остановились неподалеку, и я услышал их разговор:

— Пригас обрамленцев уже отменен? — спрашивал один из них, высокий, весь в орденах.

Второй в ответ посветлел и сказал:

— Нет. Начальник говорит, что мы сорвем план, а все из-за Грудруфса. Не остается, мол, ничего другого, как переиначить его.

— Грудруфса?

— Ну да.

Первый померк — только его ордена продолжали светиться радужными венчиками — и, понизив голос, заметил:

— Вот запузырится он, бедолага!

— Пускай пузырится, это ему все равно не поможет. А то порядка никакого не будет. Не затем столько лет трансмутируют всяких субчиков, чтобы больше было сепулек!

Заинтригованный, я невольно приблизился к беседующим, но те, замолчав, отошли. Странно,

но лишь теперь до моего слуха стало доноситься слово «сепульки». Я бродил по тротуарам, стремясь окунуться в ночную жизнь столичного города, и из перекатывающихся толп до меня все чаще долетало это загадочное слово, произносимое сдавленным шепотом или же страстно выкрикиваемое; оно виднелось на рекламных шарах, извещавших об аукционах и распродажах антикварных сепулек, и в огненных неоновых надписях, рекламирующих модные сепулькарии. Напрасно силился я понять, что бы это могло быть; наконец около полуночи, освежаясь курдельными сливками в баре на восьмидесятом этаже универмага, я услышал в исполнении ардритской певички шлягер «Ах, сепулька-крохотулька», и любопытство разобрало меня до такой степени, что я спросил подошедшего кельнера, где можно приобрести сепульку.

— Напротив, — ответил он машинально, выписывая счет. Потом взглянул на меня внимательнее и слегка потемнел. — Вы один? — спросил он.

— Да. А что?

— Так, ничего. Мелких нет, извините.

Я отказался от сдачи и спустился на лифте вниз. Действительно, прямо напротив сияла огромная

реклама сепулек; толкнув стеклянную дверь, я очутился в пустом в эту пору магазине. Я подошел к прилавку и, стараясь казаться невозмутимым, попросил сепульку.

— Вам для какого сепулькария? — осведомился продавец, спускаясь со своей вешалки.

— Ну, для какого... для обычного, — ответил я.

— Как это для обычного? — удивился он. — Мы отпускаем только сепульки с подсвистом...

— В таком случае мне одну...

— А где ваш фуфырь?

— Э, гм... у меня его нет с собой...

— Так как же вы возьмете ее без жены? — спросил продавец, испытующе глядя на меня и постепенно мутнея.

— У меня нет жены, — неосмотрительно брякнул я.

— У вас... нет... жены? — пробормотал, весь почернев, продавец. Он смотрел на меня с ужасом. — И вы хотите сепульку?.. Без жены?..

Его колотила дрожь. Как прибитый, выбежал я на улицу, поймал свободный эборет и в ярости велел гнать в какое-нибудь ночное заведение. Эборет примчал меня в «Мыргиндрагг». Когда я вошел, оркестр как раз умолк. Здесь свисало, пожалуй, сотни три с лишним народу. Я протис-

кивался сквозь толпу, высматривая свободное место; кто-то меня окликнул, я с радостью заметил знакомое лицо — это был коммивояжер, с которым когда-то я свел знакомство на Аутропии. Он висел с женою и дочкой. Я представился дамам и принялся развлекать порядком уже захмелевшее общество, причем время от времени все поднимались с места, чтобы под ритмичную мелодию покататься по паркету. Супруга знакомого так горячо меня уговаривала, что в конце концов и я отважился выйти на круг; крепко обнявшись, наша четверка покатилась в зажигательном блистанго. По правде сказать, я все-таки не уберегся от ушибов, однако не подавал виду и прикидывался восхищенным. Когда мы возвращались к столику, я задержал коммивояжера и спросил его на ухо о сепульках.

— Что-что? — переспросил он.

Я повторил вопрос и добавил, что хотел бы купить сепульку. Должно быть, я говорил слишком громко — висевшие рядом поворачивались в нашу сторону и смотрели на меня с помутневшими лицами, а мой знакомый в ужасе сложил присоски.

— Побойтесь Друмы, Тихий, — вы же один!

— Так что же, — выпалил я уже с некоторым

раздражением, — значит, я и сепульку взять не могу?

Эти слова прозвучали в наступившей внезапно тишине. Жена знакомого без чувств рухнула на пол, он катнулся к ней, а находившиеся поближе ардриты покатились ко мне, выдавая окраской недружелюбные намерения; в эту минуту появились три кельнера, взяли меня за шиворот и выкинули на улицу.

Я был вне себя. Остановив эборет, я велел ехать в отель. Всю ночь я не сомкнул глаз — что-то кололо меня и впивалось в бока; лишь на рассвете я обнаружил причину: не получив разъяснений от «Галакса», гостиничная прислуга, наученная горьким опытом обслуживания постояльцев, прожигающих матрацы до самой сетки, постелила мне на ночь асбест. В утреннем свете печальные инциденты минувшего дня быстро поблекли. Я с радостью встретил представителя «Галакса», который в десять часов прибыл за мной в эборете, полном силков, ведерок с ловецкой пастой и прочего охотничьего снаряжения.

— Вы ни разу не ходили на курдля? — осведомился мой проводник, когда экипаж уже мчался вихрем по улицам Этотама.

— Нет. Я бы охотно выслушал ваши инструк-

ции... — произнес я с улыбкой.

Сохранять полнейшую невозмутимость позволял мне огромный опыт охоты на самую крупную дичь Галактики.

— Я к вашим услугам, — любезно отвечал проводник.

Это был худощавый стеклолицый ардрит, без абажура, укутанный в темно-синюю ткань, — такой одежды я еще на планете не видел. Он объяснил, что это охотничий костюм, необходимый при выслеживании зверя; то, что я принял было за ткань, оказалось особым веществом, плотно облекающим тело. Иначе говоря, напрысканная одежда, удобная, практичная, а главное, надежно маскирующая естественное свечение ардритов, которое могло бы спугнуть курдля.

Проводник достал из папки печатный листок и дал его мне для ознакомления; я сохранил его в своих бумагах. Вот он:

> Охота на курдлей
> Инструкция для чужеземцев
>
> В качестве промыслового зверя курдль предъявляет высочайшие требования как к личным качествам охотника, так и к его снаряжению. Поскольку животное

это в процессе эволюции приспособилось к метеоритным осадкам, нарастив непробиваемый панцирь, на курдля охотятся изнутри.

Для охоты на курдля необходимы:

а) на вступительной стадии — паста грунтовочная, соус грибной, лук зеленый, сок и перец;

б) на решающей стадии — метелка рисовая, бомба с часовым механизмом.

I. Изготовка к охоте.

На курдля охотятся с приманкой. Охотник, намазавшись грунтовочной пастой, садится на корточки в канавке оргаста, после чего его посыпают мелко накрошенным зеленым луком и приправляют по вкусу.

II. В этом положении следует выжидать курдля. Когда зверь приблизится, нужно, сохраняя спокойствие, схватить обеими руками бомбу, которую держат между колен. Голодный курдль обычно глотает сразу. Если курдль не желает брать, для поощрения можно слегка похлопать его по языку. В случае, если угрожает осечка, некоторые советуют посолиться еще

раз, но это рискованный шаг, поскольку курдль может чихнуть. Мало какой охотник пережил чихание курдля.

III. Взяв приманку, курдль облизывается и уходит. По проглатывании охотник незамедлительно приступает к активной стадии, то есть при помощи метелки стряхивает с себя лук и приправы, чтобы паста могла свободно проявить свое прочищающее действие; затем настраивает часовой механизм и удаляется возможно быстрее в сторону, противоположную той, откуда прибыл.

IV. Покидая курдля, следует стараться упасть на обе руки и ноги, чтобы не расшибиться.

Дополнительные замечания: Пользоваться острыми специями запрещено. Запрещено также подкладывать курдлям заведенные и посыпанные луком бомбы. Подобные действия приравнены к браконьерству и караются в качестве такового.

На границе охотничьего заказника нас уже поджидал управляющий Ваувр в окружении сверкающего, как хрусталь на солнце, семейства.

Он оказался необычайно радушным и гостеприимным хозяином; приглашенные на угощение, мы провели в его доме несколько приятных часов, слушая истории из жизни курдлей и охотничьи воспоминания Ваувра и его сыновей. Вдруг вбежал запыхавшийся гонец и сообщил, что выслеженных курдлей облава погнала в лес.

— Курдлей, — пояснил управляющий, — надобно сперва хорошенько погонять, чтобы проголодались!

Намазавшись пастой, с бомбой и специями, я двинулся в сопровождении Ваувра и проводника в глубь оргаста. Дорога вскоре исчезла в непроглядной чаще. Мы продвигались с трудом, время от времени обходя следы курдлей, похожие на ямы пятиметровой ширины. Шли мы довольно долго. Вдруг земля задрожала, и проводник остановился, показывая присоском, чтобы мы замолчали. Послышалось громыханье, словно где-то за горизонтом бушевала гроза.

— Слышите? — шепнул проводник.

— Слышу. Это курдль?

— Он самый. Бобчит.

Теперь мы двигались медленней и осторожней. Грохот стих; оргаст погрузился в молчание. Наконец сквозь чащу показалась обширная поляна.

На ее краю мои спутники нашли подходящее место, приправили меня и, удостоверившись, что метелка и бомба у меня наготове, отошли на цыпочках, напоследок велев мне сохранять терпение. Довольно долго стояла полная тишина, нарушаемая только чмоканьем осьмиолов; ноги у меня изрядно уже затекли, как вдруг почва заколебалась. Вдалеке я заметил движение — верхушки деревьев у края поляны вздрагивали и стремительно клонились к земле, обозначая путь зверя. Похоже, это был недурственный экземпляр. И точно, вскоре курдль высунулся из чащи, переступил через поваленные стволы и двинулся прямо ко мне, величественно колыхаясь и с шумом принюхиваясь. Я хладнокровно ждал, зажав в руках ушастую бомбу. Курдль остановился в каких-нибудь пятидесяти метрах от меня. В его наполовину прозрачной утробе явственно виднелись останки множества охотников, которым не повезло.

Какое-то время курдль размышлял. Я уже испугался, что он повернет обратно, но тут он подошел и отведал меня. Я услышал глухое чавканье, и земля ушла у меня из-под ног.

«Ага! Наша взяла!» — успел я подумать. В курдле было вовсе не так темно, как мне сперва пока-

залось. Отряхнувшись, я поднял тяжелую бомбу и принялся настраивать часовой механизм; рядом послышалось чье-то покашливанье. Я поднял голову и с удивлением увидел перед собой незнакомого ардрита, как и я, склонившегося над бомбой. Застыв, мы смотрели друг на друга.

— Что вы тут делаете? — спросил я первым.

— Охочусь на курдля, — отвечал он.

— Я тоже, но прошу вас, не обращайте на меня внимания. Вы были тут раньше.

— Ничего подобного, — возразил он, — вы чужестранец.

— Ну так что же, — не уступал я, — я сохраню свою бомбу на другой раз. Ради бога, пусть вас не смущает мое присутствие.

— Ни за что на свете! — воскликнул он. — Вы наш гость.

— Я прежде всего охотник.

— А я прежде всего хозяин и не позволю, чтобы из-за меня вам пришлось отказаться от этого курдля! Настоятельно прошу вас поторопиться — паста уже начинает действовать!

И верно, курдль становился все неспокойнее; даже сюда доходило его мощное пыхтение, словно работали десятки паровозов одновременно. Видя, что ардрита мне не переубедить, я включил

часовой механизм и посторонился, уступая место своему новому товарищу, но тот попросил меня идти первым. Вскоре мы покинули курдля. Падая с высоты третьего этажа, я слегка повредил щиколотку. Курдль, которому явно полегчало, ринулся в чащу, ломая с ужасным шумом деревья. Внезапно раздался чудовищный грохот, и все утихло.

— Наповал! Поздравляю от всей души! — закричал охотник, дружески пожимая мне руку.

Тут подошли проводник с управляющим. Уже смеркалось, и нужно было спешить с возвращением; управляющий обещал мне собственноручно сделать из курдля чучело и отправить его на Землю с ближайшей грузовой ракетой.

5.XI.

За четыре дня не записал ни слова, так был занят. Каждое утро — особы из Комитета по Культурным Связям с Космосом, музеи, выставки, радиоакты, а после обеда — визиты, официальные приемы и речи. Изрядно устал. Представитель ККСК, который меня опекает, сказал вчера, что ожидается смег, а я забыл спросить, что это значит. В плане у меня встреча с профессором Зазулем, видным ардритским ученым, только еще не знаю когда.

6.XI.

Утром проснулся от ужасного грохота. Соскочил с кровати и вижу: над городом вздымаются столбы дыма и пламени. Позвонил в бюро информации отеля — что происходит?

— Ничего особенного, — ответила телефонистка, — можете не беспокоиться, это всего лишь смег.

— Смег?

— Ну да, сезонный метеоритный град; он выпадает у нас каждые десять месяцев.

— Но ведь это ужасно! — воскликнул я. — Может быть, мне спуститься в убежище?!

— О, никакое убежище не выдержит попадания метеорита. Но ведь у вас, как и у каждого, есть резерв, так что можете не беспокоиться.

— Что еще за резерв? — спросил я, но телефонистка уже положила трубку.

Я быстро оделся и вышел на улицу. Движение было вполне обычное; спешили куда-то прохожие, катились на службу чиновники, полыхая многоцветными орденами, а в садиках, разгораясь и распевая, играли дети. Взрывы становились все реже, и лишь откуда-то издалека доносился размеренный гул. Я подумал, что смег, должно быть, не так уж и страшен, раз никто его даже не

замечает, и поехал, как было намечено, в зоологический сад.

Показывал мне его директор, худой, нервный ардрит с прекрасным отливом. Этотамский зоосад содержится в большом порядке; директор с гордостью сообщил, что у них есть коллекции животных из самых отдаленных частей Галактики, включая земную дичь. Растроганный, я захотел взглянуть на нее.

— Сейчас это, к сожалению, невозможно, — ответил директор и, заметив мой вопросительный взгляд, добавил: — У них мертвый час! Были немалые трудности с акклиматизацией, я даже боялся, что в живых не останется ни одного экземпляра; к счастью, разработанная нашими учеными витаминизированная диета дала превосходные результаты.

— Вот как? А что это, собственно, за животные?

— Мухи. Вы любите курдлей?

Он смотрел на меня как-то особенно, выжидающе, и я, стараясь продемонстрировать искренний энтузиазм, ответил:

— О, очень люблю, они удивительно милые!

Он посветлел.

— Это хорошо. Мы пойдем к ним, но сначала я вас на минуту оставлю.

Он вскоре вернулся, обмотанный альпинистской веревкой, и провел меня в курдельный загон, обнесенный девяностометровой стеной. Отворив ворота, он пропустил меня первым.

— Можете идти спокойно, — сказал он, — мои курдли совершенно ручные.

Перед нами было искусственное оргастбище; здесь паслось шесть или семь курдлей — отборные экземпляры, гектара в три каждый. Самый крупный подошел на голос директора и подставил нам хвост. Ступив на курдля, директор пригласил и меня; я последовал его примеру. Когда крутизна стала слишком большой, директор размотал веревку и велел мне обвязать ее вокруг пояса. Так, в связке, мы восходили около двух часов. На вершине курдля директор уселся в молчании, явно взволнованный. Я тоже молчал — из уважения к его чувствам. Через некоторое время он произнес:

— Взгляните, правда, прекрасный вид?

Действительно, под нами раскинулся чуть ли не весь Этотам с его площадями, храмами и пневмоскребами; по улицам тянулись прохожие, крохотные, как муравьи.

— Вы очень привязаны к курдлям? — спросил я тихо, видя, как ласково поглаживает он спину

животного у самой вершины.

— Я люблю их, — просто сказал директор и взглянул мне прямо в лицо. — Ведь курдли — колыбель нашей цивилизации, — добавил он и, немного подумав, продолжил: — Когда-то, тысячелетья назад, не было у нас ни городов, ни великолепных домов, ни техники, ни резервов... Тогда эти добродушные, могучие существа выпестовали нас, спасая от смертоносного смега. Без курдлей ни один ардрит не дожил бы до прекрасных нынешних дней; и что же? Сегодня на них охотятся, истребляют и травят их — какая чудовищная, какая черная неблагодарность!

Я не смел прерывать его. Преодолевая волнение, он заговорил снова:

— Как же я ненавижу этих охотников, которые подлостью воздают за добро! Вы, верно, видели рекламу курдельной охоты?

— Да, конечно.

Пристыженный словами директора до глубины души, я весь дрожал, опасаясь, что он дознается о моем недавнем поступке; ведь я собственными руками уложил курдля. Чтобы отвлечь внимание собеседника от этой опасной темы, я спросил:

— Вы действительно столь многим обязаны им? А я и не знал...

— Как это — вы не знали? Но ведь курдли носили нас в своем чреве двадцать тысяч лет! Обитая в них, огражденные их мощными панцирями от губительного метеоритного града, наши предки стали тем, что вы видите ныне: существами разумными, прекрасными, светящимися в темноте. И вы об этом не знали?

— Я чужеземец... — прошептал я, мысленно поклявшись никогда не поднимать руку на курдля.

— Ну да, ну да... — пробормотал, не слушая меня, директор и встал. — Увы, пора возвращаться: меня призывают мои обязанности...

Из зоосада я поехал эборетом в «Галакс», где мне обещали оставить билет на вечернее представление.

В центре опять громыхало, все чаще и все оглушительней. Над крышами вздымались столбы дыма, сквозь который пробивался огонь. Видя, что прохожие не обращают на это внимания, я молчал, пока эборет наконец не остановился у «Галакса». Дежурный спросил, как мне понравился зоо.

— Ну да, там очень мило, но... о Боже!

Весь «Галакс» подпрыгнул. Два здания напротив — в окно я видел их как на ладони — разлетелись от попадания метеорита. Меня, оглохшего,

отшвырнуло к стене.

— Ничего, — сказал служащий. — Побудете у нас подольше и привыкнете. Пожалуйста, вот ваш биле...

Он не докончил. Сверкнуло, прогрохотало, взметнулась пыль, а когда она осела, вместо своего собеседника я увидел огромную дыру в полу. Я окаменел. Не прошло и минуты, как несколько ардритов в комбинезонах заделали дыру и прикатили тележку с большим свертком. Когда его развернули, передо мною предстал дежурный с билетом в руке. Он стряхнул с себя обрывки упаковочной бумаги и, устраиваясь на вешалке, сказал:

— Вот ваш билет. Я же говорил, напрасно волнуетесь. В случае чего любого из нас продублируют. Вас удивляет наше спокойствие? Что ж, за тридцать тысяч лет привыкнешь. Если желаете пообедать, наш ресторан уже открыт. Внизу, слева от входа.

— Спасибо, что-то нет аппетита, — ответил я и, слегка пошатываясь, вышел под неумолчные взрывы и громыханье. Вдруг меня охватил гнев.

«Не дождетесь вы, чтоб землянин испугался»! — подумал я и, взглянув на часы, велел эборету ехать в театр.

По дороге в эборет угодил метеорит; я взял другой. Там, где вчера стоял театр, дымилась груда развалин.

— Можно вернуть билет? — спросил я стоявшего на улице кассира.

— Зачем же? Представление начнется вовремя.

— Как это вовремя? Ведь метеорит...

— У нас еще двадцать минут. — Кассир показал мне время на своих часах.

— Но...

— Будьте любезны, не задерживайтесь у кассы! Дайте другим получить билеты! — заволновались в хвосте очереди, которая успела выстроиться за мной. Пожав плечами, я отошел. Тем временем две большие машины сгребали обломки и вывозили их. Через несколько минут место было очищено.

— Что, будут играть под открытым небом? — спросил я ардрита, который обмахивался программкой.

— Ни в коем случае! Думаю, все будет как обычно, — отвечал он.

Я умолк, раздосадованный, в убеждении, что меня дурачат. На расчищенную площадку въехала большая цистерна; из нее вытекла светящаяся рубиновая масса, похожая на смолу, и образовала

довольно большую горку; в это пышущее жаром месиво тотчас воткнули трубы и принялись накачивать воздух. Месиво превратилось в пузырь, растущий с головокружительной быстротой. Через какую-нибудь минуту он был уже точной копией театрального здания, только еще совсем мягкой, колеблющейся при порывах ветра. Еще через пять минут свеженадутое здание затвердело; в этот момент метеорит разбил часть крыши. Додули новую крышу, и в широко распахнутые двери хлынул поток зрителей. Усаживаясь на свое место, я заметил, что оно еще теплое, но то было единственное свидетельство недавней катастрофы. Я спросил у соседей, что это за масса, из которой отстроили театр; оказалось, знаменитая ардритская дмесь (домодувная смесь).

Представление началось с минутным опозданием. При звуке гонга зрительный зал погрузился во мрак, уподобившись колосниковой решетке с рассыпанными на ней тлеющими углями, зато актеры восхитительно засияли. Пьесу играли символическо-историческую, и я, правду сказать, мало что понимал, тем более что многое изображалось цветовой пантомимой. Первое действие вращалось в храме вокруг изваяния Друмы; группа юных ардриток венчала статую цветами и

воспевала своих избранников.

Вдруг появился янтарный прелат и прогнал всех девушек, кроме одной, самой красивой, прозрачной, как ключевая вода. Прелат замкнул ее в статуе. Узница пением призвала на помощь возлюбленного; тот вкатился и погасил старика. В эту минуту метеорит уничтожил купол театра, часть декораций и примадонну, но из суфлерской будки мгновенно подали резерв, да так ловко, что зрители, которые случайно кашлянули или моргнули, и вовсе ничего не заметили. Затем возлюбленные решили создать семью. В конце первого действия старца сбрасывают с раската.

Когда после антракта подняли занавес, я увидел шар супругов и их потомства, который грациозно перекатывался под музыку то в одну сторону, то в другую. Появился слуга, объявивший, что неведомый благодетель прислал супругам охапку сепулек. Действительно, на сцену внесли огромный ящик; затаив дыхание, я смотрел, как его распаковывают. Но в ту самую минуту, когда поднимали крышку, тяжелый удар обрушился мне на темя, и я лишился чувств. Очнулся я на прежнем месте. О сепульках никто уже не говорил, зато погашенный в первом акте прелат, изрыгая ужаснейшие проклятия, кружил по сцене среди

трагически пламенеющих детей и родителей. Я схватился за голову, но не нащупал никакой шишки.

— Что со мной было? — шепотом спросил я соседку.

— Простите? А, вас убило метеоритом, но вы ничего не потеряли, дуэт был из рук вон плох. Хотя, конечно, это скандал: за вашим резервом пришлось посылать в «Галакс», — зашептала в ответ любезная ардритка.

— За каким резервом? — Я чувствовал, что у меня темнеет в глазах.

— Ну, за вашим, за каким же еще...

— А где я?

— Как это где? В театре. Вам плохо?

— Так я, выходит, резерв?

— Ну да.

— А где же тот я, который сидел тут раньше?

Сидящие впереди начали громко шикать, и моя соседка умолкла.

— Умоляю, одно лишь слово, — прошептал я тихо, — где эти... ну, вы знаете...

— Тише! Что такое! Попрошу не мешать! — раздавалось все громче со всех сторон. Мой сосед, оранжевый от гнева, стал звать служителей. Уже не владея собой, я выбежал из театра, пер-

вым же эборетом вернулся в отель и тщательно осмотрел себя в зеркало. Я начал было приободряться, поскольку выглядел в точности так же, как прежде, но, присмотревшись внимательней, сделал страшное открытие: рубашка была надета наизнанку, а пуговицы застегнуты как попало — явный признак, что одевавшие меня понятия не имели о земной одежде. В довершение всего из носка я вытряхнул обрывки забытой в спешке упаковки. У меня перехватило дыхание, и тут зазвонил телефон.

— Я звоню вам уже четвертый раз, — услышал я голос барышни из ККСК. — Профессор Зазуль хотел бы с вами увидеться.

— Кто? Профессор? — переспросил я, с величайшим трудом пытаясь сосредоточиться. — Хорошо, а когда?

— Когда вам угодно, хоть сейчас.

— Тогда я еду к нему немедленно! — решился я вдруг. — И... прошу приготовить мне счет!

— Вы уже уезжаете? — удивилась барышня из ККСК.

— Да, приходится. Я как-то не того... просто сам не свой! — пояснил я и бросил трубку.

Переодевшись, я сошел вниз. Последние события так на меня подействовали, что, хотя в

ту минуту, когда я садился в эборет, метеорит развалил на куски отель, я, не поведя бровью, назвал адрес профессора. Он жил в пригороде, среди нежно серебрящихся холмов. Не доезжая до места, я остановил эборет, радуясь случаю прогуляться пешком после всего пережитого. По дороге я заметил приземистого пожилого ардрита, который неспешно толкал перед собой что-то вроде крытой тележки. Он вежливо со мной поздоровался; я ответил тем же, и мы пошли вместе. За поворотом показалась живая изгородь, окружавшая дом профессора; оттуда в небо плыли рваные клубы дыма. Ардрит споткнулся, и из тележки послышался голос:

— Что, уже?

— Нет еще, — ответил возчик.

Я несколько удивился, но ничего не сказал. Когда мы подошли к изгороди, я увидел дым, который валил оттуда, где должен был стоять дом профессора. Я обратил на это внимание возчика, тот кивнул:

— Ну да, тут метеорит упал, четверть часа назад.

— Что я слышу! — воскликнул я, пораженный. — Какой ужас!

— Домодувы сейчас приедут, — ответил возчик,

— за городом они, знаете ли, не слишком торопятся. Не то что мы.

— Что, уже? — снова раздался скрипучий голос откуда-то из тележки.

— Нет еще, — буркнул возчик и повернулся ко мне. — Вы не могли бы открыть мне калитку?

Я машинально отодвинул задвижку и спросил:

— Так вы тоже к профессору?

— Угу, вот привез резерв, — подтвердил возчик и начал поднимать крышку тележки. У меня перехватило дыхание при виде большого, старательно перевязанного свертка. В одном месте упаковка была надорвана; оттуда таращился на меня живой глаз.

— Вы ко мне... а... так вы ко мне... — заскрипел из пакета старческий голос, — я сейчас... я мигом... прошу вас пока в беседку...

— Да... да... иду... — отозвался я.

Возчик покатил свою поклажу дальше, а я повернулся, перемахнул через кусты и опрометью понесся на космодром. Час спустя я уже мчался среди усеянных звездами просторов. Надеюсь, профессор Зазуль на меня не в обиде.

Путешествие восемнадцатое

Путешествие, о котором я хочу рассказать, по последствиям и масштабу было величайшим делом моей жизни. Я хорошо понимаю, что мало кто мне поверит. Однако, хоть это и выглядит парадоксом, недоверие читателей лишь облегчает мою задачу. Ибо я не могу утверждать, будто исполнил задуманное образцово. Сказать по правде, получилось довольно скверно. И хотя напортачил не я, а завистники и невежды, совавшие мне палки в колеса, мне от того не легче.

Так вот: путешествие, мною предпринятое, имело целью сотворение Вселенной. И не какой-нибудь новой, особенной, которой прежде не было. Отнюдь. Имелась в виду та самая Вселенная, в которой мы живем. Утверждение как будто бессмысленное, даже бредовое: ну, можно ли сотворить то, что уже существует, и притом существует так долго и безусловно? Читатель, пожалуй, решит, что речь идет об экстравагантной гипотезе, согласно которой, кроме Земли, до сих пор ничего не было, а все Галактики, Солнца, Звездные Тучи и Млечные Пути были всего лишь

фата-морганой. Но и это не так. Я действительно создал все, абсолютно Все — и Землю, и всю остальную Солнечную систему, и Метагалактику, чем, конечно, до некоторой степени мог бы гордиться, если бы сотворенное мною не имело столько изъянов. Отчасти речь идет о качестве исходного материала, но прежде всего — о живой материи во главе с человеком. С ним-то и связаны мои наибольшие огорчения. Лица, которых я еще назову поименно, вмешались в работу и запороли ее, но это никоим образом не снимает вины с меня. Следовало тщательней все распланировать, проконтролировать, предусмотреть. Тем более что теперь ничего не исправишь и не усовершенствуешь. Начиная с двадцатого октября прошлого года я принимаю на себя ответственность за все, решительно все конструкторские недоработки Мироздания и вывихи человеческой природы. От этого мне никуда не уйти.

Все началось три года назад, когда профессор Тарантога познакомил меня в Бомбее с неким физиком славянского происхождения. Он гостил там в качестве приглашенного профессора (*Visiting Professor*). Ученый этот, Солон Разглыба, свыше тридцати лет занимался космогонией — отраслью астрономии, которая исследует про-

исхождение и обстоятельства возникновения Вселенной.

Углубившись в предмет, он пришел к математически точному выводу, который потряс его самого. Как известно, в теории космогенеза существуют два основных подхода. Согласно первому, Вселенная существует вечно, то есть не имеет начала. Согласно второму, Вселенная возникла когда-то там, и притом взрывообразно — благодаря взрыву праатома. В обоих случаях перед теорией возникают огромные трудности. Если говорить о первом подходе, то наука получает все больше доказательств того, что видимый Космос имеет определенный возраст. А если что-то имеет возраст, нет ничего проще, чем путем обратного счета дойти до момента, в котором этот возраст был равен нулю. Вечный Космос такого «нуля», то есть Начала, иметь не может. Поэтому под натиском новых фактов большая часть ученых склоняется к выводу, что Вселенная возникла этак пятнадцать—восемнадцать миллиардов лет назад. Вначале было Неведомо Что — какой-нибудь Илем, Праатом или как там его называют, — которое взорвалось, породив материю вместе с энергией, звездные облака, вращающиеся галактики, темные и светлые туманности, плавающие

в разреженном газе, пронизанном излучением. Все это вычисляется очень точно и очень изящно, при условии, что никто не догадается спросить: «А откуда, собственно, взялся этот самый Праатом?» Ибо на этот вопрос ответа как раз и нет. Напридуманы, конечно, всякие уловки и отговорки, но ни один уважающий себя астроном ими не удовольствуется.

Прежде чем взяться за Космогонию, профессор Разглыба изучал теоретическую физику, в особенности феномены, связанные с так называемыми элементарными частицами. Когда же он углубился в новую проблематику, в его уме вскоре составилась следующая картина: Вселенная, безусловно, имела Начало. Она, вне всякого сомнения, возникла из одного Праатома восемнадцать с половиной миллиардов лет назад. Но вместе с тем Праатома, из которого она вылупилась, быть не могло. И впрямь, кто бы его подбросил туда, на совершенно пустое место? В самом начале не было ничего. Если бы что-то было, оно, ясное дело, сразу стало бы развиваться, и Космос возник бы гораздо *раньше*, а точнее — *бесконечно раньше!* С чего бы этому первичному Праатому вековать, вековать и вековать неведомую пропасть лет, безжизненно и без-

молвно, даже не шелохнувшись, и что, скажите на милость, вдруг встряхнуло и растормошило его настолько, что он вдруг разбух и раздулся в такую громадину, как Универсум?

Ознакомившись с теорией С. Разглыбы, я начал расспрашивать его о том, как он натолкнулся на это открытие. Такого рода вещи всегда меня увлекали, а трудно представить себе сенсацию б`ольшую, нежели разглыбинская космогоническая гипотеза! Профессор, человек по натуре тихий и невероятно скромный, признался, что он просто-напросто мыслил неприличным манером — неприличным с точки зрения ортодоксальной астрономии. Каждому астроному известно, что на атомном зернышке, из которого мог произрасти Космос, запросто зубы пообломаешь. И что же они с ним делают? Да ничего — просто обходят его подальше. Обходят, потому что так им удобнее. Разглыба, напротив, не побоялся уйти с головой именно в эту проблему. По мере того как он накапливал факты, рылся в библиотеках, строил модели, окруженный громадами самых шустрых компьютеров, он все отчетливей видел, что здесь зарыта собака, да еще какая собака! Сначала профессор надеялся, что исходное противоречие удастся как-то сгладить, а то и совсем устранить.

А оно между тем разрасталось. Все факты говорили о том, что Космос и впрямь возник из одного атома, но они же говорили о том, что такого атома не могло быть. Тут, разумеется, напрашивалась гипотеза Господа Бога, но ее Разглыба из рассмотрения исключил как слишком уж крайнюю. Помню улыбку, с которой он говорил мне: «Не стоит сваливать все на Господа Бога. И тем более это не занятие для астрофизика...» Размышляя так месяцами, Разглыба наконец вспомнил о прежнем предмете своих занятий. Спросите, если не верите, любого знакомого физика, и он подтвердит вам, что некоторые явления в микромире происходят как бы в кредит. Скажем, мезоны порой нарушают законы сохранения, но нарушают так неслыханно быстро, что как будто и вовсе не нарушают. То, что законами физики запрещено, они проделывают в мгновение ока и тут же как ни в чем не бывало возвращаются в рамки законности. И вот, гуляя как-то утром по университетскому парку, Разглыба спросил себя: а что, если Космос повел себя так же, но в самом большом, вселенском масштабе? Если мезонам позволено выкидывать подобные штуки в мельчайшую долю секунды, по сравнению с которой целая секунда кажется вечностью, Вселенная,

учитывая ее габариты, будет вести себя вышеуказанным образом соответственно *дольше*. Скажем, пятнадцать миллиардов лет...

И вот она возникла, хотя *не могла* возникнуть, поскольку *не из чего* было ей возникать. Космос есть *запрещенная флуктуация*. Это минутный фортель, мгновенное отклонение от предписанного образа действий, но только мгновение это — колоссальных размеров. Вселенная — такое же нарушение законов физики, каким в микромире бывает мезон! Чувствуя, что разгадка тайны близка, профессор тотчас отправился в лабораторию и проделал необходимые вычисления, которые шаг за шагом подтвердили его гипотезу. Но, еще не успев закончить расчеты, он начал догадываться, что решение Космогонической Загадки таит в себе самую грозную опасность, какую только можно вообразить.

А дело в том, что Космос существует *в кредит*. Вселенная, со всеми своими созвездиями и галактиками, — чудовищная *задолженность*, грандиозная закладная, долговая расписка, по которой непременно придется платить. Вселенная — это противоправная ссуда, материально-энергетический заем; мнимый ее актив на самом деле есть чистейший пассив. Так что Космос,

этот Беззаконный Эксцесс, в один прекрасный день лопнет как мыльный пузырь. Как всякая аномалия, он канет в то самое Небытие, из которого вдруг появился, и лишь тогда восстановится нормальный Порядок Вещей!

То, что Космос так громаден и что столько всего успело в нем произойти, не должно никого удивлять: ведь перед нами Эксцесс Максимальнейшего Масштаба. Разглыба немедленно начал рассчитывать, когда наступит ужасный конец, то есть когда материя, солнце, звезды, планеты, а значит, и Земля вместе с нами, исчезнут, словно сдутые ветром. Оказалось, однако, что этого предвидеть нельзя. Да оно и понятно: как-никак речь идет об эксцессе, то есть о нарушении нормального порядка вещей! Ужас, которым веет от этого открытия, лишил профессора сна. После долгой душевной борьбы Разглыба, вместо того чтобы предать гласности свои космогонические труды, ознакомил с ними виднейших астрофизиков. Ученые признали обоснованность его теории и вытекающих из нее выводов, но в частных беседах указали на то, что огласка истинного положения дел ввергнет мир в духовную анархию и отчаяние, результатом чего может стать крушение цивилизации. Кто захочет что-нибудь делать,

хотя бы мизинцем пошевелить, если все вокруг, включая его самого, того и гляди исчезнет?

Дело уткнулось в тупик. Разглыба, автор величайшего открытия в истории (причем не только в истории человечества), разделял опасения своих ученых коллег. Хотя и с тяжелым сердцем, он решил не разглашать свою теорию, а вместо того начал искать в арсенале физики средства, которые как-то поддержали бы Космос, укрепили и упрочили его кредитообразное бытие. Но все его усилия не дали никаких результатов. Как ни старайся, нельзя погасить космическую задолженность сегодня, коль скоро задолженность эта коренится не в нынешнем Универсуме, а в его Начале, когда Космос стал самым крупным — но также и самым беззащитным — Должником Небытия.

Как раз в то время я познакомился с профессором и целыми неделями вел с ним беседы, в которых сначала он посвящал меня в суть своего открытия, а потом сопутствовал мне в поисках средств спасения.

Ах, думал я, возвращаясь в гостиницу с пылающей головой и сокрушенным сердцем, если бы хоть на долю секунды попасть Туда — на двадцать миллиардов лет назад! Достаточно было бы

поместить в пустоте один-единственный атом, и из него, как из брошенного в почву зерна, мог бы вырасти Космос, уже совершенно легальным образом, в полном согласии с законами физики, с принципом сохранения материи и энергии... но как же Туда попасть?!

Профессор, которому я поведал об этих мечтаниях, меланхолически улыбнулся и объяснил, что из обычного атома Вселенная не могла бы возникнуть: зародыш Космоса должен содержать в себе энергию всех тех процессов и превращений, которые раздули бы его до метагалактической необъятности. Поняв свою ошибку, я, однако, не переставал размышлять и как-то пополудни, натирая бальзамом распухшие от комариных укусов ноги, погрузился мыслями в те давние времена, когда, пробираясь сквозь шаровое Скопление Гончих Псов, от нечего делать я штудировал курс теоретической физики, а именно том, посвященный элементарным частицам... Тут я вспомнил о гипотезе Фейнмана, согласно которой существуют частицы, движущиеся «против течения» времени. Электрон, который движется таким образом, мы наблюдаем как частицу с положительным зарядом (позитрон). И вот, держа ноги в тазу, я сказал себе: а что, если взять один

электрон да разогнать его хорошенько, чтобы он помчался обратно во времени, все быстрей и быстрей? Придать ему столь большой импульс, чтобы он проскочил точку начала космического времени и очутился в том месте календаря, где еще ничего не было? А вдруг из этого разогнавшегося электрона возникнет Вселенная?!

Я как был, с мокрыми, босыми ногами, помчался к профессору. Он моментально оценил грандиозность моей идеи и, не тратя слов попусту, принялся за вычисления. А из них вышло, что это вполне возможная вещь. Энергия электрона, движущегося против течения времени, будет все возрастать, а когда электрон вылетит за Начало Вселенной, приобретенная по дороге энергия взорвет его изнутри, причем в момент взрыва эта частица будет располагать ресурсами, *в точности* покрывающими *сумму долга*. И тогда Мироздание будет спасено от банкротства, существуя отныне уже не в кредит!

Теперь оставалось подумать о практической стороне предприятия, имевшего целью узаконить Вселенную, а вернее, сотворить ее! С. Разглыба, будучи человеком кристально честным, в беседах с проф. Тарантогой, а также со своими ассистентами и сотрудниками, неод-

нократно подчеркивал, что идея Сотворения Мироздания принадлежит мне и, в сущности, это я, а не он должен называться как Творцом, так и Спасителем Мира. Я упоминаю об этом не для того чтобы хвастаться — скорее наоборот. Похвалы и дифирамбы, которых тогда, в Бомбее, я наслушался вдоволь, боюсь, вскружили мне голову, а в результате я не проследил за работой, как следовало бы. Я, к несчастью, почил на лаврах, по наивности полагая, что главное сделано усилием мысли, а с техническими вопросами справятся и без меня.

Роковая ошибка! Все лето и немалую часть осени мы с проф. Разглыбой определяли параметры, то есть свойства и качества, того, что должно было проклюнуться из электрона — нашего космического зерна. Собственно, лучше было бы назвать его творящим боезарядом, поскольку техническая сторона дела выглядела так: мортирой, нацеленной на Начало Времен, нам послужил огромный университетский синхрофазотрон, соответствующим образом перестроенный. Всю его мощность, сфокусированную на одной-единственной частице — том самом творящем электроне, — предполагалось высвободить двадцатого октября; профессор Разглыба настаивал,

чтобы именно я, как автор этой идеи, сделал миротворящий выстрел из хрономортиры. И коль уж подворачивался такой небывалый, единственный в истории случай, было решено, что из нашей махины, нашего миромета вылетит не первый попавшийся, заурядный электрон, а частица, переделанная, перекроенная, перелицованная так, чтобы из нее возник Космос во всех отношениях *более пристойный* и доброкачественный, нежели существующий ныне. Особое внимание мы уделили тому *побочному* и *отдаленному* результату Космотворения, которым должно было стать человечество.

Конечно, запрограммировать в одном электроне, запихнуть в него такую адскую массу управляющей и контролирующей информации — дело нелегкое. И я не стану утверждать, будто сделал все сам. Разделение труда между мной и проф. Разглыбой состояло в следующем: я разрабатывал улучшения и усовершенствования, а он переводил их на точный язык физических параметров, теории вакуума, теории электронов, позитронов и прочих многочисленных «тронов». Мы также устроили нечто вроде инкубатора или питомника, в котором покоились надежно изолированные опытные частицы; из этих частиц

нам предстояло выбрать одну, наиболее удачную, а из нее, как я уже говорил, двадцатого октября должна была родиться Вселенная!

Сколько прекрасного и даже, не побоюсь сказать, совершенного я спроектировал в те горячие дни! Сколько ночей просидел я над грудами физических, этических, зоологических сочинений, чтобы собрать воедино, в один кулак, самую ценную информацию, которую профессор затем, на рассвете, заносил в электрон — наш вселенский зародыш! Мы добивались, в частности, того, чтобы Космос развивался гармонично, а не бесплановo, как до сих пор, чтобы его не сотрясали взрывы Сверхновых, чтобы энергия квазаров и пульсаров не транжирилась так бестолково, чтобы звезды не потрескивали и не коптили, как огарки с подмокшим фитилем, чтобы межпланетные расстояния были поменьше и космоплавание благодаря этому стало более совершенным средством общения и сплочения разумных существ. Долго пришлось бы рассказывать обо всех улучшениях подобного рода, разработанных мною всего лишь за несколько месяцев. Да и не это самое главное; надо ли пояснять, что больше всего я потрудился над человечеством? Чтобы улучшить его, я изменил основополагающий

принцип естественной эволюции.

Как известно, эволюция — это либо массовая обжираловка, когда сильные за обе щеки уплетают тех, кто послабее, то есть *зооцид*, либо сговор слабейших, которые берутся за тех, кто сильнее, изнутри, то есть *паразитизм*. В нравственном отношении безупречны лишь зеленые растения: они живут на собственный счет, заведенный в солнечном банке. А потому я замыслил хлорофилизацию всего живого и, в частности, набросал проект Человека Лиственного. Поскольку тем самым высвобождался живот, я перенес туда нервную систему, соответственно ее увеличив. Конечно, располагая лишь одним электроном, все это я делал не напрямую; по договоренности с профессором я установил — в качестве основного закона эволюции в Новом, Не Обремененном Долгами Космосе — правило приличного поведения каждого организма по отношению ко всем остальным. Кроме того, я разработал гораздо более эстетичное тело, более деликатную половую жизнь и много иных усовершенствований, которые даже не стану перечислять, ибо сердце обливается кровью при одной только мысли о них. Скажу лишь, что в конце сентября была готова Миротворящая Мортира и ее электрон-

ный заряд. Но еще оставались некоторые, весьма сложные вычисления, которыми занялся профессор и его ассистенты, ведь наведение на цель во времени (а вернее, с небольшим перелетом за начало времени) — задача, требующая исключительной точности.

Разве не должен я был сидеть на месте, не отходя ни на шаг и приглядывая за всем, коль скоро на мне лежала такая чудовищная ответственность? Что поделаешь — я решил отдохнуть... и отправился на морской курорт. Стыдно сказать, но все-таки я признаюсь: комары меня просто заели, я весь распух и мечтал о прохладных морских ваннах. И вот из-за этих чертовых комаров... но я не вправе сваливать собственную вину ни на что и ни на кого на свете. Перед самым отъездом случилась небольшая стычка между мной и одним из сотрудников профессора. Собственно, это не был даже сотрудник Разглыбы, а простой лаборант, хотя он и приходился профессору земляком; звали его Алоиз Кучка. Этот субъект, которому было поручено присматривать за лабораторными установками, ни с того ни с сего потребовал, чтобы и его включили в список Творцов Мироздания: дескать, если б не он, то криотрон не работал бы как полагается, а если бы криотрон не

работал, то и электрон не повел бы себя должным образом... и т. д. Я, понятно, поднял его на смех, а он, вроде бы отказавшись от своих смехотворных претензий, начал тайком строить собственные прожекты. Сам-то он ничего толкового сделать не мог, но сговорился с двумя случайными дружками, которые околачивались возле Бомбейского института ядерных исследований, рассчитывая на какое-нибудь теплое местечко. Это были: немец Аст А. Рот и наполовину англичанин, наполовину голландец Веелс Э. Вулл.

Как показало расследование — увы, запоздавшее, — А. Кучка впустил их ночью в лабораторию, а остальное довершила нерадивость младшего ассистента проф. Разглыбы, некоего магистра Серпентина. Он оставил на столе ключи от сейфа, что облегчило злоумышленникам задачу. Впоследствии Серпентин оправдывался болезнью, показывал какие-то медицинские справки, но весь институт знал, что этот вздорный молокосос завел роман с замужней женщиной Евой А., ползал у ее ног, добиваясь благосклонности, и начисто позабыл о служебных обязанностях. Кучка провел сообщников в зал с криотронной аппаратурой, там они взяли сосуд Дьюара, извлекли из него футляр с бесценным зарядом и внесли свои

гнусные параметрические «поправки»; последствия их перед глазами у каждого, кто лицезреет чудовищный мир, в котором мы обитаем. Позже трое дружков наперебой объясняли, что они-де руководствовались «самыми лучшими намерениями», мало того, рассчитывали на славу (!!) — между прочим, и потому, что их было *трое*.

Тоже мне *Троица!* Под тяжестью неоспоримых улик и под огнем перекрестных допросов им пришлось сознаться, что они распределили задания между собой. Аст А. Рот, когда-то учившийся в Геттингенском университете (причем Гейзенберг лично вышвырнул его из ассистентов за показ порнографических снимков при помощи спектрографа Астона), «занялся» физической стороной Творения и добросовестно ее изуродовал. Это из-за него слабые взаимодействия не согласуются с сильными, а симметрия законов сохранения пошла наперекосяк. Каждый физик поймет меня с лета. Тот же Рот, просчитавшись при обычном сложении, привел к тому, что заряд электрона, когда мы рассчитываем его сегодня, выражается *бесконечной* величиной. Кроме того, из-за этого болвана никак не удается отыскать кварки, хотя из теории следует, что кварки *должны быть!* Этот неуч забыл ввести поправку в

формулу дисперсии! То, что интерферирующие электроны самым беззастенчивым образом противоречат логике, тоже его заслуга. И подумать только: проблему, над которой Гейзенберг ломал голову всю свою жизнь, подбросил ему самый скверный и самый бездарный его ученик!

Впрочем, на его совести еще более тяжкий проступок. Мой план Творения предусматривал ядерные реакции, ведь без них не было бы лучистой энергии звезд; однако тяжелые радиоактивные элементы я упразднил, чтобы атомная бомба не появилась в середине XX века, то есть преждевременно. Овладение ядерной энергией предполагалось лишь в виде синтеза ядер гелия из водорода, что гораздо труднее; такого открытия следовало ожидать не ранее XXI века. Однако А. Рот вернул актиноиды в проект. К сожалению, не удалось доказать, что он действовал по указке *агентов* одной из великих держав, лелеявшей планы глобального военного превосходства... но, в сущности, и без того его следовало привлечь к ответственности за геноцид, ведь если б не он, не дошло бы до атомной бомбардировки японских городов в конце мировой войны.

Второй «эксперт» из этой отпетой тройки, Э. Вулл, когда-то получил медицинское образова-

ние, но был лишен права врачебной практики за многократные злоупотребления. Он взял на себя биологическую сторону проекта и соответствующим манером ее «усовершенствовал». Что до меня, я рассуждал так: если мир именно таков, каков есть, а человечество ведет себя именно так, а не иначе, то это потому, что все возникло случайно, как попало, в результате нарушения фундаментальных законов. Достаточно на минуту задуматься, и станет ясно: при таких условиях могло быть еще хуже! Ведь все решалось по принципу лотереи — «Творцом» был *флуктуационный каприз Небытия*, которое чудовищно и бесповоротно залезло в долги, без всякого смысла и плана раздувая мыльный пузырь Метагалактики!

Правда, я решил, что *некоторые* свойства Космоса можно оставить, подретушировав их и подправив, и тщательно доработал все, что следовало. Но что касается Человека — тут я действовал крайне решительно. Исторически сложившегося поганца я перечеркнул целиком. Замена волосяного покрова лиственным, о чем говорилось выше, положила бы начало принципиально новой этике жизни; но господину Вуллу волосы показались важнее, потому что — заметьте-ка! — «их было жаль». Из них, мол, можно сооружать

гривастые шевелюры, бакенбарды и прочие шерстяные завитушки. Тут — новая нравственность солидарности и гуманизма, а там — парикмахерские изыски и выкрутасы! Уверяю вас, вы бы себя не узнали, если бы не Веелс Э. Вулл, вернувший в электрон все уродства, которые вы наблюдаете у себя и у прочих людей.

Сам же лаборант Кучка хоть и был ни на что не способен, тем не менее требовал от дружков, чтобы те увековечили его вклад в сотворение мира; он домогался — меня прямо трясет, когда я это пишу! — чтобы его имя читалось в каждом уголке небосвода! А когда Рот растолковал ему, что звезды, постоянно перемещаясь, не могут складываться в устойчивые буквы и монограммы, Кучка потребовал, чтобы они по крайней мере располагались большими скоплениями, то есть *кучкообразно*. Что и было исполнено.

Двадцатого октября, держа палец на кнопке пульта управления, я, естественно, ведать не ведал, что же я на самом деле творю. Это выяснилось через несколько дней, когда мы проверяли расчеты и обнаружили на лентах информацию, внесенную в наш позитрон гнусной *Троицей.* Профессор был просто убит. Да и сам я, признаться, не знал, то ли пустить пулю в лоб себе, то ли кому-то

еще. В конце концов рассудок взял верх над негодованием и отчаянием, все равно ведь ничего нельзя было исправить. Я даже не присутствовал на допросах мерзавцев, которые изувечили созданный мною мир. Полгода спустя профессор Тарантога сказал мне, что трое безобразников сыграли в сотворении мира роль, которую религия обычно отводит Сатане. Я только пожал плечами. Какой уж там Сатана из трех ослов! Впрочем, что бы там ни было, самая большая вина лежит *на мне*: я допустил небрежность и покинул пост. Захоти я искать оправданий, я сказал бы, что виноват еще и бомбейский аптекарь, всучивший мне под видом средства от комаров бальзам, на который комары слетались, что пчелы на мед. Но тогда, в свою очередь, в Порче Природы Вещей можно обвинить кого угодно. Я не намерен прибегать к таким оправданиям. Я отвечаю за мир, каков он есть, и за все изъяны людской натуры, поскольку в моей власти было сделать и то и другое лучше.

Путешествие двадцатое

Началось это, когда еще и суток не прошло после моего возвращения с Гиад, шарового скопления, настолько набитого звездами, что цивилизации теснятся в нем, как зернышки в маковой головке. Я не распаковал и половины чемоданов с привезенными образцами, а у меня уже руки отнялись. Решил пока снести весь багаж в подвал и заняться им позже, немного передохнув, потому что обратная дорога ужасно затянулась и я ничего так не жаждал, как усесться в свое резное кресло перед камином, вытянуть ноги, руки засунуть в карманы потертой тужурки и мысленно сказать себе: ничто тебе не угрожает, разве только сбежит молоко, поставленное на плиту. Да и то сказать — после четырех лет такой езды и Космос может вконец опостылеть, по крайней мере на некоторое время. Вот подойду к окну, думалось мне, а за ним не черная бездна и не скворчащие протуберанцы, а просто улица, садики, кустики и песик, оправляющийся под деревцем с таким равнодушием к проблемам Млечного Пути, что душа радуется.

Увы! Как обычно бывает с мечтами, ничего из этого не вышло. Заметив, что уже первый тюк, вынутый из ракеты, имел вмятину на боку, я, беспокоясь за бесценные образцы, которых было великое множество, немедленно принялся извлекать их наружу. Мырданги сохранились неплохо, а вот калушницы, оказавшиеся внизу, помялись. Я просто не мог этого так оставить и за пару часов отбил крышки у самых больших ящиков, отпер сундуки, гронзы разложил на калорифере, чтобы подсохли, — их насквозь промочило чаем из термоса, но при взгляде на спихи меня просто затрясло. Им надлежало стать украшением моей коллекции, еще по дороге я подбирал для них самые почетные места: эти продукты милитаризации с Регула — редчайшая редкость (тамошняя цивилизация целиком призвана под ружье, и ни одного штатского там не сыщешь). Пихание — вовсе не хобби регулианцев, как пишет Тоттенхем, а нечто среднее между религиозным обрядом и спортом. Тоттенхем попросту не разобрался, с каких позиций там пихаются. Пихание представляет собой на Регуле действие символическое, так что недоуменные замечания Тоттенхема вкупе с его риторическими вопросами свидетельствуют лишь о полнейшем невежестве. Одно дело — пи-

хание супружеское, и совсем другое — пихание школьное, походное, любовное и т. д. Я, однако, не могу вдаваться в такие подробности. Довольно и того, что, перетаскивая регулианские трофеи с первого этажа на второй, я повредил поясницу. И хотя работы оставался непочатый край, я решил, что такой партизанщиной много не сделаешь, развесил еще только матульки на бельевой веревке в подвале и отправился на кухню готовить ужин. Теперь уже только сиеста, праздность, dolce far niente[15], твердо сказал я. Правда, океан воспоминаний по-прежнему наполнял меня, назойливый, как мертвая зыбь после бури. Взглянул, разбивая яйца, на голубой язычок газа — казалось бы, пустяк, но почти так же выглядела Новая в созвездии Персея. Посмотрел на занавеску — белую, как лист асбеста, которым я укутывал атомный реактор, когда... Ну, хватит, оборвал я себя. Лучше поразмыслить, что вкуснее: просто яичница или глазунья. Только я решил в пользу глазуньи, как весь дом задрожал. Приготовленные яйца хлопнулись на пол, и в ту же минуту, уже наполовину повернувшись к лестнице, я услышал протяжный гул, как будто надвигалась

[15] Примечания: 15
Блаженное ничегонеделание (*ит.*).

лавина. Я отбросил сковородку и кинулся наверх. Крыша, что ли, рухнула? Метеорит?.. Не может быть! Да это просто немыслимо!

Единственным помещением, не заваленным разными свертками, был мой рабочий кабинет; оттуда и доносился грохот. Первое, что я увидел, была гора книг возле перекосившегося стеллажа. Из-под толстых томов Космической энциклопедии выползал задом, на четвереньках, какой-то человек, елозя по разбросанным книгам, словно ему было мало учиненного развала и он хотел потоптать их еще. Прежде чем я открыл рот, он вырвал из-под себя какое-то длинное металлическое дышло, ухватив его за рукоятку, напоминавшую велосипедный руль. Я кашлянул, но нахал, все еще стоявший на четвереньках, не обратил на меня ни малейшего внимания. Я кашлянул громче, и тут его фигура показалась мне удивительно знакомой. Когда же он поднялся, я узнал его. Это был я, совсем как в зеркале. Впрочем, когда-то я пережил уже целую серию таких встреч, правда, в гуще гравитационных завихрений, а не в мирном жилище!

Он бросил на меня рассеянный взгляд и нагнулся над своим аппаратом. То, что он вел себя так безобразно и даже не соблаговолил отозваться,

наконец вывело меня из равновесия.

— Что все это значит? — Я еще не повышаю голоса.

— Сейчас объясню... погоди... — бормочет он.

Встает, тащит свою трубу к лампе, наклоняет абажур, чтобы было светлее, поправляет бумажку, которая поддерживает кронштейн (знает, бестия, что абажур спадает; похоже, это и вправду я!), и, явно обеспокоенный, ощупывает какие-то маховички.

— Не мешало бы вам объясниться! — Я уже не скрываю все возрастающего раздражения.

Он усмехается. Отодвигает свой аппарат, прислоняет его к стене. Садится в мое кресло, выдвигает второй ящик стола, вынимает оттуда мою любимую трубку и безошибочно лезет за кисетом с табаком.

Это уже чересчур.

— Ах ты, наглец! — говорю я.

Плавным жестом руки он приглашает меня сесть. Непроизвольно оценивая взглядом нанесенный урон (разодраны переплеты двух тяжелых звездных атласов), пододвигаю себе стул и начинаю вертеть пальцами на животе. Дам ему пять минут на извинения и оправдания, а если они меня не удовлетворят, посчитаюсь с

ним по-свойски.

— Ерунда! — откликается непрошеный гость. — Ты же неглупый человек! Как ты хочешь со мной посчитаться? Ведь каждый нынешний мой синяк завтра станет твоим!

Я молчу и начинаю постепенно соображать. В самом деле, если он — это я и приключилась (но как, черт возьми?) временная петля (и почему обязательно мне выпадают на долю такие приключения?!), он, конечно, может предъявлять известные права на мою трубку и даже жилище. Но к чему было крушить стеллаж?

— Это нечаянно, — говорит он сквозь клубы душистого дыма, посматривая на носок элегантного ботинка. Кладет ногу на ногу и покачивает. — При торможении занесло хроноцикл. Вместо половины девятого влетел в восемь тридцать плюс одна сотая секунды. Если бы лучше установили прицел, попал бы в самую середину комнаты.

— То есть как? — Я ничего не могу понять. — Во-первых, ты что — телепат? Как ты можешь отвечать на мои *мысленные* вопросы? А во-вторых: если ты и в самом деле я и прибыл во времени, то при чем тут пространство? Зачем портить книжки?!

— Если хоть немного подумаешь, поймешь

все сам. Ведь я позднее тебя, а поэтому *должен* помнить все, что я — то есть ты — думал, потому что я и есть ты, только в будущем. А что касается пространства-времени, то ведь Земля-то вертится! Промахнулся на одну сотую секунды, если не меньше, а за это мгновение Земля вместе с домом успела передвинуться на четыре метра. Говорил ведь я Розенбайсеру, что лучше приземляться в саду, нет, навязал мне этот вариант.

— Ну хорошо. Допустим, ты не врешь. Но что это все означает?

— Сейчас узнаешь. Но сначала хорошо бы поужинать; это история длинная и крайне важная. Я прибыл к тебе как посланец, с исторической миссией.

Слово за слово, наконец я поверил ему. Мы спустились вниз, приготовили ужин, я открыл еще банку сардин (в холодильнике осталось лишь несколько яиц). Разговор мы продолжили здесь же — лицезреть разгромленную библиотеку мне не хотелось. Он не горел желанием мыть посуду, но, пристыженный мною, согласился ее вытирать. Потом мы уселись за столом, он серьезно поглядел мне в глаза и сказал:

— Я прибыл из 2661 года, чтобы сделать тебе предложение, подобного которому ни один

человек не слышал и никогда не услышит. Ученый совет Института Времени желает, чтобы я — то есть ты — стал генеральным директором программы ТЕОГИПГИП. Это сокращение означает: «Телехронная Оптимизация Главнейших Исторических Процессов Гиперпьютером». Я совершенно убежден, что ты займешь этот почетный пост, ибо он предполагает повышенную ответственность перед людьми и историей; а я — то есть ты — человек энергичный и справедливый.

— Сначала я хотел бы услышать что-нибудь поконкретнее; кстати, непонятно, почему ко мне приехал не просто представитель этого Института, а именно ты — то есть я? Откуда ты, то есть я, там взялся?

— Это я разъясню тебе напоследок и особо. Что же касается главного дела, то ты, конечно, помнишь беднягу Мольтериса, который изобрел портативную машинку для путешествий во времени и, желая ее продемонстрировать, бесславно погиб, насмерть состарившись сразу же после старта?

Я кивнул.

— Таких попыток будет больше. Любая новая техника требует в начальной стадии жертв.

Мольтерис сконструировал одноместный времяходик безо всяких предохранительных устройств. Он поступил точь-в-точь как тот средневековый мужик, который, нацепив крылья, влез на колокольню и тут же разбился. В XXIII веке появились, то есть, с твоей точки зрения, появятся, хронотягачи, времяходы и темпомобили, но настоящая хрономобильная революция наступит лишь тремястами годами позже, благодаря людям, которых называть не буду — познакомишься с ними сам. Поездка во времени на малое расстояние — это одно, а экспедиция в миллионолетнюю глубину — совсем другое. Разница между ними примерно такая же, как между загородной прогулкой и космическим путешествием. Я прибыл из Эпохи Хрономобилизма, Хронавигации и Телехронии. О путешествиях во времени написаны горы чепухи, так же как раньше — об астронавтике: дескать, некий изобретатель благодаря какому-то богачу где-то в укромном месте строит в один присест ракету, в которой они оба, да еще в сопровождении знакомых дам, летят на другой конец Галактики. Технология хронавигации, так же как и астронавтика, требует гигантского промышленного потенциала, колоссальных вложений, планирования... Ну, со

всем этим ты познакомишься на месте, то есть в свое время. Не будем больше о технической стороне. Речь идет о главной цели нашей работы; не для того в нее вбухали такие средства, чтобы попугать фараонов или отколотить собственного прапрадедушку. В XXVII веке, откуда я прибыл, отрегулирован общественный строй и климат Земли, и вообще так хорошо, что лучше некуда; однако стоит обратиться к истории — и покоя как не бывало. Ты же знаешь, как она выглядит; самое время с этим покончить!

— Подожди-ка. — В голове у меня шумело. — Вам не нравится история? Ну и что? Ведь она какой была, такой и останется, разве не так?

— Не пори чушь. На повестке дня как раз и стоит ТЕОГИППГИП — Телехронная Оптимизация Главнейших Исторических Процессов Гиперпьютером. Я уже тебе говорил. Всеобщая история будет отрегулирована, очищена, подправлена, спрямлена и улучшена в соответствии с принципами гуманизма, рационализма и привлекательного дизайна. Неужели не ясно, что, имея в родословной такую бойню и мясорубку, стыдно соваться в общество высокоразвитых космических цивилизаций!

— Регулирование Истории?.. — ошеломленно

повторил я.

— Да. Если понадобится, сделаешь поправки еще до возникновения человека, чтобы он получился лучше. Фонды отпущены, техника собрана, но пост генерального директора Проекта до сих пор остается вакантным. Всех отпугивает риск, сопряженный с этой должностью.

— Нет желающих? — Мое изумление возросло еще больше.

— Ну да, это ведь не то прошлое, в котором каждый осел хотел править миром. Никто не возьмется за такое дело, не имея квалификации. Так что должность вакантна, а время не ждет!

— Но ведь я в этом не разбираюсь. И почему именно я?

— В твоем распоряжении будут целые штабы специалистов. Техническая сторона тебя не касается; имеется много планов, проектов, методов. Дело за осмотрительными, ответственными решениями. Мне, то есть тебе, и предстоит их принять. Наш Гиперпьютер исследовал методом психозондирования всех людей, когда-либо живших на Земле, и нашел, что я, то есть ты, — единственная надежда Проекта.

После долгого молчания я отозвался:

— Дело, как вижу, серьезное. Может быть, я

приму этот пост, а может, и нет. Шутка ли — всеобщая история! Тут надо подумать. Все-таки как получилось, что я, то есть ты, появился именно у меня? Я же никуда не передвигался во времени. Только вчера возвратился с Гиад...

— Ну конечно! — прервал он меня. — Из нас двоих ты *более ранний*. Вот примешь мое предложение, я отдам тебе хроноцикл, и отправишься туда, куда, то есть когда надо.

— Ты не ответил на мой вопрос. Откуда я взялся в XXVII веке?

— Очень просто: я заехал туда на машине времени. А потом оттуда сюда, в твой сегодняшний день.

— Но если я никогда не путешествовал на машине времени, то, значит, и ты, который тоже я...

— Не путай. Я ведь *будущий* ты, и поэтому ты *еще* не можешь знать, как случится, что ты окажешься в XXVII веке.

— Ой, темнишь! — пробормотал я. — Если я приму твое предложение, то сразу попаду в XXVII век. Буду там руководить этим ТЕОГИПГИПом и так далее. Но *ты-то* откуда там взя...

— Мы можем так болтать всю ночь! Не переливай из пустого в порожнее. Или знаешь что?

Попроси Розенбайсера, пусть он тебе объяснит. В конце концов это он, а не я специалист-временщик. Впрочем, эта история, хоть и запутанная, как любая временная петля, не идет ни в какое сравнение с моей, то есть твоей, миссией. Ведь это Историческая Миссия. Разве не так? Ну, согласен? Хроноцикл в порядке, я проверил.

— Да что там хроноцикл. Не могу я вот так сразу.

— Нет, можешь! Это твой долг. Ты должен!

— Эге-ге! Полегче со мной! Ничего я не «должен»! Ты же знаешь, я этого не люблю. Могу, если захочу. Если сочту, что дело того заслуживает. Кстати, кто такой Розенбайсер?

— Директор по науке в ИВ. Будет твоим непосредственным подчиненным.

— В ИВ?

— В Институте Времени.

— А если я не соглашусь?

— Ты не можешь не согласиться... не сделаешь этого... Это значило бы, что ты струсил...

При этих словах на губах его мелькнула какая-то затаенная усмешка. Это меня насторожило.

— Вот еще! Почему же?

— Потому... э-э, да что тебе объяснять. Это связано со структурой времени.

— Не говори ерунды. Если я не соглашусь, то никуда отсюда не двинусь, и никакой Розенбайсер ничего мне не объяснит, и никакую историю регулировать я не буду!

Я говорил это отчасти для того, чтобы выиграть время, такие дела не решаются наобум, — но не только поэтому: не имея ни малейшего представления, зачем он, то есть я, явился ко мне, я все же чуял тут какой-то подвох, какую-то каверзу.

— Беру на размышление сорок восемь часов! — заявил я.

Он начал настаивать, чтобы я решился сразу, но чем больше настаивал, тем меньше мне это нравилось. Я даже снова засомневался, что он — это я. А вдруг передо мною какой-нибудь загримированный наймит? И я решил устроить ему допрос. Надо было найти что-нибудь такое, о чем никто, кроме меня, не знал.

— Почему в нумерации «Звездных дневников» есть пробелы? — внезапно спросил я.

— Ха-ха! — рассмеялся он. — Значит, уже не веришь в меня? Да потому, дорогой мой, что одни путешествия совершались в пространстве, другие во времени. Так что Первого и быть не могло. Всегда можно вернуться назад, туда, где еще никакого путешествия не было, и куда-нибудь

отправиться; тогда Первое путешествие станет вторым, и так без конца!

Ответ был верный. Но об этом все же знали несколько человек, правда, лишь самые близкие мои знакомые из тихологической группы профессора Тарантоги. Тогда я потребовал у него удостоверение личности. Бумаги оказались в порядке, но и это еще ничего не значило: документы нетрудно подделать. Правда, он поколебал мои сомнения тем, что мог напеть любую мелодию, которые я мурлычу только в ракете, один как перст; но я заметил, что в припеве «Метеориты, метеориты!» он невыносимо фальшивит. Я сообщил ему об этом, он обиделся и заявил, что это я вечно фальшивлю, а не он; разговор, поначалу вполне корректный, перешел в перебранку, потом в настоящий скандал, и наконец он так меня разозлил, что я велел ему убираться ко всем чертям. На самом деле я этого не хотел, сказано это было со злости, но он, не говоря ни слова, встал, поднялся наверх, вывел свой хроноцикл, уселся на него, как на велосипед, что-то там покрутил и в мгновение ока расплылся в туман или, скорее, в папиросный дымок. Минутой спустя и дымка исчезла — осталась только груда разбросанных по полу книг. Я остался в одиночестве, с довольно

глупой физиономией, ибо совсем этого не ожидал, но, когда он стал готовиться к отъезду, я уже не хотел уступать. После недолгого размышления я спустился опять в кухню, так как проболтали мы без малого три часа, и я снова проголодался. В холодильнике оставалось еще несколько яиц и кусочек грудинки, но едва я зажег газ и вылил яйца на сковороду, как сверху донесся страшный грохот.

Яичница пошла насмарку — грохот так меня испугал, что она вместе со шкварками опрокинулась прямо в пламя горелки, а я, ругаясь на чем свет стоит, через три ступеньки на четвертую помчался наверх.

На полках не было уже ни единой книги; то, что от них осталось, образовало большую кучу, а он в ней возился, вытаскивая из-под себя хроноцикл, придавленный при падении.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве.

— Сейчас объясню... погоди... — бормотал он, волоча хроноцикл к лампе. Затем внимательно осмотрел его, даже не думая извиняться за очередное вторжение.

Это мне уже и впрямь надоело.

— Не мешало бы вам объясниться!!! — гневно закричал я.

Он усмехнулся. Отодвинул хроноцикл, прислонил его к стене, поискал трубку, набил ее из моего кисета, закурил, заложив ногу на ногу, — и тут меня понесло.

— Наглец!!! — заорал я.

И хотя я не двинулся с места, все же твердо решил накостылять ему хорошенько. Шутки вздумал шутить — надо мной, в моем доме!

— Ерунда! — откликнулся он флегматично. Он явно не чувствовал себя виноватым. А ведь только что развалил стеллаж до последней доски! — Это нечаянно, — проговорил он, пуская дым изо рта. — Хроноцикл опять чуть промазал...

— Но зачем ты вернулся?

— Пришлось.

— Что значит «пришлось»?

— Мы, приятель, застряли во временном *кольце*, — сказал он спокойно. — Я опять буду тебя уговаривать стать директором. Если откажешься — уеду, но вскоре вернусь, и все начнется сначала.

— Не может быть! Неужели мы в замкнутом круговороте времени?

— В нем самом.

— Ложь! Если бы это было так, все наши разговоры и действия повторились бы точка в точку,

а то, что я теперь говорю и что говоришь ты, не совсем то, что было в первый раз!

— Много всяких побасенок рассказывают о путешествиях во времени, — ответил он, — а та, о которой ты упомянул, относится к самым нелепым. В замкнутом времени все будет происходить каждый раз *почти* так же, но не в *точности* так, потому что временная замкнутость, как и пространственная, не лишает свободы, а лишь сильно ее ограничивает! Если ты примешь мое предложение, то переместишься в 2661 год и тем самым кольцо превратится в открытую *петлю*. А если откажешься и снова меня прогонишь, я вернусь... и ты уже знаешь, что будет!

— Неужели другого выхода нет?! — вскипел я. — Ох, мне сразу подумалось, что за всем этим кроется какое-то мошенничество. Убирайся отсюда! Чтобы глаза мои больше тебя не видели!

— Не говори глупостей, — возразил он холодно. — Все происходящее зависит сейчас исключительно от тебя, а не от меня, потому что люди Розенбайсера замкнули, а лучше сказать, затянули временную петлю за нами обоими, и будем мы в ней болтаться, пока ты не станешь директором!

— Хорошенькое предложение! — воскликнул я.

— А если я тебе все кости переломаю?

— Тебе же придется залечивать их — в свое время. Не хочешь — не соглашайся: мы можем так развлекаться до самой могилы...

— Вот еще! Да я просто запру тебя в погребе и пойду, куда захочу!

— Раньше я тебя там запру, я ведь сильнее!

— Да-а?

— Ага. Я харчился в 2661 году, а тот харч куда здоровее нынешнего. Ты не устоишь против меня и минуты.

— Ну, это мы еще посмотрим... — угрожающе пробормотал я, вставая со стула.

Он даже не шелохнулся.

— Я знаю дзюрдзюдо, — хладнокровно заметил он.

— Что-что?

— Усовершенствованное дзюдо 2661 года. Я уложу тебя одной левой.

Я был чрезвычайно зол, но многолетний жизненный опыт научил меня сдерживать даже крайнее раздражение. Поэтому, поговорив с ним, то есть с собой, еще, я пришел к заключению, что и вправду другого выхода нет. К тому же историческая миссия, ожидавшая меня в будущем, отвечала и моей натуре, и моим взглядам. Возму-

щала только ее принудительность, но я понимал, что счеты надо сводить не с двойником — всего лишь простым орудием, а с теми, кто стоял за его спиной.

Он показал мне, как управлять хроноциклом, дал несколько практических советов, я уселся в седле и хотел ему еще сказать, чтобы прибрал после себя и вызвал столяра починить полки, но не успел — он уже нажал стартер. Мой двойник, свет ламп, комната — все исчезло как от дуновения ветра. Машина подо мною, этот металлический стержень с воронкообразной выхлопной трубой, сильно тряслась и иногда так подскакивала, что я вцеплялся изо всех сил в рукоятки, чтобы не вылететь из седла. Я ничего не видел вокруг, а только ощущал, будто по телу скребут проволочные щетки. Когда мне показалось, что скорость движения во времени слишком уж возросла, я потянул за тормоз, и тогда из черного провала стали проступать неотчетливые силуэты.

То были какие-то огромные здания, куполообразные и стрельчатые; я пролетал через них навылет, как ветер сквозь изгородь, и всякий раз, ожидая удара о стену, непроизвольно зажмуривался, а затем снова увеличивал скорость. Машину швыряло так, что голова у меня тряс-

лась, как кочан, а зубы вызванивали дробь. В какой-то момент я ощутил неясную еще перемену, меня окружало что-то вязкое, липкое, словно загустевающий сироп; я будто продирался сквозь преграду, которая — как знать? — станет моей могилой, и, увязнув в бетоне, застыну я вместе с хроноциклом вроде диковинной мухи в янтаре. Но снова меня рвануло вперед, хроноцикл затрясся, и я упал на что-то эластичное, поддавшееся подо мной и мягко заколыхавшееся. Машина выскользнула из-под меня, в глаза плеснул яркий свет, и я зажмурился, ослепленный.

Когда я открыл глаза, со всех сторон несся гул голосов. Я лежал посреди большого мата из пенопласта, разрисованного концентрическими окружностями, точь-в-точь как стрелковая мишень; опрокинувшийся хроноцикл покоился чуть поодаль, а вокруг меня столпились десятки людей в сверкающих комбинезонах. Низенький, лысоватый блондин шагнул на мат, помог мне подняться и несколько раз встряхнул мне руку со словами:

— Приветствую вас от всего сердца! Розенбайсер.

— Тихий! — ответил я машинально.

Я осмотрелся. Мы стояли в огромном, как город,

зале без окон, с высоким потолком небесного цвета. Один за другим рядами тянулись щиты, такие же, как тот, на котором я приземлился; одни пустовали, на других шла какая-то работа. Не скрою, я заготовил пару язвительных замечаний в адрес Розенбайсера и других творцов темпорального сачка, которым они вытащили меня из дому, но промолчал, ибо внезапно до меня дошло, на что похож этот огромный зал — на гигантский павильон для киносъемок. Мимо нас прошли трое в доспехах, передний из них — с павлиньим пером на шишаке и с позолоченным щитом в руке. Ассистенты поправляли ему нагрудную пластину с эмблемой, отделанную самоцветами, врач делал укол в обнаженное предплечье, кто-то поспешно застегивал какие-то скрепы на панцире; ему вручили тяжелый двуручный меч и широкий плащ, затканный гербами с грифонами. Два его спутника в простых латах, верно, оруженосцы, уже усаживались в седла хроноцикла в центре мишени. Заговорил мегафон: «Внимание... двадцать... девятнадцать... восемнадцать...»

— Что это? — спросил я, сбитый с толку, потому что тут же рядом, в нескольких шагах, тянулась вереница худющих людей в огромных белых тюрбанах; им тоже делали уколы, а с одним ру-

гался техник, так как обнаружилось, что путник припрятал под бурнусом небольшой пистолет. Я видел раскрашенных в боевые цвета индейцев со свежезаточенными томагавками, ассистенты лихорадочно поправляли им уборы из перьев, а тем временем служитель в белом халате толкал к другой мишени маленькую деревянную тележку с невообразимо грязным, оборванным, безногим нищим, как две капли воды похожим на чудовищных калек Брейгеля.

— Ноль! — оповестил мегафон.

Тройка латников исчезла вместе с хроноциклом в небольшой вспышке, которая рассеялась в воздухе белесым дымом, подобно вспыхнувшему магнию; это мне было уже знакомо.

— Наши анкетёры, — пояснил Розенбайсер. — Изучают общественное мнение разных эпох. Статистика, так сказать, информационный материал, не более: мы не начинали еще никаких исправительных работ — ждали вас!

Он показал рукой дорогу и пошел за мной сам; я слышал предстартовый отсчет секунд, то тут, то там что-то вспыхивало, змеились полоски белесого дыма, очередные партии исследователей исчезали, а на смену им появлялись новые, прямо как в огромной киностудии на съемках

исторической супердряни. Я понял, что забирать с собой предметы из будущего запрещено, и все же анкетёры норовили их протащить, то ли из упрямства, то ли для собственной пользы; про себя я решил навести здесь порядок железной рукой, но вслух спросил только:

— И долго продолжается такой сбор данных? Когда возвратится тот вояка с оруженосцами?

— Держимся в рамках плана, — ответил с самодовольной улыбкой Розенбайсер. — Те трое вернулись еще *вчера*.

Я промолчал, а про себя подумал, что нелегко мне будет привыкнуть к условиям жизни в хрономобильной цивилизации.

Поскольку лабораторный электромобиль, который должен был перевезти нас в дирекцию, сломался, Розенбайсер велел нескольким анкетёрам-бедуинам слезть с верблюдов; на этом неожиданном транспортном средстве мы добрались до места.

Кабинет у меня был огромный, обставленный в современном стиле. «Современный» означает прозрачный, и это еще слабо сказано: большинство кресел не было видно совсем, а плоскость крышки стола обозначали лишь кипы бумаг, так что, читая, я натыкался взглядом на полоски

собственных брюк, и их вид мешал мне сосредоточиться. Впоследствии я распорядился покрасить всю мебель, чтобы сделать ее непрозрачной. Оказалось, однако, что она имеет совершенно дурацкий вид, поскольку для рассматривания не предназначалась. Я заменил ее старинным гарнитуром второй половины XXIII века и лишь тогда почувствовал себя вполне по-людски. Упоминая об этих пустяках, я несколько забегаю вперед, чтобы уже здесь отметить недоработки Проекта. Надо признаться, что мое директорское житье было бы просто райским, если бы не выходило за рамки мебельно-декораторских проблем.

Потребовалась бы целая энциклопедия, чтобы отразить все свершения Проекта, осуществленные под моим руководством. Здесь я лишь самым кратким образом опишу главные этапы работы. Организация имела как бы двойную структуру. Под моим началом был ОТК (Отдел Технологии Календаря) с подотделами дисперсионной и ударно-квантовой темпористики, а также Исторический отдел, поделенный на Человеческий и Нечеловеческий секторы. Шефом технологов был доктор Р. Бошкович, а историотворцами заведовал П. Латтон. Кроме того, в моем личном распоряжении находились отряды хронопехоты

и хронодесантников (хроношютистов), а также аппарат контроля и бригада аварийного снятия с тронов. Эти авральные подразделения, нечто вроде пожарных команд на случай непредвиденных и угрожающих ситуаций, сокращенно именовались МОИРАми (Мобильными Инспекциями Рассасывания Аномалий). К моему прибытию технологи-временщики были готовы широким фронтом развернуть телехронные операции, а в секторе Человеческих дел (завсектором доц. Гарри С. Тотель) специалисты подготовили сотни ГАРЕМов (Гармонограммы Регулируемой Модернизации). Одновременно сектор Нечеловеческих дел (инженер-телотворитель О. Годлей) разрабатывал варианты исправления Солнечной системы (то есть Земли и других планет), хода Эволюции Жизни, антропогенеза и т. д. От всех перечисленных здесь подчиненных мне пришлось поочередно избавиться; с каждым из них в моей памяти связана какая-нибудь неприятность, губительная для Проекта, и я расскажу о них в положенном месте и времени, чтобы человечество знало, кому оно обязано своими передрягами.

Поначалу я был полон самых радужных надежд. Пройдя ускоренный курс основ телехронии и хро-

номутации, разобравшись в организационных вопросах (компетенция ведомств, разделение обязанностей между ними и т. д.) и ухитрившись уже на этом этапе разругаться с главбухом Ев. Клидом, я осознал в полной мере, насколько титаническую возложил на себя задачу. Наука XXVII века предоставила в мое распоряжение различные технологии действий во времени, моего решения ожидали сотни планов исправления истории. За каждым из них стояли познания и авторитет крупнейших специалистов, и из всего этого embarras de richesse[16] мне надлежало выбирать. Ибо не было еще общего согласия ни о том, *каким именно* способом улучшать прошлое, ни о том, с каких веков начать и сколько вмешательств предпринять.

На первой стадии работ, отмеченной всеобщим энтузиазмом, мы решили пока не касаться истории человечества, а сначала подчистить то, что этой истории намного предшествовало. Наша монументально задуманная программа среди прочего предусматривала девулканизацию планет, выпрямление земной оси, подготовку на Марсе и Венере благоприятных условий для буду-

[16] Примечания: 16
Здесь: избыток возможностей (*фр.*).

щей колонизации, причем Луне отводилась роль трамплина, или промежуточной станции, для эмиграционной космонавтики, которая должна была возникнуть три-четыре миллиарда лет спустя. И вот, во имя Лучшего Прошлого, я приказал запустить Генератор Заданной Изохронной Системы (ГЕНЕЗИС). На стартовых площадках имелось три их типа — БРЕКЕКЕК, КОАКС и КВАК. Уж не помню в точности, что означали эти сокращения; кажется, КОАКС действовал коаксиально, а КВАК осуществлял Квантовую Коррекцию.

Результаты пуска превзошли самые худшие ожидания: авария шла за аварией. Вместо того чтобы плавно затормозить и синхронизироваться с нормальным течением времени, КВАК взрывообразно выжег Марс, превратив его в сплошную пустыню; все океаны испарились и улетели в мировое пространство, а спекшаяся корка планеты потрескалась, образовав неестественную сеть рвов шириною в сотни миль. Отсюда появилась в XIX веке гипотеза марсианских каналов. Не желая, чтобы молодое человечество натолкнулось на наше художество (это могло бы породить в нем вредные комплексы), я велел все каналы аккуратненько зацементировать, что инж. Лаваш и сделал около 1910 года. Поздней-

ших астрономов не удивило их исчезновение, они отнесли каналы на счет оптического обмана у предшественников.

В КОАКСе, предназначавшемся для жизнетворения на Венере, отказали ЗАДы (Запасные Диссипаторы), хотя он и был подстрахован АМУРами (Амортизаторы Ускоренной Редупликации), и всю Венеру окутала ядовитая атмосфера, возникшая в результате хроноклазма. Инженера Бесшабашного, ответственного за это мероприятие, я снял с должности, но, уступив ходатайству Ученого совета, разрешил ему довести эксперимент до конца. На этот раз произошла не просто авария, а катастрофа космического масштаба; БРЕКЕКЕК, разогнавшись против хода времени, улетел в прошлое на 6,5 миллиарда лет и врезался в бытие так близко от Солнца, что вырвал из него громадный клок звездной материи, которая, сгустившись под действием сил тяготения, дала начало планетам.

Бесшабашный пытался оправдываться, упирая на то, что благодаря ему образовалась Солнечная система, ведь если бы не поломка времянаводящей головки, вероятность возникновения планет практически равнялась бы нулю. Впоследствии астрономы гадали, как звезда смогла пройти

так близко от Солнца, что ей удалось вырвать из него протопланетную материю; и в самом деле, столь тесные сближения звезд относятся к числу событий, почти невозможных. Я окончательно отстранил наглеца от руководства технохроникой, поскольку не в том видел смысл и цель Проекта, чтобы такие вещи делались *нечаянно*, по небрежности и недосмотру. Если на то пошло, мы сумели бы сформировать планеты значительно аккуратнее. Словом, Техническому отделу после опустошения Венеры и Марса похвастаться было нечем.

На повестке дня еще оставался план выправления оси вращения Земли. Речь шла о том, чтобы создать на Земле более равномерный климат, без полярных морозов и экваториальной жары. Гуманная цель этой акции заключалась в том, чтобы помочь большему числу видов выжить в борьбе за существование, но результат оказался прямо противоположным ожидавшемуся. Инженер Ганс-Якоб Плётцлих вызвал грандиознейший ледниковый период кембрийской эпохи, взорвав мощное «спрямляющее» устройство, которое дало земной оси чувствительный тычок. Первое оледенение, не остудив опрометчивого временщика, стало косвенной причиной второго:

увидев плоды своих деяний, инж. Плётцлих без моего ведома подпалил еще один «коррекционный» заряд. В результате возник хроноклазм и началась новая ледниковая эпоха, на этот раз в плейстоцене.

Прежде чем я снял его с должности, этот упрямец умудрился устроить третью хроноколлизию; с тех пор, по его милости, магнитный полюс Земли не совпадает с осью вращения, ибо планета, раскачавшись, до сих пор не может остановиться. Один временной осколок «оптимизатора» влетел в миллионный год до нашей эры; теперь на этом месте красуется Большой Аризонский кратер. По счастью, обошлось без жертв, так как людей тогда еще не было; сгорел только лес. Другой обломок затормозил лишь в 1908 году — современники знают его как «падение Тунгусского метеорита». Как видим, это были вовсе не метеориты, а разлетевшиеся во времени куски неуклюже сработанного «оптимизатора». Невзирая ни на чье заступничество, я выгнал Плётцлиха с работы, а когда его застали ночью в хроноратории (мучаясь угрызениями совести, он хотел — вы только представьте себе! — «поправить» содеянное), я потребовал для него в качестве меры наказания полного изъятия из времени.

В конце концов, уступив нашептываниям Розенбайсера (о чем теперь сожалею), я взял на вакантное место инженера Диндалла. Я не догадывался, что это свояк профессора. Последствия кумовства, в насаждении которого я невольно участвовал, не заставили себя ждать. Диндалл был изобретателем ТОРМОЗа (Торсионно-Молекулярного Замедлителя), впоследствии усовершенствованного хроноинженером Филлоном. Они рассуждали так: поскольку при хроноклазмах высвобождается чудовищная, гигахронная энергия, лучше превратить ее в чистое излучение, нежели допустить образование взрывной волны (вроде той, что выжгла Марс). Эта недоработанная идея (благие намерения не в счет!) стоила мне многих огорчений. ТОРМОЗ и в самом деле преобразовывал кинетическую энергию в радиационную, но какой в этом смысл, если от этого излучения в самый разгар мезозоя начисто вымерли все звероящеры и бог знает сколько еще других видов?!

Филлон утверждал, что в этом не было ничего плохого, поскольку *благодаря ему* на опустевшую сцену эволюционного процесса вышли млекопитающие, от которых произошел человек. Как будто это было предрешено! Устроив звероцид,

нас лишили свободы антропогенетического маневра, да еще требовали за это похвал! Диндалл сделал вид, будто сожалеет о случившемся, и даже выступил с самокритикой; но то, что он будто бы добровольно подал в отставку, — неправда. На самом деле это я заявил Розенбайсеру, что, пока его свояк остается в Проекте, ноги моей не будет в дирекции.

После серии неудач я собрал весь коллектив и предупредил, что отныне буду вынужден прибегнуть к драконовским мерам против всех, кто нарушает безопасность прошлого, и что виновный уже не отделается потерей насиженного местечка! Говорят, что аварии вполне извинительны и даже неизбежны при освоении столь беспрецедентной технологии: в свое время, на заре космонавтики, сколько ракет разлетелось в куски! Однако эта мерка неприложима к нашей деятельности, разворачивающейся *во времени* и потому несравненно более опасной.

Ученый совет отрекомендовал мне нового времяведа, профессора Л. Нардо Д'Авинчи. Перед началом очередного эксперимента я предупредил его и Бошковича, что никакие силы не склонят меня к снисходительности в случае серьезных инцидентов, вызванных халатностью. Я показал

им докладные записки, представленные Ученому совету за моей спиной Бесшабашным, Филлоном и Диндаллом; записки, полные противоречий. Авторы то ссылались на объективные трудности, то пытались представить последствия своих ошибок как заслуги. Я предупредил их, что ошибаются те, кто считают меня профаном: знания четырех правил арифметики вполне достаточно для подсчета количества солнечной материи, изведенной без пользы. Взять хотя бы любую урановую планету — свалка отбросов, аммиачная клоака, непригодная для использования... На Марсе и Венере я тоже поставил крест и дал «добро» последней попытке исправления Солнечной системы. Программа предусматривала переделку Луны в оазис для притомившихся космонавтов будущего, а заодно — в пересадочную станцию на пути к Афине.

Вы не знаете, что такое Афина? Ничуть этому не удивляюсь. Усовершенствованием этой планеты занималась бригада Гештирнера, Старшита и Астрояни. Проект еще не видывал таких неумех. Подвел ТУМАН (Телехронная Установка Мюонного Автоматического Наведения), лопнул ЗАДОК (Запасной Диссипатор Острых Коллизий), и в результате Афина, до тех пор кружившая по орбите

между Землей и Марсом, разлетелась вдребезги — на девяносто тысяч осколков, из которых образовался так называемый Пояс Астероидов. Что касается Луны, то господа оптимизаторы буквально изуродовали ее поверхность. И как она еще не раскололась совсем! Так возникла известная головоломка для астрономов XIX и XX веков, которые никак не могли понять, откуда такое обилие кратеров, и придумали на этот счет две теории — вулканическую и метеоритную.

Смешные потуги! Автором мнимых вулканических кратеров является хроноинженер Гештирнер, ответственный за ЗАДОК, а создатель «метеоритных» кратеров — Астрояни, который прицелился в Афину три миллиарда лет назад и пустил ее в распыл; при этом выброс хроноклазма, болтаясь в пространстве, затормозил до предела осевое вращение Венеры и подбросил Марсу два неестественных спутника с их дурацким движением против всех правил. И уж чистым идиотизмом со стороны этого специалиста была переделка поверхности Луны в форменный артиллерийский полигон, на который в течение миллиарда лет сыпались обломки Афины. Один кусок хронотрактора, размазанного взрывом по отрезку в 2950000000 лет, достиг доисторических

времен, плюхнулся в земной океан и продырявил его дно, попутно затопив Атлантиду. Узнав об этом, я лично выгнал из Проекта виновников столь многоплановой катастрофы, а что касается ответственных за операцию в целом, то к ним я применил санкции в соответствии с моим вышеупомянутым решением. Апелляция к Ученому совету нисколько не помогла им.

Профессора Д'Авинчи я сослал в XV век, а Бошковича в XVIII, чтобы они не могли сойтись и плести интриги. Как известно, Леонардо да Винчи всю жизнь пытался соорудить себе хронопед, но безуспешно. Так называемые «геликоптеры» Леонардо и другие его машины, столь удивительные, что так и остались непонятыми современниками, были плодами неудачных попыток удрать из ссылки во времени.

Бошкович вел себя, можно сказать, рассудительнее. Это был человек необыкновенно одаренный, с аналитическим складом ума — как-никак математик по образованию. В XVIII веке он стал непризнанным мыслителем. Он пробовал популяризовать идеи теоретической физики, но никто из современников не понял ни слова в его трактатах. Чтобы смягчить горечь изгнания, я направил его в Рагузу (Дубровник), так как в душе

ему симпатизировал; однако я считал необходимым сурово карать ответственных лиц, несмотря на все возражения Ученого совета.

Итак, первая фаза Проекта кончилась полным провалом, и я наложил безусловное вето на продолжение каких бы то ни было испытаний в рамках программы ГЕНЕЗИС. И без того достаточно было загублено капиталовложений. Колоссальные пустоши на спутниках Юпитера, сожженный дотла Марс, дважды отравленная Венера, разрушенная Луна (так называемые масконы, концентрации массы под лунной поверхностью, — на самом деле глубоко зарывшиеся в грунт и вплавившиеся в лаву остатки головок ТУМАНа и ЗАДКа), перекошенная земная ось, дыра в океанском дне и, как следствие этого, все расширяющаяся трещина между Евразией и обеими Америками — таков не слишком утешительный баланс предпринятых операций. И все же я запретил себе предаваться унынию и предоставил арену для творческой оптимизации Историческому отделу.

Этот отдел, напомню, состоял из двух секторов: Человеческих дел (доц. Гарри С. Тотель) и Нечеловеческих дел (инж.-телотворитель Годлей); заведовал отделом профессор П. Латтон, который

с самого начала насторожил меня радикализмом и бескомпромиссностью своих взглядов. Поэтому я предпочел по-прежнему не трогать истории как таковой; начать надлежало с создания разумных особей, которые сами привели бы историю в цивилизованный вид. Итак, я умерил энтузиазм Латтона и Тотеля (что было непросто — уж больно им не терпелось заняться историоправством) и велел Годлею начать Эволюцию Жизни на Земле. Чтобы избежать упреков в стеснении свободы творчества, я предоставил проекту ГОПСА (HOPSA — Homo Perfectus Sapiens[17]) широкую автономию. Я лишь призвал руководство проекта (О. Годлея, Г. Омера, И. Босха, В. Эйка) учиться на ошибках Природы, которая испаскудила все живое и сама же забила всякой дрянью наиболее перспективные пути, ведущие к Разуму; впрочем, винить за это ее не приходится, ведь действовала она вслепую, бездумно. Мы же должны работать *по плану*, не упуская из виду цели, то бишь ГОПСА. Временщики обещали следовать моим указаниям, поручились за успех и приступили к работе.

Дав им свободу действий, я уже не вмешивался и не контролировал их в течение полутора мил-

[17] Примечания: 17
Человек разумный совершенный (*лат.*).

лиардов лет, но горы получаемых мной анонимок побудили меня провести переучет. От увиденного волосы встали дыбом. Первые четыреста миллионов лет они забавлялись, как дети, пуская в воду панцирных рыбок и трилобитов; а потом, заметив, как мало времени осталось до конца миллиардолетки, ударились в штурмовщину. Монтировали элементы ни в склад ни в лад, одни диковиннее других; то выпускали горы мяса на четвереньках, то одни лишь хвосты, то какую-то пыльцу; одних зверюг выкладывали брусчаткой, другим втыкали куда попало рога, клыки, хоботы, щупальца. И до того это выглядело уродливо, омерзительно, бестолково, что страшно было смотреть: сплошной абстракционизм и формализм под флагом воинствующего антиэстетизма.

Их самодовольство привело меня в бешенство, а они утверждали, что времена прилизанных творений прошли, я, мол, ничего не смыслю, «не чувствую формы» и т. д. Я промолчал; ах, если бы этим они ограничились! Да где там! В этом избранном коллективе все норовили подложить друг другу свинью. Никто и не думал о Человеке Разумном, а только о том, как бы завалить проект товарища по работе; стоило кому-нибудь внедрить в Природу свой образец, как сослуживцы

уже мастерили монстра, спроектированного с таким расчетом, чтобы загрызть и дискредитировать изделие конкурента. То, что назвали «борьбой за существование», проистекало из зависти и интриганства. Когти и клыки Эволюции — результат отношений, сложившихся в секторе Нечеловеческих дел. Вместо сотрудничества я увидел дикое разбазаривание средств и подсиживание сослуживцев, и больше всех радовался тот, кому удавалось прихлопнуть дальнейшее развитие на линии, порученной смежникам. Отсюда столько тупиковых ветвей на Древе Жизни. Что я говорю — жизни; они устроили что-то среднее между паноптикумом и погостом. Не освоив средства, выделенные на один образец, запускали в работу следующий; бездарно растранжирили шансы двоякодышащих, а потом и членистоногих, загубив их трахеями; век пара и электричества вовсе не наступил бы, если б не я: они просто-напросто забыли о каменноугольном периоде, то есть о посадке деревьев, из которых предстояло возникнуть углю для паровых машин.

Во время ревизии я буквально рвал на себе волосы: планета была усеяна монстрами и кадаврами, причем особенно озоровал Босх. Когда я спросил

его, кому нужен этот Rhamphorhynchus[18] с хвостом, украденным у детского воздушного змея, и не стыдно ли ему за Proboscidea[19], и зачем на спине у ящериц шипы частоколом, он ответил, что мне не понять творческой страсти. Тогда я потребовал показать, *где* в таком случае намечено возникновение Разума; вопрос, конечно, был риторическим — ведь они друг другу наглухо заколотили все обещавшие успех направления. Я не навязывал им готовых решений, однако в самом начале упомянул о птицах, в частности, об орлах; между тем они все летающее снабдили крошечными головками, а все бегающее (например, страусов) довели до полного кретинизма. Оставались лишь две возможности: либо изготовление Человека Разумного из маргинальных отходов, либо так называемая пробивная эволюция, то есть силовая расчистка закупоренных линий развития. Но пробивной вариант исключался: палеонтологи, обнаружив столь явное вмешательство, сочли бы его *чудодейственным*, а я давно запретил всякое чудотворство, дабы не сбивать с толку грядущие поколения.

---

[18] Примечания: 18
Подотряд птеродактилей (*лат.*).

[19] Примечания: 19
Хоботные (*лат.*).

Оголтелых конструкторов я отправил на все четыре стороны, то бишь во все времена; кончилось это гекатомбами их недоношенных творений, сдыхавших целыми миллионами. Утверждают, будто именно я велел истребить все эти виды, — гнусный навет, каких я немало наслушался! Нет, не я передвигал жизнь, словно шкаф, из угла в угол эволюционного процесса, не я удвоил хобот у амебододона, не я раздул верблюда (giganto camelus) до размеров слона, не я забавлялся китами, не я довел мамонтов до самоистребления — я жил идеей Проекта, а не распутной забавой, в которую подручные Годлея превратили Эволюцию. Эйка и Босха я сослал в средневековье, а Омера, вздумавшего пародировать тему ГОПСА (так появились людоконь и рыбаба, да еще с оперным *сопрано*), — еще дальше, в древнюю Фракию. И снова случилось то, с чем мне не раз пришлось столкнуться впоследствии. Изгнанники, лишившись своих постов и возможности творить реально, переключились на суррогатное творчество. Если вам интересно, что еще было в запасе у Босха, присмотритесь к его картинам. Не спорю, это был огромный талант, он ловко сообразовывался с духом эпохи; отсюда религиозная тематика его полотен, все эти Страшные суды

и преисподнии. Впрочем, и Босх порой выдавал себя. В «Саду земных наслаждений», в «музыкальном аду» (правое крыло триптиха), точно посередине стоит двенадцатиместный хронобус. Ну, что я тут мог поделать?

Что же касается Г. Омера, то я не ошибся, пожалуй, сослав его, вслед за его творениями, в Древнюю Грецию. Все нарисованное им погибло, но его сочинения сохранились. Не знаю, почему никто не заметил в них массы анахронизмов. Разве не видно, что он не принимал всерьез обитателей Олимпа, которые друг друга подсиживают, то есть ведут себя в точности так же, как его коллеги по Институту? Персонажи «Илиады» и «Одиссеи» списаны с реальных лиц, а холерик Зевс — пасквиль на меня самого.

Годлея я уволил не сразу: за него заступился Розенбайсер. «Если этот человек подведет, — сказал он, — можете сослать меня, научного директора Проекта, прямо в археозой». Годлей, по слухам, утаивал производственные резервы, а так как я возражал против идеи использования обезьяноподобных отходов, он запустил проект ТРУБА (Трансгрессивное Удвоение Биологического Антропогенеза). Я не верил в эту ТРУБУ, но не стал возражать — и без того поговаривали, что я рад

удушить в зародыше любые проекты. Очередная контрольная проверка показала, что Годлей запустил в океан парочку небольших млекопитающих, придал им рыбьи черты, приделал ко лбу радар и таким образом дошел уже до стадии дельфина. Он вбил себе в голову, что для полной гармонии необходимы два разумных вида: сухопутный и водный. Что за вздор! Ведь конфликт в таком случае обеспечен! Я сказал ему: «Никакого разумного подводного существа *не будет*!» Так что дельфин остался как есть, с мозгом на вырост, а мы очутились в кризисе.

Что было делать? Начинать эволюцию еще раз, сначала? На это у меня не хватило бы нервов. И я позволил Годлею действовать по своему усмотрению, то есть утвердил обезьяну в качестве полуфабриката, обязав его, однако, облагородить модель; а чтобы он не смог потом отвертеться, послал ему письменные указания, честь по чести, служебным порядком. Не вдаваясь в подробности, я тем не менее подчеркнул, что лысые ягодицы свидетельствуют о дурном вкусе, и отстаивал культурный подход к вопросам пола — что-нибудь вроде цветов, незабудок, бутончиков. Перед самым отъездом на Ученый совет я лично попросил его не изощряться на свой лад, а

поискать какие-нибудь красивые идеи. В мастерской у него царил страшный кавардак, кругом торчали какие-то рейки, бруски, пилы — и это в связи с любовью! Вы что, сказал я ему, с ума сошли — любовь по принципу дисковой пилы? Пришлось взять с него честное слово, что пилы никакой не будет. Он усердно поддакивал, а сам посмеивался в кулак: проведал уже, что приказ о его увольнении лежит у меня в столе, так что он ничем не рискует.

И вот он решил поступить мне назло и рассказывал каждому встречному, что у шефа (то есть у меня) по возвращении глаза полезут на лоб; и точно, меня бросило в дрожь. О Боже, о, силы небесные! Я срочно вызвал его; Годлей прикинулся послушным службистом: он-де придерживался указаний! Вместо того чтобы убрать мерзкую плешь на заду, он оголил обезьяну целиком, то есть сделал все наоборот; ну, а что до любви и пола, то иначе как саботажем этого не назовешь. Один только выбор места... Да что толковать об этой диверсии! Каждый видит, к чему она привела. Постарался господин инженер... Какие ни есть, эти обезьяны были хотя бы вегетарианками. А он сделал их плотоядными.

Я срочно созвал Ученый совет и поставил

вопрос о добротизации гомо сапиенса. Но мне отвечали, что сделанного не исправишь в момент: пришлось бы аннулировать двадцать пять миллионов лет, а то и все тридцать. Совет проголосовал против, я не воспользовался правом вето, может, и зря, но я уже просто валился с ног. А тут еще поступили сигналы из XVIII и XIX столетий: сообщалось, что сотрудники МОИРЫ, которым надоело мотаться во времени туда и обратно, устроили себе резиденции в старых замках, дворцах, подземельях, совершенно не заботясь о конспирации, в результате чего пошли разговоры о проклятых душах, о звоне цепей (шумы запускаемого хроноцикла), о привидениях (моировцы носили белый мундир, словно не могли подобрать лучшего цвета); они заморочили людям головы, напугали их прохождением сквозь стены (отъезд во времени всегда так выглядит, ведь хроноцикл стоит, а Земля продолжает вращаться) — словом, набедокурили так, что отсюда родился Романтизм. Наказав виновных, я принялся за Годлея и Розенбайсера.

Я сослал их обоих, хотя понимал, что Ученый совет этого мне не простит. Впрочем, должен признать: Розенбайсер, который впоследствии поступил со мной безобразно, в ссылке вел себя

довольно прилично (в качестве Юлиана Отступника) и многое сделал для беднейших слоев населения Византии. Отсюда видно, что он не справился с должностью, потому что не дорос до нее. Управлять империей проще, чем заведовать исправленьем истории.

Так завершилась вторая фаза Проекта. Поскольку теперь мы могли улучшать только цивилизованную историю, я подключил к работе сектор социальных проблем. Видя, как сплоховали коллеги, Тотель и Латтон радостно потирали руки; однако оба они *заранее* предупредили (перестраховщики!), что, дескать, теперь, при *таком* гомо сапиенс, не приходится ожидать слишком многого от ТЕОГИПГИПа.

Осуществление первой экспериментальной программы Гарри С. Тотель поручил хрономонтерам. Звали их Канд-эль-Абр, Канн де ля Бре, Л. Юстр и А. Б. Жур. Непосредственным руководителем группы был инж.-историотворец Хемдрайсер. Он и его сотрудники разработали план ускоренной культурализации посредством интенсивной урбанизации. В Нижний Египет XII или XIII династии (не помню уже) забросили массу стройматериалов, а затем при помощи хрононаймитов, или, как у нас говорили, «вре-

мяжников», подняли уровень строительной технологии; увы, из-за недостаточного контроля не обошлось без ошибок и искривлений. Короче, вместо массового жилищного строительства началось возведение, в рамках культа личности, никому не нужных гробниц фараонов. Я сослал всю группу на Крит; так возник дворец Миноса. Не знаю, правду ли говорил Беттерпарт — дескать, ссыльные повздорили с прежним начальником, пошли на него всей оравой и заперли в лабиринте. В документацию я не заглядывал, так что, повторяю, не знаю точно; но Хемдрайсер был не больно-то похож на Минотавра.

Я решил искоренить партизанщину и потребовал комплексного подхода к проблеме. Следовало решить, явно или тайно мы действуем, то есть: можем ли мы позволить людям разных эпох догадаться, что кто-то им помогает за пределами их истории. Тотель, в общем и целом либерал, предпочитал криптохронию, я склонялся к тому же. Альтернативная стратегия предполагала явный Протекторат над народами Прошлого, а это не могло не вызвать у них ощущение гнетущей зависимости. Итак, надлежало действовать благодетельно, но тайно. Латтон против этого возражал: у него был собственный план идеального

государства, под который он хотел подогнать все народы и общества.

Я решил вопрос в пользу Тотеля, и он представил мне одного из самых молодых и способных своих сотрудников; этот его ассистент, магистр А. Донай, был изобретателем монотеизма. Господь Бог, объяснял он мне, в качестве чистой идеи никому не повредит, а нам, оптимизаторам, развяжет руки. В соответствии с идеей Проекта пути Господни неисповедимы: люди понять их не могут, так что не станут ни к чему придираться, а вместе с тем не заподозрят, что кто-то телехронически вмешивается в их историю. Это вроде бы звучало неплохо, но на всякий случай я выделил молодому магистру лишь маленький опытный полигон, да и тот в глухом захолустье мира, а именно в Палестине; так в его распоряжение попало племя иудеев. Помощником у него был инж.-историотворец И. Овв. Проверка показала, что ими допущены серьезные нарушения. Мало того, что Донай велел сбросить с небес 60 тысяч тонн манки во время одного из переходов евреев по пустыне; его «незаметная помощь» выразилась в стольких вмешательствах (он открывал и закрывал Красное море, насылал на врагов иудейского племени телеуправляемую саранчу),

что у подопечных молодого магистра ум за разум зашел и они возомнили себя богоизбранным народом.

Характерно, что стоило чьему-нибудь замыслу не оправдаться, как его автор, не желая сменить тактику, хватался за все более сильные материальные средства. А. Донай переплюнул всех — он применил напалм. Почему я разрешил? Наивный вопрос! Да разве он меня спрашивал? На институтском полигоне он показал лишь дистанционное воспламенение куста и уверял, что так же будет действовать в прошлом, — ну, сожжет парочку высохших кактусов в пустыне и все. Эти демонстрации, дескать, послужат лучшему усвоению нравственных норм. Я сослал его на Синай и строжайше запретил временным резидентам планировать операции со сверхъестественным прикрытием. Однако то, что уже успел натворить Донай вместе с Оввом, имело в истории свое продолжение.

И так всегда. Каждое телехронное вмешательство кладет начало лавине явлений, которую нельзя остановить, не прибегая к сильнодействующим средствам; а те, в свою очередь, вызывают следующую пертурбацию, и так без конца. А. Донай вел себя в ссылке совершенно неподоба-

ющим образом: он использовал к своей выгоде славу, приобретенную им в должности историотворца. Правда, он не мог уже творить «чудеса», но память о них сохранилась. Относительно И. Овва, я знаю, рассказывали, будто я насылал на него хронодесантников, но это клевета. Не знаю всех обстоятельств дела — в детали я не вникал; кажется, он рассорился с А. Донаем, и тот устроил ему такое, что впоследствии отсюда возникла легенда об Иове. Больше всех на этом эксперименте потеряли евреи, которые уверовали в свою исключительность, и, когда Проект свернули, немало пришлось им хлебнуть лиха как на родине, так и в рассеянии на чужбине. О том, что говорили по этому поводу мои недруги в Проекте, я умолчу.

Проект между тем переживал один тяжелейший кризис за другим. Я ответственен за них постольку, поскольку, уступив Тотелю и Латтону, разрешил улучшать историю на *широком фронте*, то есть не в отдельных местах и моментах, но на всем ее пространстве. Такая стратегия, называемая интегральной, привела к затемнению картины событий; чтобы овладеть ситуацией, я разместил в каждом столетии группы наблюдателей, а Латтону поручил создать тайную хронициюю

для борьбы с *временным* хулиганством.

Это хулиганство, которое не привиделось бы мне и в кошмарном сне, стало причиной пресловутой «метельной аферы». Она была делом кучки распоясавшихся юнцов, среди которых, увы, попадались наши курьеры, лаборанты, секретарши и прочий вспомогательный персонал. Множество средневековых побасенок о сношениях с дьяволом, об инкубах и суккубах, о шабашах ведьм, о злых чарах колдуний, искушениях святых и т. д. возникло под влиянием «дикого» хронотуризма, излюбленного занятия молодежи, лишенной моральных устоев. Индивидуальный хроноцикл представляет собой трубу с небольшим седлом и выхлопной воронкой, так что нетрудно принять его за метлу, тем более при недостаточном освещении. Юные срамницы вылетали на прогулки, преимущественно ночные, и пугали раннесредневековых селян, носясь над их головами на бреющем полете; к тому же у них хватало бесстыдства отправляться в XII или XIII век в полном дезабилье (топлесс). Неудивительно, что за неимением лучших определений в них видели голых ведьм верхом на метлах. По странному стечению обстоятельств в расследовании аферы и отыскании виновных мне помог И. Босх, уже

пребывавший в ссылке: он не терял присутствия духа при виде простого времяги и как живых изобразил в своем «адском» цикле отнюдь не чертей, а десятки нелегальных хроноциклистов. Это далось ему тем легче, что многих он знал лично.

Прикинув общее количество жертв хронолиганских выходок, я сослал безобразников на семьсот лет назад, в XX век («молодежные бунтари»). Между тем фронт работ расширился на сорок столетий с лишним; Н. Беттерпарт, главный руководитель МОИРЫ, заявил, что ситуация выходит из-под контроля, и потребовал подкреплений в виде аварийных бригад хроношютистов. Мы привлекли множество новых сотрудников, которых немедленно посылали туда, откуда поступали сигналы тревоги, хотя сплошь и рядом это были почти необученные кадры. Их концентрация в нескольких столетиях стала причиной серьезных инцидентов наподобие переселения народов. И как ни пытались мы замаскировать выброс каждого такого десанта, все же в XX веке (примерно в его середине) начались толки о «летающих тарелках», поскольку циркуляция слухов облегчалась возникшими к тому времени средствами массовой информации.

Но это был сущий пустяк по сравнению с новой

аферой, виновником, а затем и главным героем которой оказался сам шеф МОИРЫ. В хроношифровках сообщалось, что его люди не столько следят за ходом исправления истории, сколько сами включаются в исторический процесс, а вдобавок, игнорируя директивы Латтона и Тотеля, проводят собственную темпоральную политику; особенно в этом усердствует сам Беттерпарт. Не дожидаясь снятия с должности, он испарился, то есть бежал, в XVIII век, где мог рассчитывать на своих хроницейских, и не успел я оглянуться, как он уже был императором Франции. Столь гнусный поступок требовал сурового наказания; Латтон предложил бросить резервную бригаду на Версаль в 1807 году, но этот план был неприемлем, такое вторжение вызвало бы неслыханные пертурбации во всей позднейшей истории — человечество поняло бы, что находится под опекой. Более смышленый Тотель разработал план «естественного», то есть криптохронного, наказания Наполеона; началось сколачивание антинаполеоновской коалиции, военные походы и прочее; увы, шеф МОИРЫ сразу почуял, в чем дело, и перешел в наступление первым. Недаром он был профессиональным стратегом и теорию знал в совершенстве; он по очереди разбил всех врагов,

которых напускал на него Тотель. Одно время казалось, что в России ему крышка, но и оттуда он как-то выкарабкался, а между тем пол-Европы обратилось в руины и пепелище. Наконец, отодвинув в сторонку своих подчиненных-историотворцев, я сам разделался с Наполеоном. Впрочем, мне ли этим хвастаться!

С Эльбы Наполеон бежал потому, что я не успел позаботиться о более подходящем месте ссылки, заваленный множеством дел. Отныне виновные в служебных проступках, не ожидая дисциплинарных последствий, сами бежали в глубокое прошлое, провозя контрабандой средства для приобретения славы или ореола небывалого могущества (отсюда взялись алхимики, Калиостро, Симон-маг и десятки иных). До меня доходили слухи, проверить которые я не мог: например, будто бы Атлантида затоплена вовсе не в результате рикошета во время операции СОТВОРЕНИЕ, а по приказу д-ра Болоньи, умышленно, дабы помешать мне дознаться, что он там натворил. Словом, все валилось у меня из рук. Я уже не верил в успех и, что еще хуже, стал подозрителен. Поди разбери, где тут следствие оптимизации или, напротив, ее прекращения, а где — злостное самоуправство хроницейских, надзирающих за

данным столетием.

Я решил приняться за дело с другого конца. Взял «Всеобщую историю» в двенадцати томах и начал ее изучать; наткнувшись на что-нибудь подозрительное, тут же высылал мобильную инспекцию. Так, скажем, было с кардиналом Ришелье; наведя справки в МОИРЕ и убедившись, что это не наш агент, я велел Латтону послать туда толкового ревизора. Эту миссию он поручил некоему Райхплацу; что-то насторожило меня: я заглянул в словарь и остолбенел, убедившись, что Richelieu и Reichplatz значит одно и то же, а именно «богатое место». Но было поздно: Райхплац к тому времени втерся в высшие придворные сферы и стал серым кардиналом Людовика XIII. Я не тронул его; после наполеоновских войн я уже знал, чем кончаются такие попытки.

Тем временем назревала очередная проблема. Некоторые столетия просто кишели ссыльными; хрониция не могла уследить за всеми, кто мне назло распускал слухи, насаждал суеверия, а то и прямо пытался подкупить ревизоров. Тогда я начал отправлять всех, кто чем-нибудь проштрафился, в одно время и одно место, а именно в Древнюю Грецию. В результате именно там раньше всего развилась высокая культура; скажем,

в Афинах оказалось больше философов, чем во всей остальной Европе. Это было уже после высылки Латтона и Тотеля, которые злоупотребили моим доверием. Латтон, один из самых твердолобых радикалов, саботировал мои указания и проводил собственную политику (ее изложение содержится в его «Государстве»), крайне антидемократическую, мало того, притеснительную: взять хотя бы порядки в Срединной Империи, в Римской империи германской нации, а также кастовый строй в Индии. Даже то, что с 1868 года японцы верят в божественность микадо, — дело его рук. Но не поручусь, что именно он просватал некую Шикльгрубер, чтобы родился тот самый ребенок, который спалил пол-Европы. Это я слышал от Тотеля, а он Латтона недолюбливал.

Когда Латтон организовал государство ацтеков, Тотель послал туда испанцев. Получив в последний момент донесение МОИРЫ, я велел задержать экспедицию Колумба, а в Южной Америке тем временем развести лошадей: кавалерия Кортеса не устояла бы перед конницей индейцев. Но смежники подвели, лошади сдохли еще в четвертичный период, когда никакими индейцами и не пахло, и боевые повозки остались без конной тяги, хотя колеса были доставлены вовремя; что

же касается Колумба, то у него в 1492 году дело выгорело, потому что он подмазал кого следовало. Вот так выглядела пресловутая оптимизация. Мне вменяли в вину даже то, что я направил в Грецию Г. С. Тотеля и П. Латтона, как будто там без них не хватало философов. Клевета! Из чистого человеколюбия я разрешил им самим выбрать время и место ссылки. Правда, П. Латтона я поселил не совсем там, куда он просился, а в Сиракузах; я знал, что здесь, посреди непрерывных войн, он не сможет осуществить свою излюбленную идейку о «государстве философов».

Гарри С. Тотель, как известно, стал наставником юного Александра Македонского и допустил чудовищные по своим последствиям упущения, поскольку был просто помешан на составлении энциклопедий, построении классификаций и разработке общей методологии Теории Совершенного Проекта. Между тем у него за спиной творились жуткие вещи: главный бухгалтер сбежал накануне ревизии, потом, сговорившись со знакомым аквалангистом, выловил золото Монтесумы, затопленное в канале во время бегства отряда Кортеса, и в 1922 году они на пару пустились в биржевую игру; краденое не впрок, и дело кончилось знаменитым биржевым крахом

1929 года. Не думаю, будто я был несправедлив к Аристотелю, — кому как не мне обязан он славой, которой никак не заслуживал за массу проколов в Проекте? Еще говорили, будто под видом ссылок и ротации персонала я развел кумовщину и кадровую чехарду и всегда был готов подыскать для старых дружков теплое местечко в каком угодно столетии. Словом, на меня вешали всех собак, всякое лыко ставили мне в строку.

Не буду вдаваться в детали и умолчу о намеках на мою особу, которых полно у Платона и Аристотеля. Они, понятно, не питали ко мне благодарности за ссылку, но я оставлял без внимания чей бы то ни было ропот, коль скоро решалась судьба человечества. Другое дело — Греция; ее упадок я пережил тяжело. Неправда, будто я сам вызвал его массовым производством философов; все дело в том, что Латтон протежировал эллинам из-за Спарты, мечтая устроить ее на манер своей заветной утопии, а так как после его увольнения никто спартанцам не помогал, те не устояли перед иноземным нашествием. Но что я мог сделать? Локальный протекционизм исключался, ведь мы обязаны были окружить заботой *все* человечество; а между тем проблема ссылок расстраивала самые грандиозные планы.

В будущее я никого сослать не мог — там за этим следили; провинившиеся все как один рвались на Лазурный берег, и мне приходилось уступать. Множество лиц с высшим образованием сконцентрировалось в Средиземноморском бассейне, и именно там начался подъем западной цивилизации, а потом и культуры.

Что до Спинозы, то он, не спорю, был безусловно порядочный человек, однако по недосмотру допустил крестовые походы. Спиноза занял вакансию после Латтона. Хотя сам он обладал кристально чистым характером, однако, ввиду феноменальной рассеянности, подмахивал бумаги не глядя и предоставил неограниченные полномочия Левенгерцу (Львиному Сердцу). Кто-то там в XII веке набедокурил, начались поиски виновного, Левенгерц бросал туда тайных агентов целыми хронобусами, и разыскиваемый — не помню, кто именно, — спровоцировал крестовые походы, чтобы затеряться в возникшей неразберихе. Я не знал, как быть со Спинозой — Греция уже трещала по швам от подобных мыслителей, — и сначала велел гонять его взад-вперед через все столетия с сорокавековой амплитудой; отсюда возникла легенда о Вечном жиде. Но при всяком прохождении через наше время он донимал

меня жалобами; в конце концов я направил его в Амстердам — он любил мастерить, а там мог заняться шлифовкой линз.

Меня часто спрашивали, почему никто из ссыльных не признался, откуда он прибыл. Поглядел бы я тогда на него! Такой правдолюбец мигом очутился бы в желтом доме. Разве не сочли бы до XX века сумасшедшим человека, утверждающего, что из обычной воды можно сделать бомбу, способную разнести весь мир на куски? А ведь вплоть до XXIII века хронавигация была неизвестна. К тому же стало бы ясно, что многие ссыльные прославились благодаря плагиату. Предсказывать будущее им запрещалось, и все же они проболтались о многом. В средневековье на это, слава Богу, внимания не обращали (хотя Бэкон, к примеру, упоминает о реактивных самолетах и батискафах, а Луллий в «Великом искусстве» — о компьютерах). Хуже обстояло дело с неосмотрительно сосланными в XX век: назвавшись «футурологами», они начали выбалтывать служебные тайны.

По счастью, А. Тила, возглавивший МОИРУ после Беттерпарта, применил тактику, известную под названием «вавилонской». Дело обстояло так: шестнадцать хроноконструкторов, сосланных в

Месопотамию, решили бежать по хронопроводу, который и начали строить под видом какой-то башни; ее название (ВАВИЛОНская) было зашифрованным лозунгом заговора: «Возведем Агрегат Возвращения Из Лихой Окаянной Неволи». МОИРА, которая засекла их проект на довольно далеко продвинутой стадии, внедрила туда своих людей под видом «новых ссыльных», а те умышленно внесли в конструкцию такие ошибки, что агрегат развалился сразу же после пуска. Этот маневр («Смешение языков») Тила применил еще раз, внедрив в ряды футурологов некоего Маклюэна, нашего тайного агента, и, забросив диверсионные группы в XX век, они дискредитировали оракулов будущего, сочиняя всевозможные бредни (пресловутая «научная фантастика»).

Правда, прочитав подготовленные МОИРОЙ нелепицы, которые Маклюэну поручалось распространять под видом «прогнозов», я схватился за голову: невозможно было поверить, что кто-либо в здравом уме хоть на секунду примет всерьез байки о «глобальной деревне», в которую будто бы превращается мир, и прочий вздор, содержавшийся в этом паштете. И что же? Маклюэн произвел куда больший фурор, чем эксперты,

выбалтывавшие чистую правду: он настолько прославился, что под конец, похоже, и сам уверовал в несуразицы, которые ему велено было распространять. Его мы, впрочем, не тронули, он нам ничуть не мешал. А вот что касается Свифта с его «Путешествиями Гулливера» (где черным по белому написано о двух маленьких спутниках Марса со всеми элементами их орбит, которых никто не мог знать в ту эпоху), то это — следствие глупой промашки. Элементы этих орбит служили паролем для группы наших инспекторов в Южной Англии, и один из них, встретив в трактире Свифта, по близорукости принял его за нового агента, явка с которым была назначена. В рапорте он умолчал об ошибке, решив, что Свифт все равно ничего не поймет; а несколько лет спустя (1726) в первом издании «Путешествий Гулливера» мы прочитали об обоих спутниках Марса. Пароль немедля сменили, но это место осталось в книге уже навсегда.

Подобные промахи особого значения для истории не имели, другое дело — Платон; я не могу без жалости читать его повествование о пещере, где он сидит спиной к свету, созерцая лишь тени на стенах. Неудивительно, что XXVII столетие представлялось ему единственной настоящей ре-

альностью, а примитивное время, в которое я его сослал, — лишь «темной пещерой». А его учение о познании, которое будто бы сводится к «припоминанию» того, что когда-то, «до жизни», он знал гораздо *лучше*?! Ведь это еще более ясный намек!

Между тем на мою голову сваливались заботы одна другой тяжелее. Пришлось сослать Тилу — за то, что он помог Наполеону бежать с Эльбы; на этот раз местом ссылки я выбрал Монголию, поскольку Тила в ярости угрожал, что, дескать, я еще попомню его. Я не представлял себе, что можно сделать особенного среди этих каменистых пустынь; и все же он сдержал слово. Видя, что творится, конструкторы лезли из кожи, предлагая проекты один чуднее другого: скажем, снабжать нуждающиеся народы товарами широкого потребления по хронопроводам. Но ведь это пресекло бы всякий прогресс! Или еще: взять из нашего времени миллион просвещенных граждан и десантировать в палеолит. Отличная мысль, но куда бы я дел человечество, уже сидящее там по пещерам?

Чтение этих проектов возбудило во мне подозрения при ревизии XX века. Уж не подбрасывали ли туда средства массового уничтожения? По слухам, несколько радикалов в Институте хоте-

ли свернуть время в кольцо, чтобы новейшая история где-то после XXI века срослась с предысторией. Тем самым все опять началось бы сначала, но лучше, чем раньше. Идея безумная, бредовая, фантастическая, но я как будто замечал признаки соответствующих приготовлений. Сворачивание в кольцо требовало предварительного разрушения существующей цивилизации, «возврата к Природе», и действительно, с середины XX века вошли в обычай похищения, терроризм и общее одичание; молодежь стремительно олохмачивалась, эротика оскотинивалась, орды заросших оборванцев рычанием возносили хвалу уже не Солнцу, а каким-то Сверхновым (Superstars), повсюду звучали призывы к разрушению техники и науки; даже футурологи со степенью возвещали — по чьему наущению?! — неминуемую катастрофу, упадок, конец; кое-где уже рыли пещеры, именуя их — не иначе как для отвода глаз — убежищами.

Я решил повнимательней приглядеться к позднейшим векам — уж слишком все это попахивало подготовкой переворота, разворота времени вспять в духе идеи кольца, и тут получил приглашение на Ученый совет. Друзья по секрету сказали, что готовится судилище надо

мной. Это не заставило меня забыть о служебных обязанностях. Последним рассмотренным мною вопросом было дело некоего Аделя, служащего аппарата контроля; он привез себе из XII века девушку, похитив ее среди бела дня на глазах у толпы, — просто схватил ее и усадил в хроноцикл. Девушку объявили святой, а похищение во времени — вознесением. Адель был грубиян и тиран, к тому же страховидной наружности, с глубоко посаженными глазками и тяжелым подбородком, — вылитая горилла, и я бы давно его выгнал, если бы не боялся обвинений в личной неприязни. Но теперь я сослал его, да на всякий случай подальше — на шестьдесят пять тысяч лет назад; он стал пещерным Казановой и прародителем неандертальцев.

На Совет я явился с высоко поднятой головой, ибо никакой вины за собою не чувствовал. Заседание продолжалось десять часов с лишним, и уж чего я там не наслушался! Меня порицали за самоуправство, помыкание учеными, наплевательское отношение к мнению экспертов, за потакание Греции, за упадок Рима, за дело Цезаря (еще одна клевета: никакого Брута я никуда не посылал), за аферу Райхплаца (он же кардинал Ришелье), за злоупотребления в ведомстве

МОИРЫ и тайной хрониции, за пап и антипап (на самом же деле «мрак средневековья» целиком на совести Беттерпарта; следуя своему излюбленному «правилу сильной руки», он рассовал между VIII и XIII веками столько соглядатаев, что доносительство задавило культуру).

Зачитывание обвинительного заключения — в сумме семь тысяч параграфов — свелось, по сути, к пересказу учебника всеобщей истории. Я должен был отвечать за А. Доная, за неопалимую купину, за Содом и Гоморру, за викингов, за колеса боевых малоазийских повозок, за *отсутствие* колес у южноамериканских повозок, за крестовые походы, за резню альбигойцев, за Бертольда Шварца с его порохом (а куда его надо было сослать? в древний мир, чтобы уже там палили картечью?) и так далее, без конца. Теперь все было не по душе почтенному Совету — и Реформация, и Контрреформация; а те, кто прежде лез ко мне именно с *этими* якобы спасительными проектами (Розенбайсер чуть ли не на коленях просил разрешения на Реформацию), теперь как воды в рот набрали.

Когда мне предоставили последнее слово, я заявил, что вообще не собираюсь себя защищать. Будущая история нас рассудит. Признаюсь,

под конец я позволил себе одно язвительное замечание: если, сказал я, после всех стараний Проекта в Истории можно заметить хоть какой-то *прогресс* и *добро*, то это исключительно *моя* заслуга. Речь идет о положительных результатах массовых *ссылок*, предпринятых мною. Именно *мне* обязано человечество Гомером, Платоном, Аристотелем, Бошковичем, Леонардо да Винчи, Босхом, Спинозой и несчетным количеством безымянных деятелей, которые не давали творческому духу угаснуть на протяжении столетий. Как ни суров бывал порою жребий изгнанников, они заслужили его, а вместе с тем благодаря мне искупили свою вину перед историей, споспешествуя ей в меру сил, — однако лишь *после* снятия с высоких постов в Проекте! С другой стороны, если кто-нибудь заинтересуется, что же за это время сделали *специалисты* Проекта, пусть посмотрит на Марс, Юпитер, Венеру, на изуродованную Луну, пусть заглянет в могилу Атлантиды на дне Атлантики, пусть подсчитает число жертв обоих великих ледниковых периодов, всяких бедствий, эпидемий, моров, войн, религиозного фанатизма — словом, пусть присмотрится ко Всеобщей Истории, которая после исправления стала кладбищем реформаторских планов, сплошным

хаосом и информационным *шумом*. История — это *жертва* Института с его безалаберщиной, бестолковщиной, близорукостью, работой «на авось», постоянными интригами, некомпетентностью, и, будь на то моя воля, я бы выслал всех так называемых историотворцев туда, где бронтозавры зимуют!

Надо ли пояснять, что мое выступление было принято достаточно *кисло*? И хотя оно называлось «заключительным словом», для участия в прениях записалось еще несколько заслуженных временщиков, таких как Пр. Оффан, Т. У. Годдум и сам Розенбайсер, тоже явившийся на совет. Друзья-сослуживцы успели вызволить его из Византии; *загодя* зная исход голосования о снятии меня с директорского поста, они инсценировали гибель Юлиана Отступника «на поле битвы» (363 г.) — так рвался он поучаствовать в этом спектакле. Прежде чем он заговорил, я попросил слова по процедуре и поинтересовался, с каких это пор какие-то византийские императоры участвуют в совещаниях Института, но никто и не думал мне отвечать.

Розенбайсер подготовился основательно, должно быть, все материалы получил еще в Константинополе; этот сговор, шитый белыми

нитками, даже не пытались от меня скрыть. Розенбайсер обвинил меня в дилетантизме и в том, что я, обладая прескверне́йшим слухом, строил из себя *меломана*, тем самым деформировав развитие теоретической физики. Согласно господину профессору, дело обстояло так: измерив — путем дистанционного зондирования — уровень одаренности всех детей на рубеже XIX–XX веков, наш Гиперпьютер обнаружил младенцев, способных впоследствии сформулировать принцип эквивалентности материи и энергии, имеющий ключевое значение для высвобождения энергии атома. Это были, в частности: Пьер Солитер, Т. Однокаменяк, Станислав Разглыба, Джон Уанстоун, Трофим Одинцов-Булыжников, Аристидес Монолапидес, Джованни Унопетра, а также малютка Альберт Эйнштейн. Я оказал протекцию последнему, умиленный (якобы) его игрой на скрипке, а в результате годы спустя Япония подверглась атомной бомбардировке.

Розенбайсер извратил факты настолько бессовестно, что я потерял дар речи. Игра на скрипке не имела никакого отношения к делу. Клеветник свалил на меня свой собственный недочет. Прогностический Гиперпьютер, моделируя ход событий, предсказал атомную бомбу в Италии

времен Муссолини, если теорию относительности откроет Унопетра, и серию еще худших катаклизмов — в случае успеха прочих младенцев. Я выбрал Эйнштейна как примерного мальчика, а за то, чем обернулась эта история с атомами, ни он, ни я отвечать не можем. Я не послушался Розенбайсера, который настаивал на «профилактическом очищении» Земли от детишек дошкольного возраста, чтобы атомной энергией овладели в безопасном XXI столетии, и даже представил мне хроницейского, готового провести эту акцию. Разумеется, я тут же сослал столь опасного человека (по имени И. Рот) в Палестину, но он и там натворил каких-то чудовищных дел; кстати сказать, они фигурировали в одном из пунктов обвинительного заключения. А как мне следовало с ним поступить? Ведь *куда-нибудь* надо было его сослать? Но, право, не стоит вдаваться в полемику с бесчисленными инсинуациями подобного сорта.

Когда проголосовали за мое устранение из Проекта, Розенбайсер приказал мне немедленно явиться в дирекцию. Я застал его сидящим в моем кресле в качестве и. о. директора. Как вы думаете, кого я увидел возле него? Ну конечно, Годлея, Гештирнера, Астрояни, Старшита и прочих обол-

тусов; Розенбайсер успел уже вызвать их из всех столетий, в которых они торчали. Ему самому пребывание в Византии явно пошло на пользу: в парфянском походе он похудел и загорел. Он привез монеты с собственным профилем, золотые броши, перстни и массу античных тряпок, которые как раз демонстрировал своей клике; увидев меня, он тотчас спрятал вещицы в стол и уж так пыжился, так надувался, так цедил слова, не глядя на меня, словно император какой-нибудь. Еле сдерживая распиравшее его торжество, он бросил мне свысока, что я могу возвращаться домой, если дам слово выполнить некое поручение. А именно: я должен, вернувшись к себе, убедить того Ийона Тихого, который все это время жил у меня, принять на себя руководство ТЕОГИППГИПом.

Тут меня осенило. Я наконец понял, почему именно *меня* выбрали посланцем к самому *себе*! Ведь прогноз Гиперпьютера оставался в силе: никто не подходил лучше меня на пост директора программы Исправления Истории. Они поступили так не из благородства, которого у них и на грош не было, а из чистого расчета: в самом деле, И. Тихий, уговоривший меня влезть в это предприятие, оставался в прошлом и жил в

моем доме. Я понял также, что временное кольцо замкнется лишь в тот момент, когда я — я *теперешний* — вломлюсь в кабинет и, тормозя хроноцикл, сброшу все книги с полок, застану того Ийона на кухне со сковородкой в руке и ошарашу его своим появлением. Ведь теперь уже я выступлю в роли *посланца из будущего*, в то время как он, мой квартирант, будет тем, к кому посланец направлен. Кажущийся парадокс ситуации — результат относительности времени, столкновение с которой неизбежно при овладении хрономобильной технологией. Коварство плана, придуманного Гиперпьютером, заключалась в том, что при этом получилось *двойное* временное кольцо — маленькое в большом. В малом кружили мы с двойником, пока я не согласился наконец выехать в будущее. Но и потом большое кольцо оставалось открытым, потому-то я в свое время не понял, откуда он взялся в той отдаленной эпохе, из которой, по его словам, прибыл.

В малом кольце я был до сих пор предшествующим, а он последующим И. Тихим. Но теперь наши роли должны поменяться, потому что произошла перестановка времен: я прибываю к нему посланцем из *будущего*, а он, теперь уже *предшествующий*, должен взять на себя управление

Проектом. Словом, мы окончательно поменяемся местами во *времени*. Непонятным оставалось одно: почему еще там, на кухне, он не сказал мне об этом; но я сразу все понял, когда Розенбайсер потребовал от меня под честное слово хранить гробовое молчание обо всем, что случилось с Проектом.

Если бы я не захотел молчать, то получил бы вместо хроноцикла пенсию и никуда не поехал бы. Что было делать? Знали, бестии, что я им не откажу. Отказал бы, будь кандидатом на мое место любой другой человек, но как я мог не доверять своему преемнику — себе самому? Именно в расчете на это и разработали они свой дьявольский план!

Без помпы, без почестей, без единого доброго слова, без всяких напутственных церемоний, среди мрачного молчания моих недавних коллег (которые вчера еще только и делали, что изощрялись передо мной в комплиментах и наперебой восторгались широтой моего кругозора, а теперь поворачивались ко мне спиной) я направился в стартовый зал. По подсказке мелочной злобы мои бывшие подчиненные выдали мне самый разболтанный хроноцикл. Я уже понял, почему не заторможу, как положено, и обрушу все книж-

ные полки! Но я пренебрег и этим последним причиненным мне унижением. И хотя из-за неисправности амортизаторов хроноцикл нещадно подбрасывало на стыках веков (так называемые секулярные переломы), я покидал XXVII век без гнева и горечи, думая только о том, удастся ли все же Телехронная Оптимизация Всеобщей Истории — на этот раз моему преемнику.

Путешествие двадцать первое

Вернувшись из XXVII века и послав И. Тихого к Розенбайсеру занять освобожденный мною пост в ТЕОГИПГИПе (впрочем, с величайшею неохотой, после целой недели беготни и скандалов в небольшой петле времени), я задумался о том, как быть дальше.

Чем-чем, а исправлением истории я был уже сыт по горло. Между тем вовсе не исключалось, что этот Тихий снова завалит Проект и Розенбайсер пошлет его за мною еще раз. Поэтому я решил не ждать сложа руки, а махнуть в Галактику, и притом подальше. Отправлялся я в величайшей спешке, из опасения, что МОИРА сорвет мои планы; но там, как видно, после моего отъезда начался полнейший кавардак, потому что никто мною особенно не интересовался. Понятно, мне не хотелось давать стрекача куда попало, так что я захватил с собою множество самых свежих путеводителей и годовую подшивку «Галактического Альманаха», которая успела нарасти за время моего отсутствия. Отлетев от Солнца не меньше чем на пару парсеков, я со спокойной

душой принялся листать эту литературу.

Там, как я вскоре убедился, сообщалось немало нового. К примеру, д-р Гопфштоссер, брат того Гопфштоссера, который занимается тихологией, создал периодическую таблицу космических цивилизаций, исходя из трех принципов, позволяющих безошибочно распознавать наиболее высокоразвитые общества. Это Правила Хлама, Шума и Пятен. Каждая цивилизация, достигшая технической стадии, мало-помалу утопает в отходах, причиняющих ей массу забот, до тех пор пока не выведет свалки в космическое пространство; а чтобы они не слишком мешали космоплаванию, их размещают на особой, изолированной орбите. Так возникает все расширяющееся мусорное кольцо, и как раз по его наличию узнается высший фазис прогресса.

Однако ж некоторое время спустя мусор меняет свою природу; дело в том, что по мере развития интеллектроники приходится избавляться от все возрастающей массы компьютерного лома, а также от старых зондов, спутников и т. п. Эти мыслящие отходы не желают вечно кружить в кольцевой свалке и дают из нее деру, заполняя окрестности планеты и даже всю местную солнечную систему. Для данной стадии харак-

терно загрязнение среды интеллектом. Разные цивилизации по-разному пытаются решить эту проблему; порой дело доходит до компьютероцида: в пространстве размещают особые ловушки, тенета, силки и расплющиватели психических развалин. Однако плоды всех этих усилий плачевны: отловить удается только развалины, стоящие на низких ступенях умственного развития; такая тактика способствует выживанию наиболее смышленого хлама, который соединяется в группы и шайки, устраивает налеты и акции протеста, выдвигая трудновыполнимые требования, поскольку речь идет о запасных частях и жизненном пространстве. В случае отказа он злонамеренно заглушает радиосвязь, врывается в передачи, зачитывает собственные прокламации, и в результате вокруг планеты возникает зона такого радиотреска и завывания, что лопаются барабанные перепонки. Как раз по этому треску и можно — даже на значительном расстоянии — распознать цивилизации, страдающие интеллектуальной поллюцией. Даже странно, что земные астрономы так долго терялись в догадках, отчего это Космос, подслушиваемый радиотелескопами, полон шума и всяких бессмысленных отголосков; а это не что

иное, как помехи, вызываемые описанными выше конфликтами и серьезно препятствующие установлению межзвездной связи.

И наконец, пятна на солнцах — но специфические по форме и химическому составу, который устанавливается спектроскопически, — выдают присутствие наиболее развитых цивилизаций, преодолевших как Барьер Хлама, так и Барьер Шума. Такие пятна возникают, когда огромные тучи наросших веками отходов сами, подобно ночным бабочкам, бросаются в пламя местного Солнца, чтобы погибнуть самоубийственной смертью. Эту манию возбуждают в них особые депрессивные средства, воздействующие на все, что электрически мыслит. Метод, конечно, чрезвычайно жестокий, но существование в Космосе и тем более создание в нем цивилизаций — тоже, увы, не идиллия.

Согласно Гопфштоссеру, эти три стадии — железная закономерность развития гуманоидных цивилизаций. Что же касается негуманоидных, то тут в периодической таблице доктора еще имеются кое-какие пробелы. Но мне это ничуть не мешало, ведь я, по понятным причинам, интересовался как раз существами, наиболее похожими на нас. Поэтому, соорудив по описанию

Гопфштоссера детектор «WC» (Wonder-Civilization, то есть «чудо-цивилизаций»), я немедля углубился в большое скопление Гиад. Ибо оттуда доносились особенно сильные шумы, там особенно много планет опоясывали мусорные кольца, и к тому же несколько солнц покрывала пятнистая сыпь с необычными линиями в спектре — немое свидетельство убийства электронного разума.

А так как в последнем номере альманаха были фотографии существ с Дихтонии, как две капли воды похожих на человека, именно там я и решил высадиться. Правда, ввиду немалого расстояния — в тысячу световых лет — эти снимки, полученные по радио д-ром Гопфштоссером, могли несколько устареть. Тем не менее я, преисполненный оптимизма, приблизился по гиперболе к Дихтонии и, перейдя на круговую орбиту, попросил разрешения сесть.

Получить разрешение на посадку бывает труднее, нежели покорить галактические пространства, поскольку коэффициент экспоненциального роста бумагописания больше, чем искусства ракетовождения, и справки, без которых и думать нечего о въездной визе, куда важнее фотонных реакторов, экранов, запасов топлива, кислорода и т. д. Мне ко всему этому не

привыкать, так что я приготовился к долгому, быть может, многомесячному кружению вокруг Дихтонии, но не к тому, что меня ожидало на самом деле.

Планета, как я успел заметить, голубизной напоминала Землю, обтекалась океаном и была снабжена тремя крупными континентами, безусловно цивилизованными: уже на дальних подступах мне пришлось вовсю лавировать между спутниками — контрольными, глазеющими, надзирающими и в безмолвии пролетающими; этих последних я на всякий случай избегал с особой старательностью. Никто на мои петиции не отвечал; трижды я подавал прошения, но никто не потребовал телевизионного предъявления бумаг, и лишь с континента в форме почки в меня выстрелили чем-то наподобие триумфальных ворот из синтетической хвои, обвитых разноцветными ленточками и флажками и украшенных надписями, вроде бы зазывающими, однако настолько неопределенными, что я не решился пролететь через эти ворота. Следующий континент, весь усеянный городами, бухнул в меня молочно-белой тучей какого-то порошка, который до того заморочил все мои бортовые компьютеры, что они попытались немедля отправить корабль к

Солнцу; пришлось отключить их и взять управление на себя. Третий, самый большой материк, с виду не столь урбанизированный и утопавший в зелени, ничем в мою сторону не выстрелил, поэтому, отыскав достаточно укромное место, я притормозил и осторожно посадил ракету посреди живописных холмов и нив, поросших то ли капустой кольраби, то ли подсолнечником: трудно было разглядеть с высоты.

Как обычно, двери ракеты заело из-за атмосферического разогрева и открыть их удалось не сразу. Я выглянул наружу, сделал глоток живительного, свежего воздуха и, сохраняя надлежащую осторожность, ступил в незнакомый мир.

Я находился на краю засеянного чем-то поля, но то, что на нем росло, ничего общего не имело ни с подсолнечником, ни с кольраби; это были вообще не растения, а тумбочки, то есть порода мебели. И, словно этого было мало, между их довольно ровными рядами там и сям виднелись серванты и табуреты. Поразмыслив, я пришел к выводу, что это продукты биотической цивилизации. С чем-то подобным мне уже доводилось встречаться. Ибо рисуемые подчас футурологами кошмарные картины мира будущего, отрав-

ленного выхлопными газами, задымленного, уткнувшегося в энергетический, тепловой или какой там еще барьер, — просто нелепость: на постиндустриальной стадии появляется биотическая инженерия, которая все эти неприятности устраняет. Овладение тайнами живой природы позволяет производить синтетические зародыши; достаточно посадить такой зародыш куда попало и окропить горсточкой воды, как вырастает нужный объект. А уж откуда он берет информацию и энергию для радио- и шкафогенеза — не наша забота; ведь не заботит же нас, откуда зерно сорняка черпает силу и знания, чтобы взойти.

Так что не само по себе поле тумбочек и сервантов удивило меня, но крайняя степень вырождения этих плодов. Ближайшая тумбочка, которую я попробовал было открыть, чуть руку мне не отгрызла зубатым выдвижным ящиком; вторая, росшая рядом, при малейшем дуновении ветра колыхалась как студень, а табурет, мимо которого я проходил, подставил мне ножку, так что я растянулся во весь рост. Порядочной мебели подобное поведение никак не пристало; что-то было неладно с этой сельхозкультурой. Продвигаясь дальше — теперь уже с исключительной

осторожностью, не снимая пальца со спускового крючка бластера, — в какой-то неглубокой ложбине я наткнулся на густые заросли в стиле Людовика XV; оттуда прямо на меня выскочила дикая козетка. Она, пожалуй, растоптала бы меня своими позолоченными копытцами, не уложи я ее метким выстрелом. Некоторое время я пробирался между купами мебельных гарнитуров со всеми признаками гибридизации не только стилей, но и значения. Там водились помеси буфетов с оттоманками, сохатые стеллажи, а широко отверстые и словно приглашающие в свое глубокое нутро шкафы были, похоже, хищными, судя по объедкам, валявшимся у их ножек.

Все более убеждаясь, что это вовсе не культурные насаждения, но сплошная неразбериха, усталый и в жарком поту (ибо солнце стояло в зените), я, перепробовав несколько кресел, выбрал одно из них, на редкость спокойное, и уселся, чтобы поразмыслить над своим положением. Я сидел в тени нескольких крупных, одичавших комодов, которые пустили многочисленные побеги вешалок, когда примерно в ста шагах от меня из-за высоко раскинувшихся карнизов для штор высунулась голова, а за ней и туловище какого-то существа. На человека оно не походило,

но уж подавно не имело ничего общего с мебелью: прямое, с ослепительно белым мехом, лица я не видел — его заслоняли широкие поля шляпы; вместо живота — что-то вроде тамбурина, острые плечи переходили в сдвоенные руки; тихонько напевая, оно подыгрывало себе на этом брюшном барабане. Когда существо сделало шаг и еще шаг вперед, я увидел его продолжение. Теперь оно несколько напоминало кентавра, правда, без копыт и босого; вслед за второй парой ног показалась третья, потом четвертая; тут существо прыгнуло и скрылось в чаще, а я сбился со счета. Только и успел заметить, что стоногим оно все же не было.

Я покоился в своем мягком кресле, порядочно одуревший от странной встречи; наконец встал и пошел дальше, стараясь не слишком удаляться от ракеты. Между могучими, словно дубы, диванами я заметил каменную щебенку, а дальше — бетонированный люк канализации. Подойдя поближе, чтобы заглянуть в темную глубину, я услышал за спиной шорох, хотел обернуться, но какое-то полотно упало мне на голову; я попытался вырваться, однако напрасно — меня уже стиснули стальные объятия. Кто-то подсек меня под ноги; беспомощно брыкаясь, я почувствовал,

как меня приподнимают, а потом хватают за плечи и за ноги. Похоже, меня несли вниз, я слышал звуки шагов по каменным плитам, заскрипела дверь, меня бросили на колени и сдернули с головы полотно.

Я находился в небольшом помещении, освещенном белыми лампами, разбросанными по потолку; лампы, впрочем, обладали усиками и ножками и время от времени перебирались с места на место. Я стоял на четвереньках, придерживаемый кем-то сзади за плечи, перед грубым деревянным столом; за ним сидела фигура в сером капюшоне, который закрывал и лицо; на капюшоне имелись дырки для глаз, заделанные чем-то прозрачным. Фигура отодвинула книгу, которую перед тем читала, бегло глянула на меня и спокойно сказала тому, кто все еще меня держал:

— Вытянуть у него струну.

Кто-то схватил меня за ухо и потянул так, что я завопил от боли. Еще дважды попытались вытянуть у меня ушную раковину; попытка не удалась, и наступило минутное замешательство. Тот, что держал меня и рвал за уши — он тоже был закутан в грубое серое полотно, — сказал, словно оправдываясь, что это, должно быть, но-

вая модель. Ко мне подошел еще один детина и попробовал поочередно оторвать у меня брови, отвинтить нос, а затем и всю голову, но так как и это не дало ожидаемых результатов, сидящий велел отпустить меня и спросил:

— Как глубоко ты запрятан?

— Простите, что? — ошеломленно спросил я. — Но я же вовсе не прячусь! В чем дело? Зачем вы меня мучаете?

Тогда сидевший поднялся, обогнул стол и взял меня за плечи — руками, похожими на человеческие, но в суконных рукавицах. Нащупав мои кости, он удивленно охнул. По его знаку меня вывели в коридор, по потолку которого, явно скучая, ползали лампы, и препроводили в другую камеру, вернее, каморку, темную, как могила. Я упирался, но меня втолкнули силой, дверь захлопнулась, что-то зашумело, и из-за невидимой перегородки послышался голос, восклицающий словно в блаженном экстазе: «Хвала Господу! Я могу пересчитать у него все кости!» Услыхав этот крик, я принялся еще упорнее сопротивляться своим провожатым, которые тотчас вытащили меня из темной клетушки; однако, увидев, что они пытаются оказать мне вовсе неожиданные знаки внимания, учтивыми жестами пригла-

шают меня и всем своим видом выказывают почтение к моей персоне, я позволил провести себя в глубь подземного коридора, удивительно похожего на коллектор городской канализации, — хотя содержался он в большой опрятности: стены были побелены, а дно посыпано тонким чистым песочком. За руки меня уже не держали, и по дороге я растирал все еще болевшие участки лица и тела.

Двое в капюшонах и длинных, до самой земли, балахонах, перепоясанных бечевкой, открыли передо мной сколоченные из досок двери, а в глубине комнатушки, чуть большей, чем та, в которой у меня откручивали уши и нос, стоял, ожидая меня, человек с закрытым лицом, явно чем-то взволнованный. После беседы, которая продолжалась четверть часа, я составил себе примерно следующее представление о своем положении. Я находился в обители местного ордена, который то ли скрывался от неизвестных преследователей, то ли подвергся изгнанию; меня по ошибке приняли за «провоцирующую» приманку, поскольку мой облик, хоть и вызывает глубокое почтение братьев деструкцианцев, запрещен законом; настоятель — а передо мной был именно он — объяснил, что, будь я приман-

кой, я состоял бы из мелких сегментов; если у нее вытянуть, вслед за ухом, внутреннюю струну, приманка рассыпается как песок. Что же касается вопроса, заданного мне первым монахом (старшим братом, привратником), то дело тут вот в чем: он считал меня чем-то вроде пластикового манекена со встроенным мини-компьютером, и лишь просвечивание рентгеновскими лучами внесло полную ясность.

Настоятель, отец Дизз Дарг, горячо извинился за это печальное недоразумение и добавил, что он возвращает мне свободу, но не советует выходить на поверхность: для меня это крайне опасно, поскольку я с головы до пят нецензурен. Даже если снабдить меня нутрешкой и пинадлом с присоской, я не сумею воспользоваться этим камуфляжем. Поэтому лучше мне остаться у братьев деструкцианцев в качестве почетного и желанного гостя; они же, в меру своих скромных, увы, возможностей, постараются скрасить мое вынужденное затворничество.

Мне это не очень-то улыбалось, но настоятель внушал доверие своим достоинством, спокойствием, рассудительной речью, хотя я не мог привыкнуть к его глухому капюшону, — одет он был так же, как остальные монахи. Я не решился

сразу засыпать его вопросами, поэтому сперва мы поговорили о погоде на Земле и Дихтонии (он уже знал, откуда я прибыл), потом о каторжном труде космоплавателей; наконец он сказал, что догадывается о моем интересе к местным делам, но это не к спеху, раз я все равно вынужден скрываться от органов цензуры. В качестве особо почетного гостя я получу отдельную келью, к моим услугам будет молодой послушник — для помощи и совета, сверх того, монастырская библиотека полностью в моем распоряжении. А так как в ней собраны неисчислимые запрещенные книги и прочие раритеты, то благодаря случаю, приведшему меня в катакомбы, я получу больше, чем где бы то ни было.

Настоятель встал, и я уже было решил, что мы расстаемся, но он — как мне показалось, после некоторого колебания — попросил позволения прикоснуться к моему естеству; именно так он выразился.

Глубоко вздыхая, словно в приступе величайшей грусти или совершенно непонятной мне ностальгии, он дотронулся своими твердыми пальцами в рукавицах до моего носа, лба и щек; а проведя ладонью (которая показалась мне стальной) по моим волосам, даже тихонько всхлипнул.

Эти признаки сдерживаемого волнения окончательно выбили меня из колеи. Я не знал, о чем спрашивать в первую очередь: то ли об одичавшей мебели, то ли о многоногом кентавре, то ли об их непонятной цензуре; однако заставил себя сохранять терпение и не стал продолжать беседу. Настоятель пообещал, что братья монахи займутся маскировкой ракеты, придав ей сходство с существом, пораженным слоновой болезнью, и мы, обменявшись любезностями, расстались.

Келью я получил небольшую, но уютную; увы, с чертовски жесткой постелью. Я полагал, что такой уж у деструкцианцев суровый устав, но потом оказалось, что тюфяка мне не дали просто по недосмотру. Пока что я не чувствовал голода, кроме голода информационного; молодой послушник, который меня опекал, принес целую охапку исторических и философских трудов; я погрузился в них с головой на всю ночь. Сперва мне мешало, что лампа то приближалась, то отползала куда-то в угол. Лишь позднее я узнал, что удалялась она по нужде; а чтобы вернуть ее на прежнее место, надо было почмокать.

Послушник посоветовал мне начать с небольшого, но содержательного очерка дихтонской истории; автор очерка — Абуз Гранз — историограф

официальный, но «сравнительно объективный», как он выразился. Я последовал этому совету.

Еще около 2300 года дихтонцев было не отличить от людей. Хотя прогрессу науки сопутствовало обмирщение жизни, дуизм (вера, почти безраздельно господствовавшая на Дихтонии в течение двадцати веков) наложил свою печать на дальнейшее развитие цивилизации. Дуизм утверждает, что у каждой жизни есть две смерти, задняя и передняя, то есть до рождения и после агонии. Дихтонские богословы хватались за головокрышки от удивления, услыхав от меня, что мы на Земле так не думаем и что у нас имеются церкви, озабоченные только одним, а именно: передним загробным существованием. Они не могли взять в толк, почему это людям огорчительно думать, что когда-нибудь их не будет, однако их вовсе не огорчает, что прежде их никогда не было.

На протяжении столетий догматический каркас дуизма претерпевал изменения, но в центре внимания неизменно оставалась эсхатологическая проблематика, что, согласно профессору Грагзу, и привело к ранним попыткам создания обессмерчивающих технологий. Как известно, умираем мы, потому что стареем, то есть телес-

но расшатываемся из-за потери необходимой информации: клетки со временем забывают, что надо делать, чтобы не распасться. Природа постоянно снабжает такой информацией только генеративные, то бишь родительские, клетки, потому что на остальные ей начхать. Итак, старение есть расточение жизненно важной информации.

Браггер Физз, изобретатель первого обессмертора, построил агрегат, который, охраняя организм человека (я буду пользоваться этим термином, говоря о дихтонцах, — так удобнее), собирал любую крупицу информации, теряемой клетками, и вводил ее обратно. Дгундер Брабз, на котором поставили первый обессмерчивающий эксперимент, стал бессмертным лишь на год. Дольше он не смог выдержать, потому что над ним бодрствовал комплекс из шестидесяти машин, запустивших мириады невидимых золотых проволочек во все закутки его организма. Неподвижный, он влачил плачевное существование посреди целой фабрики (так называемой перпетуальни). Следующий бессмертный, Добдер Гварг, уже мог ходить, но на прогулках его сопровождала колонна тягачей, навьюченных обессмерчивающей аппаратурой. Он тоже впал в отчаяние и покончил самоубийством.

Преобладало, однако, мнение, что усовершенствование этого метода позволит создать микроувековечиватели, пока Хаз Бердергар не доказал математически, что ПУП (Персональная Увековечивающая Приставка) должен весить по крайней мере в 169 раз больше, чем обессмерчиваемый, если последний изготовлен по типовому эволюционному проекту. Ибо, как я уже говорил и как полагают также земные ученые, природа заботится лишь о горсточке генеративных клеток в каждом из нас, а прочее ей до лампочки.

Доказательство Хаза ошеломило всех и ввергло общество в состояние глубокой депрессии, поскольку стало понятно, что Барьер Смерти невозможно преодолеть, если не отказаться от данного Природой тела. В философии реакцией на доказательство Хаза было учение великого дихтонского мыслителя Дондерварса. Он утверждал, что стихийную смерть нельзя считать естественной. Естественно то, что пристойно, а смерть — это безобразие и позор космического масштаба. Всеобщность безобразия ни на волос не уменьшает его омерзительности. Для оценки безобразия не имеет также никакого значения, можно ли поймать безобразника. Природа поступила с нами как негодяй, который поручает

невинным миссию с виду приятную, а по сути убийственную. Чем больше ты умудрен жизнью, тем ближе к гробовой яме.

Поскольку же честный человек не вправе пособлять душегубам, недопустимо и пособничество мерзавке Природе. А ведь похороны и есть пособничество — в виде игры в прятки. Живые торопятся запрятать жертву подальше, как это исстари ведется у сообщников убийц; на могильных плитах пишут бог весть какие маловажные вещи, кроме одной существенной: если бы мы взглянули правде в глаза, то высекали бы на надгробиях пару ругательств покрепче по адресу Природы, ибо она-то и вырыла нам могилу. Между тем никто и не пикнет — словно убийца, настолько ловкий, что схватить его невозможно, заслуживает за это особого снисхождения. Вместо «memento mori»[20] следует повторять «estote ultores»[21], стремитесь к бессмертию даже ценой отказа от привычного облика; таким было онтологическое завещание выдающегося философа.

Когда я дошел до этого места, появился послушник; он пригласил меня на ужин от имени

---

[20] Примечания: 20
Помни о смерти (*лат.*).

[21] Примечания: 21
Отомстите (*лат.*).

настоятеля. Трапезу я вкушал наедине с ним. Сам отец Дарг ничего не ел, а лишь время от времени пил воду из хрустального бокала. Ужин был скромный — отварная столовая ножка под соусом, довольно мочалистая; как я убедился, мебель окрестной пущи, дичая, становилась преимущественно мясной. Я, однако, не спрашивал, почему она не деревенеет, задумавшись после прочитанного о более высоких материях; так началась первая моя беседа с отцом настоятелем на богословские темы.

Он объяснил мне, что дуизм — это вера в Бога, отказавшаяся от догматов, которые постепенно ветшали в ходе биотических революций. Самым глубоким был кризис Церкви, вызванный крушением догмата о бессмертной душе с ее будущей вечной жизнью. В XXV столетии на догматику обрушились удары трех технологий поочередно: фригидации, реверсирования и духотворения. Первая заключалась в превращении человека в ледышку, вторая — в обращении вспять индивидуального развития, а третья — в свободной манипуляции сознанием. Атаку со стороны фригидации теологам еще удалось отбить при помощи довода, что смерть, которой подвергается замороженный, а потом воскрешенный человек,

не та же самая смерть, о которой сказано в Священном писании и после которой душа отлетает в мир иной. Такое толкование было необходимо, ведь, будь это обычная смерть, воскресший должен был что-нибудь знать о том, куда подевалась душа на время его сто- или шестисотлетней кончины.

Некоторые богословы, например Гаугер Дребдар, полагали, что настоящая смерть наступает лишь после разложения («в прах обратишься»); но эта версия рухнула после создания ресуррекционного поля, собиравшего человека как раз из праха, то есть из атомов, на которые было распылено его тело, причем воскрешенный ничего не ведал о том, где перед тем побывала его душа. Догмат спасли страусиной тактикой, избегая точно указывать, когда именно смерть становится настолько очевидной, что душа уже безусловно отлетает от тела. Потом, однако, появился обратимый онтогенез; этот метод не был специально направлен против догматики веры, просто он оказался необходимым при устранении нарушений эмбрионального развития: развитие плода научились останавливать и обращать вспять, чтобы еще раз начать с оплодотворенной клетки. Под ударом оказался догмат о непорочном зача-

тии вместе с догматом о бессмертии души, потому что благодаря ретроэмбриональной технологии любой организм можно вернуть на любую предшествующую стадию и даже заставить оплодотворенную клетку, из которой он возник, опять разделиться на яйцо и сперматозоид.

Забот со всем этим было немало, ведь, согласно учению церкви, Господь создает душу в момент оплодотворения; если же оплодотворение можно обратить вспять и тем самым аннулировать, разделив зародыш на составляющие, то что тогда делается с уже сотворенной душой? Побочным результатом этого метода было клонирование, позволившее выращивать нормальный организм из клеток, взятых откуда угодно — из носа, пятки, эпителия полости рта и т. п.; а так как происходило это без всякого оплодотворения, налицо определенно была биотехника непорочного зачатия, вскоре получившая применение в промышленном масштабе. Эмбриогенез научились не только обращать вспять, но также ускорять или перестраивать таким образом, чтобы человеческий плод превратился, например, в обезьяний; так как же? так что же тогда происходило с душой? Может, ее сжимали и растягивали, как гармошку, или же, после перевода стрелки

эмбрионального развития с человеческого пути на обезьяний, она исчезала где-то по дороге?

Но, согласно догмату, душа, возникнув, не могла ни исчезнуть, ни уменьшиться, поскольку была неделимым целым. Уже подумывали, не предать ли инженеров-эмбриоталистов анафеме, но отказались от этой мысли, и хорошо сделали, ибо вскоре получил распространение эктогенез. Отныне все больше народу, а потом и все поголовно стали рождаться не от отца с матерью, но из клетки, оплодотворенной в утераторе (искусственной матке), и трудно было отказать всему человечеству в церковных таинствах из-за того лишь, что на свет оно пришло деворо́дным манером. В довершение зла появилась еще и технология сознания. С проблемой духа в машине, порожденной интеллектроникой с ее разумными компьютерами, еще как-то справились, но на смену ей пришла проблема жидкостного сознания и психики: удалось синтезировать разумные мыслящие растворы, которые можно было разливать в бутылки, переливать и сливать, и всякий раз возникала личность, причем нередко более одухотворенная и разумная, нежели все дихтонцы, вместе взятые.

О том, может ли машина или раствор иметь

душу, велись ожесточенные споры на Соборе 2479 года, пока наконец Собор не провозгласил новый догмат, Косвенного Сотворения, согласно которому Господь наделил разумную тварь способностью зачинать разум второй волны; но и это не было еще концом перемен: в скором времени обнаружилось, что искусственные умы могут производить другие умы, следующего порядка, а также синтезировать, по собственному расчету, человекообразные существа и даже обычных людей из первой попавшейся кучки материи.

Попытки спасти догмат о бессмертии души предпринимались и позже, но потерпели крушение под ударами новых открытий, сущей лавиной обрушившихся на XXVI столетие; едва успевали подремонтировать догмат очередным толкованием, как на свет появлялась опровергающая его технология сознания.

В результате возникло множество сект и ересей, которые попросту отрицали очевидные факты. Но дуистическая церковь оставила в силе только один догмат — Косвенного Сотворения; что же до посмертного существования, то веру в непрерывность индивидуального, личного бытия спасти не удалось, поскольку и личность и индивидуальность в этом мире стали пустыми

словами. Два или несколько разумов можно сливать в один, и не только у машин и растворов, но даже у людей; благодаря персонетике появилась возможность изготовлять миры, замкнутые в машинах, в которых возникало разумное бытие, а оно, в свою очередь, в этом узилище могло конструировать следующее поколение разумных субъектов; разум можно было усиливать, делить, умножать, редуцировать, обращать вспять и так далее. Крушению догматов сопутствовало падение авторитета религии; прежняя вера в столь твердо обещанное вечное блаженство, во всяком случае индивидуальное, тоже угасла.

Видя, что богословская мысль не поспевает за техническим прогрессом, Собор 2542 года основал орден прогнозитов — для футурологических исследований в области веры, ибо предвосхищение дальнейших ее судеб становилось неотложной задачей. Аморальность новых биотехнологий ужасала не одних лишь верующих; так, клонированием можно было получать не только нормальных людей, но и почти безмозглые, способные лишь к механическому труду существа и даже выстилать особыми тканями, выращенными из организма человека или животного, полы и стены; можно было изготовлять вилки, разъемы,

усилители и ослабители разумности, вызывать состояние мистического парения духа в компьютере или растворе, превращать лягушачью икринку в мудреца, наделенного телом человека, животного или существа, доселе невиданного, спроектированного профессионалами-эмбрионистами. Это встречало сопротивление также со стороны мирян — очень сильное, однако же тщетное.

Обо всем этом отец Дарг рассказывал с полнейшим спокойствием, как о чем-то самоочевидном; впрочем, для него это и было очевидностью — частью дихтонской истории. Хотя бесчисленные вопросы сами просились мне на язык, я не хотел показаться назойливым, а потому после ужина вернулся в келью и раскрыл второй том труда А. Грагза, который, как свидетельствовала пометка на первой странице, относился к числу запрещенных книг.

Я узнал, что в 2401 году Биг Брогар, Дирр Даагард и Мерр Дарр распахнули двери перед неограниченной свободой автоэволюции; эти ученые горячо верили, что возникший благодаря их открытию Homo Autofac Sapiens, или Самодел Разумный, достигнет полной гармонии и счастья и, наделив себя такими формами тела и свойствами

души, какие сочтет наиболее совершенными, преодолеет, если захочет того, Барьер Смерти. Словом, в эпоху Второй Биотической Революции (первая началась с появлением живчиков, производящих потребительские товары) они проявили максимализм и оптимизм, типичный в истории науки. Подобные надежды возлагали на каждую эпохальную технологию.

Сперва автоэволюционная инженерия (или, иначе, эмбрионистское движение) развивалась как будто в соответствии с предвидениями своих просвещенных творцов. Идеалы здоровья, гармонии, духовно-телесной красоты широко воплощались в жизнь; конституции гарантировали каждому право обладания наиболее ценными психосоматическими свойствами. Очень скоро любые врожденные деформации и увечья, уродство и глупость стали не более чем пережитками. Но развитие потому и развитие, что разные прогрессивные новшества неустанно подталкивают его вперед, так что на этом дело не кончилось. Начало дальнейших перемен было с виду невинным. Девушки наводили на себя красоту благодаря кожной биожутерии и прочим телесным изыскам (ушки сердечком, жемчуговые ногти), появились сбоку- и сзадибородые

юноши, щеголявшие наголовными гребешками, челюстями двойной зубастости и т. п.

Двадцать лет спустя появились первые политические партии. Я не сразу сообразил, что «политика» означает на Дихтонии нечто иное, чем у нас. В отличие от *поли*тической программы, то есть призыва множить телесные формы, *моно*литическая программа провозглашает редукционизм, то есть отказ от излишних, по мнению монотиков данной партии, органов. Когда я дошел до этого места увлекательной книги Грагза, в келью без стука вбежал мой послушник и, не скрывая испуга, велел мне немедленно собираться, поскольку привратник заметил опасность. Я спросил, какую, но он торопил меня, повторяя, что нельзя терять ни минуты. Никаких личных вещей у меня не было, поэтому, с одной лишь книгой под мышкой, я побежал вслед за моим провожатым.

В подземной трапезной лихорадочно суетились деструкцианцы; по каменному желобу съезжали целые груды книг, сталкиваемых сверху братьями библиотекарями, затем их грузили в контейнеры и в величайшей спешке опускали в колодец, пробитый в сплошном камне; на моих ошеломленных глазах монахи, вмиг раздевшись

донага, поспешно сбрасывали в бетонированное отверстие свои облачения и капюшоны; все они до единого оказались роботами, лишь отдаленно напоминавшими человека. Затем они гурьбою принялись за меня, прилепляя к моему телу что-то вроде диковинных кантов, пузыреобразных и змеевидных, какие-то хвосты и конечности, — толком я не мог разобрать, так они торопились; настоятель собственноручно приладил к моей голове нутрешку, похожую на сильно надутого и лопнувшего в нескольких местах таракана; пока одни прилепляли, другие уже разрисовывали меня в полоску. Поблизости не было ни зеркала, ни даже блестящей поверхности, так что не знаю, как я выглядел; но они, похоже, были очень довольны тем, что получилось.

Меня подталкивали, я очутился в углу и лишь тут заметил, что похож скорее на четвероногое или шестиногое, нежели на прямоходящее существо. Мне велели опуститься на четвереньки и на все вопросы, буде таковые последуют, отвечать исключительно блеяньем. И тотчас двери задрожали от ударов; братья роботы бросились к каким-то вытащенным на середину трапезной аппаратам, напоминавшим (впрочем, не слишком) швейные машины, и трапезная заполнилась

стрекотанием их мнимой работы. По каменным ступеням спустился отряд летучей инспекции. Разглядев инспекторов ближе, я еле устоял на своих четырех ногах. Я не понял, одеты они или нет; каждый выглядел по-особому, не так, как другие.

Кажется, у всех у них были хвосты с волосяным бунчуком на конце, в котором прятался мощный кулак; они носили хвосты, эти были небрежно переброшены через плечо, если можно назвать плечом пузыревидную выпуклость, опоясанную крупными бородавками; посередине этого пузыря виднелась молочно-белая кожа, а на ней появлялись и пропадали цветные стигматы — я не сразу понял, что инспектора общаются между собой не только голосом, но и при помощи картинок и знаков, возникающих на этом телесном экране. Я попробовал пересчитать у них ноги (если это были ноги); у каждого имелось не меньше двух ног, но попадались трех- и даже пятиногие; впрочем, мне показалось, что чем больше ног, тем неудобнее им было ходить. Они обошли весь зал, бегло оглядели монахов, склонившихся над машинами и трудившихся с истовым прилежанием; наконец самый высокий инспектор, с огромным оранжевым жабо вокруг нутрешки, которая надувалась и неярко

светилась при каждом его слове, велел какому-то коротышке, всего лишь двуногому и с куцым хвостом — должно быть, писарю, — осмотреть тривутню. Что-то они писали, меряли, ни слова не говоря монахам-роботам, и хотели уже было идти, как вдруг зеленоватый трехногий заметил меня; он потянул за один из моих бахромчатых кантов, и я на всякий случай тихонько заблеял.

— Э-э, да это их старичок гварндлист, ему почти два десятка, оставь его! — бросил высокий, засветившись, а малыш быстро ответил:

— Слушаюсь, Ваша Телость!

С аппаратом, напоминавшим фонарь, они еще раз обошли все углы трапезной, но к колодцу ни один не приблизился. Это все больше напоминало мне формальность, исполняемую спустя рукава. Десять минут спустя их уже не было, машины убрали опять в темный угол, монахи принялись вытаскивать обратно контейнеры, выжимать свои мокрые облачения и развешивать их на веревках, чтобы подсохли; братья библиотекари беспокоились из-за того, что в неплотно закрытый контейнер попала вода и надо было немедленно просушивать папиросной бумагой промокшие страницы инкунабул; а настоятель, то есть отец робот — я не знал уже, как

и что о нем думать, — доброжелательно сообщил мне, что все, благодарение Господу, хорошо кончилось, но в дальнейшем я должен быть начеку; тут он показал мне учебник истории, который я уронил в общей неразберихе. В продолжение всей ревизии он сидел на нем сам.

— Значит, иметь книги запрещено? — спросил я.

— Смотря кому! — отвечал настоятель. — Нам — да. А уж такие — особенно! Нас считают устаревшими машинами, ненужными после Первой Биотической Революции; нас терпят, как и все, что спускается в катакомбы, ибо таков обычай — впрочем, негласный, — возникший еще при Глаубоне.

— А что такое «гварндлист»?

Настоятель несколько смутился.

— Это сторонник Бгхиза Гварндля, правившего девяносто лет назад. Мне не слишком удобно говорить об этом... к нам спустился этот несчастный гварндлист, и мы дали ему приют; он всегда сидел в этом углу — прикидывался, бедняга, безумным, поскольку в качестве невменяемого мог говорить что хотел... месяц назад он велел себя заморозить, чтобы дождаться «лучших времен»... вот я и подумал, что в случае чего мы могли бы переодеть

тебя... понимаешь?.. Я хотел сказать тебе заранее, но не успел. Я не предполагал, что проверка будет как раз сегодня, они случаются нерегулярно, а в последнее время довольно редко...

Я ровно ничего не понял. Впрочем, только теперь меня ожидали настоящие неприятности, потому что клей, при помощи которого братья деструкцианцы превратили меня в гварндлиста, не желал отпускать, и искусственные пинадла и гнусли вырывали у меня чуть ли не с кусками живого мяса; я обливался потом, стонал и наконец, приведенный в относительно человеческий вид, отправился на отдых. Настоятель впоследствии заводил речь о моем телесном преображении, разумеется обратимом, но, когда мне показали гравюру с моим будущим обликом, я предпочел и дальше оставаться нецензурным; предписанные законом формы были не только чудовищны для землянина, но к тому же в высшей степени неудобны: например, лежать при таком теле было немыслимо и ко сну приходилось вешаться.

Поскольку спать я отправился поздно, то не успел выспаться, когда меня разбудил мой молодой опекун, принесший завтрак; теперь я уже лучше понимал, сколь далеко простирается их гостеприимство, ведь сами отцы ничего не ели, а

что до питья, то они имели, я думаю, аккумуляторный двигатель и нуждались в дистиллированной воде, но им хватало пары капель на целый день; а чтобы прокормить меня, приходилось устраивать экспедиции в мебельную рощу. В этот раз я получил неплохо приготовленный подлокотник; если я говорю, что сварили его неплохо, то это не значит, что он и вправду был вкусный, — просто я уже научился делать скидку на всевозможные обстоятельства, связанные с приготовлением пищи.

Я все еще находился под сильным впечатлением ночного осмотра; я не мог согласовать его с тем, что успел уже вычитать из учебника истории, и поэтому тотчас после завтрака принялся снова за чтение.

С самого начала автоэволюции лагерь телесного прогресса раздирали глубокие противоречия по коренным вопросам. Оппозиция консерваторов исчезла спустя каких-нибудь сорок лет после великого открытия; их окрестили пещерными ретроградами. Прогрессисты же делились на одномахов, телодвиженцев, подраженцев, линявцев, разливанцев и множество прочих партий, ни программ, ни названий которых я не упомню. Одномахи требовали, чтобы власти немедля

узаконили совершенный телесный образец, который надлежит воплотить в жизнь одним махом. Телодвиженцы, настроенные более критически, полагали, что подобного совершенства сразу достичь нельзя, и выступали за постепенное движение к идеальному телу, хотя было не совсем ясно, куда надо двигаться, а главное, может или не может это движение быть неприятным для промежуточных поколений. В этом вопросе они распадались на две фракции. Другие, в частности линявцы и разливанцы, утверждали, что есть смысл по-разному выглядеть в разных случаях, а также, что человек ничем не хуже насекомых — раз они претерпевают различные метаморфозы, то мог бы и он; малыш, подросток, юноша, зрелый муж формировались бы в таком случае по совершенно различным образцам. Разливанцы же были радикалами: осуждали скелет как вредный пережиток, призывали к отказу от позвоночной архитектуры и восхваляли мягкую всепластичность. Разливанец мог смоделировать или умять себя как душе угодно; это было вообще-то весьма практично в давке, а также при ношении готовой одежды разных размеров; некоторые из них сминали и комкали себя в самые невероятные формы, чтобы, в зависимости от

ситуации, выражать свое настроение свободным членообразованием; поли- и монолитические противники разливанцев пренебрежительно называли их лужефилами.

Для предотвращения угрозы телесной анархии был создан ГИПРОТЕПС (Главный Институт Проектирования Тела и Психики), долженствующий поставлять на рынок проекты перетеления в различных, но непременно испробованных на опыте вариантах. Однако по-прежнему не было согласия по вопросу о главном направлении автоэволюции, а именно: надо ли создавать такие тела, в которых жить будет приятней всего, или же тела, позволяющие индивидам всего успешнее включиться в общественное бытие; что предпочесть — функционализм или эстетику; укреплять силу духа или силу мышц; ибо легко рассуждать о гармонии и совершенстве вообще, между тем как практика показала, что не все ценные качества взаимосочетаемы — многие из них исключают друг друга.

Во всяком случае, упразднение естественного человека шло полным ходом. Эксперты наперебой доказывали, что Природа изготовила его неслыханно примитивно и убого; в литературе по телеметрии и соматической инженерии было

заметно явное влияние доктрины Дондерварса; ненадежность естественного организма, его сенилизационное движение к смерти, тирания древних инстинктов над возникшим позднее разумом — все это подвергалось яростной критике, а более специальные труды кишели упреками по адресу плоскостопия, злокачественных новообразований, смещения дисков и тысячи прочих недугов, причина которых — в эволюционной халтуре и нерадивости; говорили даже о подрывной работе слепой и потому безыдейно-расточительной эволюции жизни.

Поздние потомки, казалось, брали у Природы реванш за угрюмое молчание, которым их прадеды встретили откровения об обезьяньем происхождении дихтонцев; высмеивали так называемый арбореальный (древесный) период, или, другими словами, то, что сперва какие-то существа начали прятаться на деревьях, а потом, когда леса поглотила степь, им пришлось слишком уж быстро слезть на землю. Согласно некоторым критикам, антропогенез был вызван землетрясениями, из-за которых все поголовно падали с веток, а значит, люди возникли на манер яблок-падалиц. Разумеется, все это были грубые упрощения, но поносить эволюцию считалось

хорошим тоном. Тем временем ГИПРОТЕПС усовершенствовал внутренние органы, улучшил рессорные качества позвоночника и укрепил его, приделывал добавочные сердца и почки, но все это не удовлетворяло экстремистов, выступавших под демагогическими лозунгами «долой голову!» (мол, тесновата), «мозг в утробу!» (потому что там больше места) и т. д. Самые горячие споры разгорелись вокруг половых вопросов: если одни полагали, что все там в высшей степени безвкусно и нужно кое-что позаимствовать у мотыльков и цветочков, то другие, обрушиваясь на лицемерие платоников, требовали умножения и усложнения того, что уже есть.

Под давлением крайних течений ГИПРОТЕПС установил в городах и селах ящики для рационализаторских предложений, проекты хлынули лавиной, штаты раздулись неимоверно, и спустя десять лет бюрократия так задавила автократию, что ГИПРОТЕПС разделился на главки, а затем на ведомства и управления: ВОПЛИ (Ведомство Обеспечения Прекрасными Лицами), ПУСИК (Первое Управление по Созданию Изысканнейших Конечностей), ЦИПКА (Центральный Инспекторат Перестройки Кретинической Анатомии) и множество иных. Не было счету совещаниям и

конференциям по вопросу о форме пальцев, о перспективах позвоночника и так далее, а целое между тем упускалось из виду, и то, что спроектировало одно звено, не стыковалось с продукцией смежников. Никто уже не мог охватить всю проблематику, сокращенно именуемую АМБА (Авто-Морфозный Бедлам и Анархия), и, чтобы покончить с анархией, всю область биотики отдали во власть СОМПЬЮТЕРА (Соматическо-Психического Компьютера).

Так заканчивался очередной том Всеобщей Истории. Когда я взял следующий, в келью вошел послушник, чтобы пригласить меня на обед. Я стеснялся обедать в присутствии отца настоятеля, ибо знал уже, какая это с его стороны любезность и какая трата ценного времени. Однако приглашение было столь настойчивым, что я тотчас пошел. В малой трапезной рядом с отцом Даргом, который уже сидел за столом, стояла тележка наподобие тех, что служат у нас для развозки багажа; то был отец Мемнар, генерал ордена прогнозитов; впрочем, нет — отцом и генералом ордена была, разумеется, не тележка, а кубической формы компьютер, размещенный на этом шасси. Думаю, что я проявил достаточно такта, — я не остолбенел и даже не заикнулся, когда нас

представляли друг другу. Еда, правда, не лезла в горло, но это уже реакция организма. Чтобы ободрить и расшевелить меня, почтенный настоятель во все время обеда пил воду небольшими глотками, а отец Мемнар тихонько бормотал про себя; я думал, он молится, но, когда разговор опять зашел о богословии, оказалось, что я ошибался.

— Я верую, — молвил отец Мемнар, — и, если вера моя не напрасна, тот, в кого я верую, знает об этом и без моих деклараций. Разум сооружает одну за другой различные модели Бога, каждую следующую считая единственно верной, но это ошибка, поскольку моделирование — это кодификация, а кодифицированная тайна — уже не тайна. Догматы кажутся вечными лишь в начале пути в цивилизационную даль. Сперва воображали себе Бога суровым Отцом, потом Пастырем-Селекционером, затем Художником, влюбленным в Творение; а людям оставалось играть соответственно роли послушных детишек, кротких овечек и, наконец, бешено аплодирующих Господних клакеров. Но ребячеством было бы думать, будто Творец творил для того, чтобы творение с утра до вечера заискивало перед ним, чтобы его авансом обожали за то, что будет Там, коли не по сердцу то, что делается Здесь, — словно

он виртуоз, который взамен за истовое бисирование молитв готовит вечное бисирование жития после земного спектакля, словно свой лучший номер он приберег на потом, когда опустится гробовой занавес. Эта театральная версия теодицеи для нас — далекое прошлое.

Если Бог обладает всеведением, он знает обо мне все, и притом за бесконечное время до того, как я явился из небытия. Он знает также, как отнесется к моему страху или моему ожиданию, поскольку превосходно осведомлен о своих собственных будущих решениях: иначе он не всеведущ. И нет для него никакой разницы между мыслью пещерного человека и разумом, который через миллиард лет создадут инженеры там, где ныне лишь лава и пламя. Не знаю, с чего бы он стал придавать особую роль внешней оправе верований и даже тому, любовь ты к нему питаешь или ненависть. Мы не считаем его изготовителем, ожидающим одобрения от изделия, поскольку история привела нас туда, где природная подлинность мысли ничем не разнится от мысли, разожженной искусственно, а значит, нет никакого различия между искусственным и естественным; эту границу мы давно перешли. Не забудь, в нашей власти создавать какие угодно

личности и умы. Мы могли бы, к примеру, методами кристаллизации, клонирования и сотней других творить существа, черпающие мистический экстаз непосредственно из своего бытия, и в их восторгах, адресованных потустороннему, материализовать в некотором роде устремленность прежних молитв и обетов. Но такое тиражирование богомольцев кажется нам смешным и бесцельным. Помни, что мы уже не калечимся в кровь о преграды, о стены, которые из-за нашей врожденной телесной ограниченности препятствуют нашим желаниям, — мы проломили их и вышли на простор безграничной свободы творения. Даже ребенок может сегодня воскресить умершего, вдохнуть дух в прах и лом, гасить и возжигать светила, поскольку есть все необходимые технологии, а то, что не каждый имеет к ним доступ, как ты понимаешь, не представляет интереса для богословия. Предел возможностей творения, заданный нам Писанием, достигнут и, следовательно, упразднен. На смену кошмарам прежних ограничений пришел кошмар полного их отсутствия. Так вот: мы не думаем, будто Создатель скрывает свою любовь к нам под маской обеих этих альтернативных мук и учит нас уму-разуму для того, чтобы тем труднее было

его разгадать; и не в том миссия Церкви, чтобы обе трагедии — свободы и рабства — назвать векселями, выплату по которым гарантирует Откровение и которые небесное казначейство учтет с процентами. Представление о небесах как о щедром кассире и о пекле как долговой яме для неплатежеспособных должников — недолгое заблуждение в истории веры. Теодицея — не краснобайство адвокатов Господа Бога, а вера — не слова утешения: мол, как-нибудь в конце концов обойдется. Меняется Церковь, и меняется вера, ибо та и другая пребывают в истории; нужно предвосхищать и грядущие перемены, и миссия моего ордена именно такова.

Слова эти привели меня в немалое замешательство. Я спросил, каким образом дуистическая теология согласует то, что происходит на планете (кажется, ничего хорошего, хотя толком не знаю что, застряв в XXVI веке), со Священным писанием (которого я тоже не знаю)?

Отец Мемнар ответил (между тем как настоятель хранил молчание):

— Вера абсолютно необходима и вместе с тем совершенно невозможна. Невозможна в том смысле, что нельзя утвердиться в ней навечно, ибо нет такого догмата, в котором мысль может

укорениться с уверенностью, что это уже навсегда. Двадцать пять столетий мы защищали Писание — при помощи тактики гибкого отступления, все более окольной интерпретации его буквы, но в конце концов проиграли. Нет у нас больше бухгалтерского видения Трансценденции, Бог — уже не Тиран, не Пастырь, не Художник, не Полицейский и не Главный Счетовод Бытия. Вера в Бога должна отречься от всякой корысти хотя бы потому, что никакого воздаяния за нее не будет. Окажись он в силах совершить нечто противоречащее чувствам и логике, это было бы мрачным сюрпризом. Ведь именно он — ибо кто же еще? — дал нам формы логического мышления, кроме которых в сфере познания нет у нас ничего; так можем ли мы полагать, будто обращение в веру требует отречения от логики разума? К чему же было сперва наделять разумом, а после глумиться над ним, подбрасывая ему противоречия, которые впоследствии он сам обнаружит?

Чтобы выглядеть потаинственнее да позагадочнее? Чтобы сначала позволить нам сделать вывод, что Там ничего нет, а затем вдруг вытащить рай, как шулер — карту из рукава? Мы так не думаем и потому за свою веру не требуем от

Бога никаких льгот, не предъявляем ему никаких претензий — мы похоронили теологию, основанную на принципе торговой сделки и обмена услугами: я призвал тебя к жизни, а ты будешь служить мне и восхвалять меня.

Но тогда, расспрашивал я еще настойчивей, что, собственно, вы, монахи и богословы, делаете? Каковы ваши отношения с Богом, коль скоро вы отказались и от догматики, и от таинств, и от молитвы, если я верно вас понимаю?

— Поскольку мы и впрямь не обладаем уже ничем, — отвечал генерал прогнозитов, — мы обладаем всем. Прочти-ка, любезный пришелец, следующие тома дихтонской истории, и ты поймешь, что это значит — полная свобода тело- и душетворения, которую дали нам две биотические революции. Я полагаю весьма вероятным, что в глубине души тебя смешит увиденное у нас: существа, как и ты, из крови и плоти, получив над собою полную власть, утратили веру — как раз потому, что могут ее гасить и возжигать в себе, словно лампу. А от них переняли веру их орудия, разумные потому лишь, что именно такие понадобились на одной из стадий промышленного развития. Теперь мы уже не нужны, но верим: именно мы — всего только лом для тех, кто там,

наверху. Они нас терпят, потому что на нутрешках у них дела поважнее; однако нам дозволено все, кроме веры.

— Очень странно, — заметил я. — Вам не позволено верить? Почему?

— Очень просто. Вера — единственное, чего нельзя отнять у сознающего существа до тех пор, пока оно сознательно пребывает в вере. Власти могли бы не только сокрушить нас, но и так переделать, чтобы предпрограммированием лишить нас возможности верить; они не делают этого, должно быть, из презрения к нам, а может, из равнодушия. Они жаждут явного, открытого господства, и любое отступление от него сочли бы своим умалением. Вот почему мы должны скрывать нашу веру. Ты спрашивал о ее сути. Она, эта вера наша... как бы тебе объяснить... совершенно нага и совершенно беззащитна. Мы не питаем никаких надежд, ничего не требуем, ни о чем не просим, ни на что не рассчитываем, — мы просто верим.

Прошу, не задавай мне новых вопросов, но лучше подумай, что означает такая вера. Если кто-то верит по таким-то причинам и поводам, его вера уже не полностью суверенна; о том, что дважды два — четыре, я знаю точно, и верить в это мне

незачем. Но я ничего не знаю о том, что есть Бог, и потому могу только верить. Что мне дает эта вера? Согласно прежним понятиям — ничего. Это уже не утешительница, отвлекающая от мыслей о небытии, и не Господня кокетка, повисшая на дверной ручке райских врат, между страхом перед осуждением и надеждой на рай. Она не умиротворяет разум, бьющийся о противоречия бытия, не обшивает ватой его углы; говорю тебе: толку от нее никакого! Или иначе: она ничему не служит. Нам не позволено даже утверждать, будто мы потому и уверовали, что вера ведет к абсурду, ибо тот, кто так говорит, тем самым дает понять, что способен надежно отличить абсурд от неабсурда и что сам он на стороне абсурда потому, что на этой стороне Бог. Мы этого не утверждаем. Нашу веру нельзя назвать ни молитвенной, ни благодарственной, ни смиренной, ни дерзновенной: она попросту есть, и больше о ней ничего сказать нельзя.

Захваченный всем услышанным, я вернулся в келью и принялся снова за чтение — теперь уже следующего тома дихтонской истории. В нем говорилось об Эре Централизованного Телизма. Поначалу Сомпьютер действовал ко всеобщему удовольствию, но вскоре на планете появились

новые существа — двойняги, тройняги, четверняги, потом восьмачи, а наконец, и такие, что вообще не желали кончаться исчислимым способом — все время у них вырастало что-нибудь новое. То было следствие дефектов, ошибочной итерации программ, а говоря попросту, машина начала заикаться. Поскольку, однако, господствовал культ ее совершенства, такие автоморфозные искривления пробовали даже превозносить — дескать, неустанное почкование и растопыривание лучше всего выражает природу человека-Протея. Эта похвальба задержала начало ремонтных работ, и в результате на свет появились так называемые неокончальники, или пэнтавры (поли-эн-тавры), которые не могли разобраться в собственном теле, столько его у них было; они путались в нем, завязываясь в узлища и узлянки; нередко невозможно было все это распутать без Скорой Помощи. Отремонтировать Сомпьютер не удалось; его прозвали Сгубьютером и в конце концов взорвали. Стало малость полегче, но ненадолго, ибо снова возник кошмарный вопрос: как быть с телом дальше?

Тогда впервые послышались робкие голоса — мол, не вернуться ли к старому облику; но их осудили как тупоумное ретроградство. На

выборах 2520 года победили взбредонцы, или релятивисты. Многим пришлась по нраву их демагогическая программа: пусть каждый выглядит, как ему в голову взбредет; допускались только функциональные ограничения внешнего облика. Районный архитектор-телист утверждал проекты, пригодные к успешному житью-бытью, не заботясь об остальном, а ГИПРОТЕПС лавинами выбрасывал эти проекты на рынок. Историки называют период автоморфозы под властью Компьютера эпохой централизации, а последующие годы — реприватизацией.

Отдача индивидуального облика на откуп частной инициативе привела несколько десятилетий спустя к новому кризису. Правда, иные философы уже заявляли, что чем больше прогресса, тем больше кризисов; если же кризисов нет, стоило бы устраивать их специально, поскольку кризис активизирует, цементирует, высвобождает творческую энергию, укрепляет волю к борьбе и сплачивает духовно и материально — словом, вдохновляет на трудовые победы, тогда как в бескризисные эпохи господствуют застой, маразм и прочие разложенческие симптомы. Подобные взгляды проповедовала школа так называемых оптисемистов, черпающих свой оптимизм из

пессимистической оценки настоящего.

Эпоха частной инициативы в телотворении продолжалась три четверти века. Поначалу все наслаждались обретенной свободой самотворения, а в первых рядах шла опять-таки молодежь — с дышлинами и бренчалами парней, игривками девушек; вскоре, однако же, начались конфликты отцов и детей, ибо появились бунтари под флагом аскезы. Молодежь обвиняла старшее поколение в погоне за удовольствиями, пассивном, потребительском отношении к телу, пошлом гедонизме и вульгарном наслажденчестве; чтобы выделиться, она принимала намеренно безобразные формы, на редкость неудобные, просто кошмарные (жутяги, тошнотелы). Бравируя презрением к мещанской функциональности, она засовывала глаза под мышки, а юные биоактивисты обзавелись множеством звуковых органов (губенцы, нософоны, зумбалы, арфуши). Устраивались массовые рычалища, на которых солисты-завывалы приводили беснующуюся толпу в нерестильную дрожь. Потом воцарилась мода — или мания — на длинные щупальца, калибр и сила захвата которых увеличивались по нарастающей, согласно типично юношескому, залихватскому принципу: «Я тебе покажу!» А

так как массу змеиных сплетений никто не в силах был волочить сам, стали приделывать себе тылоходы (охвостья), то есть шагающие шасси, которые вырастали из позвоночника и на двух крепких лодыжках несли бремя щупальцев за их обладателем. В учебнике я нашел гравюры, изображавшие гуляющих франтов, за которыми их тылоходы несли целые клубы щупальцев; то был уже закат молодежного бунтарства или, скорее, полный его крах, ведь каких-либо целей оно не преследовало, а было всего лишь стихийной реакцией на оргиастическое барокко эпохи.

У этого барокко нашлись свои теоретики и апологеты, утверждавшие, что тело дано для того, чтобы иметь от него максимум удовольствия в максимальном количестве мест одновременно; виднейший идеолог этого стиля Мерг Барб объяснял, что Природа разместила в теле — впрочем, скуповато — центры приятных ощущений лишь для того, чтобы оно могло выжить; поэтому, по ее воле, любые сладостные ощущения не автономны, но чему-то там служат: либо снабжению организма жидкостью, белками и углеводами, либо продолжению рода и т. д. Этому навязанному извне прагматизму пора положить конец; нынешняя робость телоконструкторов — признак

отсутствия перспективистского воображения; лукулловы или эротические утехи — жалкий побочный продукт потрафления врожденным инстинктам, то есть тирании Природы; недостаточно одного лишь освобождения секса благодаря эктогенезу, ибо секс не имеет сколько-нибудь серьезного будущего — ни в конструкторском плане, ни в плане комбинаторики; все, что можно было тут выдумать, давно уже осуществлено, и не в том смысл свободы самотворения, чтобы простецки, по-плагиаторски увеличивать то да се и копировать половое старье, разве только в большем масштабе. Нужно выдумать совершенно новые органы и части тела, которые функционировали бы исключительно для того, чтобы их обладателю было хорошо, все лучше, чудесно, просто божественно.

На подмогу Барбу поспешила группа молодых одаренных конструкторов из ГИПРОТЕПСА, которые изобрели гульбоны и шлямсы; о них с большим шумом возвестила реклама, заверявшая, что прежние услады желудка или же пола по сравнению со шлямсанием и гульбонством — все равно что глупое ковырянье в носу; в мозгу, разумеется, монтировались центры экстатических ощущений, особым образом запрограммиро-

ванные инженерами нервных путей, причем в несколько ярусов. Так возникли гульбонский и шлямсовый инстинкт, а также соответствующие им действия, спектр которых был необычайно богат и разнообразен, поскольку можно было гульбонить и шлямсать попеременно или разом, соло, дуэтом, триадами, а затем, приделывая себе ласкотки, даже в группах по нескольку десятков человек. Появились и новые виды искусства, а с ними художники-гульбисты и шлямсуны, но и этим дело не кончилось; к концу XXVI столетия возникли барочные формы ушеходов, имели успех локтегрызы, а знаменитый Ондур Стердон, который умел одновременно гульбонить, зумбалить и шлямсать, *летая* на позвоночных крылышках, стал кумиром толпы.

В годы высшего расцвета барокко секс вышел из моды; его культивировали лишь две небольшие партии — упрощенцев и сепаратистов. Сепаратисты, не одобрявшие распущенности, полагали, что не годится есть капусту тем же самым ртом, которым лобызаешь возлюбленную. Для этого потребны особые, платонические уста, а всего лучше иметь их целый комплект, в соответствии с назначением (для родных, знакомых и для обожаемого существа). Упрощенцы, покло-

нявшиеся функционализму, поступали наоборот, объединяя что только можно ради упрощения организма и жизни.

Позднее барокко, как всегда причудливое и экстравагантное, создало такие необычные формы, как посиделка (женщина-табурет) и гексон, который напоминал кентавкра, но вместо ног имел четыре босые стопы, повернутые друг к другу; его еще называли топтало по названию танца, главной фигурой которого было энергичное топанье. Но рынок проявлял признаки насыщения и усталости. Трудно было эпатировать кого-либо новым телом; обзаводились ушными клапанами из натурального рога, ушными раковинами, на которых высвечивались стигматические картинки; бледным румянцем пульсировали ланиты дам из общества; пытались даже ходить на гибких псевдоножках; по чистой инерции ГИПРОТЕПС разрабатывал все новые проекты, но чувствовалось, что эта эпоха уже на исходе.

Погруженный в чтение, среди разбросанных книг, в свете ламп, которые лазили надо мною по потолку, я неприметно заснул; разбудил меня лишь голос утреннего колокольчика. Тотчас же явился мой послушник с вопросом, не желаю ли я несколько переменить обстановку; если да,

то настоятель просит, чтобы я соизволил сопровождать его при объезде епархии вместе с отцом Мемнаром. Возможность покинуть мрачные катакомбы меня обрадовала, и я изъявил согласие.

Увы, отъезд выглядел иначе, нежели я себе представлял. На поверхность мы так и не выбрались; монахи, снарядив в дорогу приземистых вьючных животных, покрытых до самой земли серым, как монашеское облачение, полотном, взобрались на них, и мы поплелись подземными коридорами. Это были, как я уже догадывался — и вскоре догадка моя подтвердилась, — заброшенные много столетий назад канализационные каналы столицы, которая возносилась высоко над нами тысячами полуразрушенных небоскребов. В размеренной поступи моего верхового животного было что-то необычное, а под его попоной не угадывалось чего-либо похожего на голову; заглянув украдкой под полотно, я убедился, что это машина, разновидность четвероногого робота, весьма примитивного; до полудня мы не сделали и двадцати миль. Впрочем, непросто было оценить пройденный нами путь — дорога петляла лабиринтами каналов, едва освещаемых лампами, которые дружной стайкой то порхали над нами, то, перепрыгивая по потолочному сво-

ду, спешили во главу колонны, куда их вызывали чмоканьем.

Наконец мы прибыли в обитель отцов прогнозитов, где нас приняли с почестями, а мне уделили особенное внимание. Поскольку мебельная пуща осталась далеко, отцам прогнозитам пришлось немало похлопотать, чтобы к моему приезду приготовить приличную трапезу. Провизия нашлась на складах покинутой столицы в виде пакетов с живчиками; передо мной поставили миски, одну пустую, другую с водой, и я впервые мог убедиться, как ведут себя плоды биотической цивилизации.

Монахи горячо извинялись передо мной за то, что не было супа: послушник, высланный по канализационному колодцу наверх, не сумел отыскать нужный пакет. Однако с котлетой дело пошло неплохо; живчик, политый несколькими ложками воды, набух, распластался, и минуту спустя у меня на тарелке лежала телячья котлета, аппетитно подрумяненная, сочившаяся горячим шипящим маслом. Должно быть, на складе, в котором раздобыли этот деликатес, царил полный хаос, коль скоро среди коробок с гастрономическими живчиками затесались совершенно другие: вместо десерта на тарелке

вырос магнитофон, да и то негодный к употреблению, с тесемками от кальсон на катушках. Мне объяснили, что это следствие нередкой ныне гибридизации, поскольку безнадзорные автоматы производят живчики все более низкого качества; биопродукты могут скрещиваться между собой, и именно так возникают самые невероятные сочетания. Тут, при случае, я наконец напал на след происхождения дикой мебели.

Почтенные отцы хотели снова послать кого-нибудь из братии помоложе в развалины города, но я горячо этому воспротивился. Беседа была мне несравненно дороже десерта.

Трапезная, служившая прежде городской очистной станцией, содержалась в образцовом порядке, пол был посыпан мелким песком, на потолке — множество ламп, не таких, как у деструкцианцев, а мигающих и в полоску, словно они происходили от огромных ос. Мы сидели за длинным столом вперемежку, так что рядом с каждым деструкцианцем покоился на своем шасси прогнозит; мне было почему-то не по себе из-за того, что у меня одного обнаженное лицо и руки — в обществе наглухо закрытых братьев роботов в их капюшонах из грубого полотна, с остекленными глазными отверстиями, и братьев

компьютеров, по машинному угловатых и уже ни в малейшей степени не напоминавших живых существ; между некоторыми из них тянулись под столом тонкие кабели, но я не решался спросить о назначении этой многоканальной связи.

Беседа, завязавшаяся за этим одиноким обедом — обедал ведь только я, — снова, необоримой силой вещей, перешла на трансцендентальные темы. Мне не терпелось узнать, что думают последние верующие дихтонцы о вопросах добра и зла, Бога и Дьявола; когда я задал этот вопрос, наступила долгая тишина, лишь полосатые лампы тихонько жужжали по углам трапезной — впрочем, возможно, что это гудел ток в отцах прогнозитах.

Наконец отозвался сидевший напротив меня пожилой компьютер, по профессии историк религии, как я позднее узнал от отца Дарга.

— Если вести речь о самой сути, то наши взгляды можно выразить так, — сказал он. — Дьявол есть то, что меньше всего понятно нам в Боге. Это не значит, будто мы самого Бога считаем смесью высшего и низшего начал, добра и зла, любви и ненависти, созидательной мощи и разрушительной страсти. Дьявол — это мысль, будто можно ограничить, классифицировать, дистиллировать

Бога, разделить его на фракции так, чтобы он стал тем, и только тем, что мы готовы принять и от чего уже не надо обороняться. Перед лицом истории обнаруживается сомнительность этого взгляда, поскольку из него неизбежно следует, что иного знания, кроме сатанинского, нет и что сатана расширяет владения повсеместно до тех пор, пока целиком не поглотит все то, что добывает знания. Ибо знание отменяет одну за другой нормы, именуемые заповедями Откровения. Оно позволяет убивать, не убивая, и созидать, разрушая; оно упраздняет особ, которых следует почитать, к примеру мать и отца, и сокрушает догматы, предполагающие сверхъестественность непорочного зачатия и бессмертие души.

А если это дьявольское искушение, то все, чего бы ты ни коснулся, тоже дьявольское искушение, и даже нельзя сказать, что Дьявол поглотил цивилизацию, но не Церковь, — ибо Церковь, пусть неохотно, дает постепенно свое согласие на добывание знаний, и нет на этом пути такого места, в котором ты мог бы сказать: «Досюда, а дальше уже нельзя!» Ведь никому, как в Церкви, так и вне ее, не дано знать, каковы будут завтрашние последствия познанного сегодня. Церковь может время от времени давать оборонитель-

ные сражения, однако, пока она защищает один фронт — ну хотя бы неприкосновенность зачатия, — прогресс, не ввязываясь в лобовую схватку, обходным маневром обессмысливает защиту старых позиций. Тысячу лет назад Церковь защищала материнство, а знание упразднило понятие матери: сперва оно разделило акт материнства надвое, потом вынесло его из тела вовне, затем научилось синтезировать зародыш, так что три века спустя защита утратила всякий смысл; а тогда уж Церкви пришлось дать согласие и на дистанционное оплодотворение, и на зачатие в лаборатории, и на роды в машине, и на духа в машине, и на машину, приобщенную таинств, и на исчезновение различия между естественно сотворенным и искусственным бытием. Захоти она стоять на своем, ей однажды пришлось бы признать, что нет иного Бога, кроме Дьявола.

Чтобы спасти Бога, мы признали историчность Дьявола, то есть его эволюцию как меняющуюся во времени проекцию тех черт, которые нас в Творении ужасают и губят одновременно. Дьявол — это наивная мысль, будто можно отличить Бога от Небога, как день от ночи. Бог есть Тайна, а Дьявол — олицетворение обособившихся черт этой тайны. Для нас нет надысторического Дья-

вола. Единственная вечная его черта, которую как раз и принимали за личность, проистекает из свободы. Однако, внимая мне, ты, гость и пришелец из дальних сторон, должен забыть о категориях вашей мысли, сформировавшейся в ходе иной, не нашей истории. Свобода означает для нас вовсе не то же самое, что для тебя. Она означает падение всяких ограничений действия или исчезновение того сопротивления, которое жизнь встречает на заре своего разумного бытия. Именно это сопротивление лепит разум, поднимая его из пропасти растительного прозябания. Поскольку, однако, сопротивление это болезненно, историческому разуму мерещится в качестве идеала совершенная свобода, и именно в эту сторону шагает цивилизация. Есть шаг вытесывания каменных урн и шаг гашения солнц, и нет между ними неодолимых преград.

Свобода, о которой я говорю, — не то скромное состояние, о котором мечтают люди во времена, когда другие люди их мучают, ибо тогда человек человеку решетка, стена, силки и пропасть. Свобода, о которой я веду речь, лежит дальше, она начинается за этой зоной подавления всеми каждого в обществе (зоной, которую можно миновать невредимыми); вот тогда-то в поисках

какого-нибудь сопротивления — ведь человек человеку его уже не оказывает — его находят в мире и в самих себе и в качестве противника выбирают себя и мир, чтобы сразиться с обоими и обоих себе подчинить. Когда же удается и это, разверзается бездна свободы: чем больше можно сделать всего, тем меньше известно, что именно следует делать. Поначалу нас искушает мудрость, но из кувшина воды в пустыне она становится кувшином воды посреди озера, если усваивается она, как вода, и если можно наделить ею железный лом и лягушачью икру.

Если, однако, в стремлении к мудрости видится что-то достойное, то достойных аргументов в пользу бегства от мудрости нет, и никто не заявит вслух о желании отупеть; а если бы даже у него и достало смелости в этом признаться, то докуда, собственно, следует ему отступить? Ведь естественной границы между разумом и неразумом больше не существует — наука раздробила ее на кванты и растворила; и даже дезертиру знания не уйти от свободы, ибо из всех воплощений он должен выбрать то, которое ему по душе, а возможностей перед ним открывается больше, чем звезд на небе. Чудовищно мудрый среди таких же, как он, он становится карикатурой на

мудрость, подобно тому как пчелиная царица без улья — когда никому не нужна уже масса яичек, распирающая ее брюшко, — становится карикатурой на матку.

И начинается бегство из этого места, украдкой и в глубочайшем стыде или внезапно и в величайшей панике. Там, где каждый может быть лишь таким, каков есть, он «остается при своем» по необходимости. Там, где каждый может быть иным, чем есть, он будет дробить свою судьбу, перескакивая из бытия в бытие. Сверху такое общество выглядит словно пчелиный рой на раскаленной плите. Издалека его муки кажутся фарсом — уж больно смешны скачки от мудрости к отупению и употребление плодов разума для игры на животе, как на барабане, беготни на ста ногах или выстилания стен мозгом. Там, где можно продублировать любимое существо, нет уже любимых существ, но есть лишь осмеяние любви, а там, где можно быть кем угодно и питать какие угодно убеждения, каждый становится никем, и нет никаких убеждений. Оттого-то наша история то и дело идет ко дну и отталкивается от него, подпрыгивая, как паяц на веревочке, и кажется чудовищно забавной.

Власти регламентируют свободу, но границы,

которые они ей ставят, не настоящие, и их штурмуют бунтовщики, потому что нельзя закрыть совершенные однажды открытия. Называя Сатану воплощением свободы, я хотел лишь сказать, что он есть та сторона Божьего дела, которая ужасает нас больше всего; Сатана — это распутье возможностей, на котором, достигнув цели, мы застыли, словно в параличе. По мысли наивных философов, мир «должен» ограничивать нас, как смирительная рубашка — безумца, а второй голос той же самой философии бытия говорит, что узы «должны» содержаться в нас самих. Утверждающие это ищут границ свободы, установленных либо во внешнем мире, либо в нас самих: они хотят, чтобы мир пропускал нас не во всех направлениях или же чтобы нас сдерживала наша собственная природа. Но Бог не провел границ ни первого, ни второго рода. Мало того, он еще сгладил места, в которых мы некогда ожидали найти эти границы, чтобы, переступая их, мы сами не знали об этом.

Я спросил, не следует ли отсюда, что Бог дуизма ничем не отличается от Дьявола, и заметил едва уловимое волнение собравшихся. Историк молчал, а генерал ордена произнес:

— Дело обстоит так, как ты говоришь, но не так,

как ты думаешь. Говоря «Бог есть Дьявол», ты придаешь этим словам грозный смысл: Творец низок. В таком случае сказанное тобою — неправда, но только в твоих устах. Скажи то же самое я или кто-нибудь из здешней братии, наши слова получили бы смысл совершенно иной. Они означали бы только, что есть Божьи дары, которые можно принять без опаски, и дары, которые нам не по силам. Они означали бы: «Господь нас абсолютно ни в чем не ограничил, не ущемил и ничем не связал». Заметь, что мир, приневоленный к одному лишь добру, был бы таким же храмом неволи, как и мир, приневоленный к одному лишь злу. Согласен ли ты со мной, Дагдор?

Историк, к которому обращался этот вопрос, согласился и заговорил сам:

— Мне как историографу верований известны теогонии, согласно которым Господь создал мир не вполне совершенный, однако движущийся — прямо, зигзагами или по спирали — к совершенству; выходит, что Бог — это очень большой ребенок, запускающий заводные игрушки в «правильном» направлении ради собственного удовольствия. Мне известны также учения, называющие совершенным то, что уже имеется налицо, а чтобы баланс этого совершенства

сошелся, вносят в расчет поправку, которая как раз и называется дьяволом. Но модель бытия как игры в игрушечный паровозик с вечной пружиной прогресса, который все успешнее тащит сотворенных туда, где все лучше и лучше; и модель, изображающая мир как боксерский матч между Светом и Мраком, танцующими на ринге перед Господом-рефери; и модель мира, в котором необходимо чудесное вмешательство, или, иначе, модель Творения как барахлящих часов и чуда как пинцета Всевышнего, прикасающегося к звездным колесикам и шестеренкам, чтобы подкрутить, что положено; а также модель мира как вкусного торта, в котором попадаются рыбьи кости дьявольских искушений, — все это картинки из букваря рода Разумных, то есть из книжицы, которую зрелый возраст откладывает на полки детской — с меланхолией, но и с пожатием плеч. Демонов нет, если демоном считать свободу; мир лишь один, и Бог один, и вера одна, пришелец, а все остальное — молчание.

Я хотел спросить, как они представляют себе положительные атрибуты Бога и мира, ведь пока что я слышал лишь, чем не является Бог, а после лекции по эсхатологии свободы в голове у меня был сумбур и сумятица, — но пора было снова

трогаться в путь: когда мы уже покачивались на своих стальных скакунах, я, застигнутый неожиданной мыслью, спросил отца Дарга, почему, собственно, его орден получил название деструкцианцев?

— Это связано с темой нашей застольной беседы, — отвечал он. — Название это, весьма давнего происхождения, означает приятие бытия целиком, поскольку бытие целиком исходит от Бога — не только в той его части, что является творчеством, но и в той, что кажется нам противоположностью творчества. Это не значит, — поспешил он добавить, — будто и сами мы за деструкцию; конечно, теперь никто не окрестил бы орден таким именем, оно лишь указывает на известную теологическую строптивость, напоминает о кризисах, уже пережитых Церковью.

Я невольно зажмурил глаза — мы добрались до места, где своды туннеля обвалились и канал частично выходил на поверхность, — и долго не мог приподнять веки, настолько успел отвыкнуть от солнца. Перед нами лежала равнина без всяких следов растительности; громада города синела на горизонте, и все пространство рассекали идущие в разных направлениях дороги, широкие и гладкие, словно отлитые из какого-то серебристого

металла; на них царила совершенная пустота, как и в небе над нами, по которому плыло несколько белых брюхатых облаков.

Наши стальные кобылы, выглядевшие особенно неуклюже на этом шоссе, рассчитанном на огромную скорость, и тоже словно ослепленные непривычным для них сиянием солнца, не торопясь и поскрипывая, шли по известному монахам кратчайшему пути; но прежде чем они добрались до бетонного желоба, опять уходящего в землю, между арками виадука показалось небольшое строение изумрудного и золотистого цвета; я решил, что это бензоколонка. Рядом с ним стояла плоская, как большой таракан, машина — должно быть, гоночная; в домике не было окон, но сквозь полупрозрачные стены солнце просвечивало, как сквозь витраж; когда наша растянувшаяся колонна оказалась шагах в шестидесяти от него, я услышал доносящиеся оттуда стоны и хрипы до того ужасные, что волосы встали у меня дыбом. Голос — без сомнения, человеческий — хрипел и стонал попеременно. Я уже больше не сомневался, что это крик пытаемого, а может быть, убиваемого, и взглянул на своих спутников, но они не обращали никакого внимания на эти исступленные вопли.

Я хотел крикнуть им, позвать и их тоже на помощь, но лишился голоса при леденящей душу мысли, что судьба истязаемого человека может им быть до такой степени безразлична; я молча соскочил с железной кобылы и побежал напрямик не оглядываясь. Но прежде чем я успел добежать, раздался хриплый, короткий визг, и все утихло. Здание было павильоном легкой, воздушной конструкции, с виду — без всяких дверей; я обежал его и, не обнаружив входа, застыл как вкопанный перед стеной из голубоватой стекловидной массы, настолько прозрачной, что я смог заглянуть внутрь. На забрызганном кровью столе кто-то лежал — между аппаратами, блестящие трубки или клещи которых впивались в тело, уже мертвое, перекрученное предсмертной судорогой так, что я не мог отличить рук от ног. Не видел я и головы или того, что ее заменяло: ее закрывал надвинутый сверху массивный металлический колокол с игольчатыми шипами. Многочисленные раны трупа уже не кровоточили, наверное, сердце перестало биться. Ступни мои жег раскаленный солнцем песок, в ушах звучал еще нечеловеческий вопль умирающего, я стоял, парализованный омерзением, страхом, необъяснимостью сцены, ведь больше здесь ни-

кого не было — я мог заглянуть во все углы этого зала машинных пыток; я скорее почувствовал, чем услышал приближение фигуры в капюшоне и, краешком глаза заметив, что это настоятель, хрипло спросил:

— Что это? Кто убил его? А?

Он стоял рядом со мною, как статуя, и я онемел, припомнив, что это и вправду железная статуя; в подземелье фигуры монахов в капюшонах не выглядели такими невероятно чужими, как здесь, на самом солнце, посреди белой геометрии дорог, на чистом фоне горизонта; труп, скрючившийся в объятиях металла, там, за стеклянной стеной, показался мне кем-то единственным, кем-то близким, меж тем как я стоял один как перст среди холодных, логичных машин, не способных ни на что, кроме отвлеченного умствования. Меня охватило желание, больше того, решимость уйти, не отозвавшись ни единым словом, не попрощавшись с ними даже взглядом; между мною и ими в мгновение ока разверзлась непреодолимая пропасть. И все-таки я продолжал стоять, а рядом молча, словно чего-то еще ожидая, стоял отец Дарг.

В помещении, залитом голубым светом, пропущенным через стеклянную крышу и стены, что-то

дрогнуло. Сверкающие сочленения аппаратов над окоченевшим телом пришли в движение. Они осторожно выпрямляли конечности замученного, поливали его раны какой-то прозрачной жидкостью, курившейся белым паром; кровь с него смыли, и теперь он покоился плоско, прибранный к вечному сну; но блеснули какие-то острия, я решил, что сейчас его вскроют, и, хотя он был уже мертв, хотел побежать туда, уберечь его от четвертования; однако настоятель положил мне на плечо железную руку, и я остался на месте.

Сверкающий колокол поднялся, и я увидел нечеловеческое лицо; теперь все машины работали одновременно и с такой скоростью, что видно было только мелькание, и под столом — движение стеклянной помпы, в которой бурлила красная жидкость; наконец в средоточии всей этой суеты грудь лежащего приподнялась и опала; раны заживали у меня на глазах, он шевелился и потягивался всем телом.

— Воскрес? — спросил я шепотом.

— Да, — отвечал настоятель. — Чтобы скончаться еще раз.

Лежащий огляделся вокруг; мягкой, словно бескостной ладонью взялся за рукоятку, торчавшую

сбоку, и потянул за нее, колокол снова надвинулся ему на голову, косые клещи, высунувшись из ножен, схватили тело, раздался тот же вопль, что и раньше; я до такой степени ничего уже не соображал, что безропотно позволил отвести себя к терпеливо ожидавшему нас каравану седоков в капюшонах, в каком-то отупении вскарабкался на железную клячу и слушал, что мне говорят: настоятель объяснял, что в павильоне устроен пункт обслуживания, позволяющий переживать собственную смерть. Делается это для того, чтобы испытать возможно более сильные ощущения, и вовсе не только мучительные: при помощи трансформатора раздражителей боль ежесекундно сменяется жутким наслаждением. Благодаря определенным типам автоморфии дихтонцам мила даже агония, а кому маловато одной, тот по воскрешении дает убить себя снова, чтобы пережить необычайное потрясение еще раз. И в самом деле, наш стальной караван удалялся от места развлекательной казни настолько медленно, что хрипенье и стоны любителя сильных ощущений еще доносились до нас. Эта необычная техника получила название «агонирование».

Одно дело — читать о кровавой сумятице прошлого в исторических книгах, и другое — хоть в

малой мере увидеть и пережить ее самому. Мне уже так опротивело пребывание на поверхности, под ярким солнцем, среди излучин серебряных автострад, мелькающая далеко позади искорка павильона наводила на меня такой ужас, что я с истинным облегчением углубился во тьму канала, встретившего нас холодным и безопасным безмолвием. Настоятель, догадываясь о моих чувствах, молчал; до вечера мы посетили еще пустынь некоего анахорета и орден меньших братьев, поселившихся в отстойнике каналов дачного предместья; наконец поздней ночью мы закончили объезд епархии и вернулись в обитель деструкцианцев, перед которыми мне было до странности стыдно за те минуты, когда я так ужаснулся ими и возненавидел их.

Келья показалась мне уютным домом; на столе ждала приготовленная заботливым послушником холодная фаршированная этажерка; я быстро покончил с ней — успев уже проголодаться — и открыл том дихтонской истории, посвященный Новому времени.

В первой главе повествовалось об автопсихических движениях XXIX века. Всеизменчивость так уже всем надоела, что идея — оставить тело в покое и заняться перековкой сознания — словно

омолодила общество и вылечила его от маразма. Так началось Возрождение. Во главе его стояли гениалиты, предложившие сделать всех мудрецами. Тотчас обнаружилась неутолимая жажда познания, вовсю начали развиваться науки, устанавливалась межзвездная связь с иными цивилизациями; информация, однако, росла лавинообразно, и понадобились новые телесные переделки, ибо ученый мозг не умещался даже в животе; общество огениальнивалось по экспоненте, и волны умудрения обегали планету. Этот Ренессанс, усматривавший смысл бытия в Познании, продолжался семьдесят лет. Рябило в глазах от мыслителей, профессоров, суперпрофессоров, ультрапрофессоров, а потом и контрпрофессоров.

А так как волочить все более мощный мозг на тылоходах становилось все неудобнее, после непродолжительной стадии двоедумцев (снабженных как бы двумя телесными тачками, передней и задней, для размышлений высших и низших) гениалиты, силой обстоятельств, превратились в недвижимость. Каждый из них был замкнут в башне собственной мудрости, опутанный змеями проводов, как Медуза Горгона; общество походило на соты, в которых

личинки-люди копили мед мудрости. Беседовали беспроводным манером и обменивались телевизитами; дальнейшая эскалация привела к конфликту сторонников обобществления частной мудрости со скопидомами — накопителями знаний, которые всю информацию желали иметь для себя лично. Начались подслушивание чужих размышлений, перехват наиболее мозговитых концепций, подкапывание под башни философских и литературных противников, подтасовка данных, подгрызание кабелей и даже попытки аннексии чужого психического имущества вместе с личностью его владельца.

Реакция на все это была решительной. Наши средневековые гравюры, изображавшие драконов и заморские диковины, — ребячество по сравнению с телесным разгулом, охватившим планету. Истязухи, вырыванцы и людорезы рыскали посреди всеобщего хаоса. Расплодились симбиозы тел и агрегатов, сноровистые во всяком распутстве (головоз, автолюб, селадон-аппаратчик), а также кощунственные карикатуры на духовенство — змеинок, змеинокиня, архимандог и святуша.

Именно тогда в моду вошло агонирование. Дело кончилось стремительным регрессом цивилиза-

ции. Орды мускулистых давильцев с танкинями озорничали в лесах. В укромных норах таились жутеныши. На планете не осталось уже и признаков того, что когда-то она была колыбелью гуманоидного разума. В парках, заросших столовым сорняком и одичавшими вилками и ножами, покоились между кустами салфетника мебелища — сущие горы дышащего мяса. Эти кошмарные формы чаще всего были не результатом сознательного планирования, но следствием дефектов телотворительной аппаратуры: вместо заказанного ей товара она плодила уродов-дегенератов. В эту эпоху социального монстролиза, как пишет проф. Гранз, предыстория словно брала реванш у своих поздних потомков, ибо то, что для первобытного ума было кошмаром мифов, чудовищным словом, — становилось плотью теперь, в разогнавшемся биотическом механизме.

В начале XXX века диктаторскую власть над планетой захватил Дзомбер Глаубон и через двадцать лет добился телесной унификации, нормализации и стандартизации, поначалу воспринятых как спасение. Он был сторонником просвещенного и гуманного абсолютизма, а потому не допустил истребления вырожденцев XXIX века, но велел поселить их в особых резервациях;

кстати сказать, как раз на окраине одной из них, под развалинами древней столицы провинции, и находился подземный монастырь деструкцианцев, который дал мне приют. По указу Д. Глаубона каждый гражданин должен был стать самистом-беззадником, то есть таким однополым, что сзади и спереди выглядит одинаково. Дзомбер написал «Мысли», трактат с изложением своей программы. Он лишил население секса, в котором усматривал первопричину прежнего упадка; центры наслаждения были оставлены гражданам — правда, после обобществления. Глаубон также оставил им разум, поскольку не хотел управлять дебилами, но видел в себе обновителя цивилизации.

Однако же разум — это способность мыслить по-всякому, а значит, инакомыслить. Нелегальная оппозиция ушла в подполье и устраивала там мрачные антисамистские оргии. Так, во всяком случае, утверждала правительственная печать. Впрочем, Глаубон не преследовал оппозиционеров, принимавших бунтарские формы (омерзенцы, задисты). По слухам, были также подпольщики-двузадисты, утверждавшие, будто разум дан как раз для того, чтобы было чем понять, что нужно от него поскорее избавиться,

ведь именно он — виновник всех исторических бедствий; голову они заменяли тем, в чем принято видеть ее противоположность, ибо считали ее лишней, вредной и крайне банальной; но отец Дарг уверял меня, что казенная пресса от усердия преувеличивала. Задистам действительно не нравилась голова, и они от нее отказались, но мозг всего лишь перенесли вниз, чтобы на мир он смотрел пупочным глазом и еще одним, размещенным сзади, немного пониже.

Наведя кое-какой порядок, Глаубон провозгласил план тысячелетней социальной стабилизации посредством так называемой гедальгетики. Ее введению предшествовала шумная пропагандистская кампания под лозунгом «СЕКС РАДИ ТРУДА». Каждому гражданину выделялось рабочее место, а инженеры нервных путей так соединяли нейроны его мозга, что он ощущал наслаждение только при усердном труде. И ежели кто деревья сажал либо воду носил, он просто млел в упоении, и чем лучше работал, тем большего достигал экстаза. Но присущее разуму коварство подкопало и этот, казалось бы, безотказный социотехнический метод. Ибо нонконформисты трудовой экстаз почитали формой порабощения. Усмиряя в себе рабочую похоть

(трудоблудие), они, наперекор вожделению, гнавшему их на рабочее место, не тем занимались, на что подбивал их зов плоти, но все делали прямо наоборот. Кого тянуло быть водоносом, валил лес, а кого дровосеком — воду таскал, и все это в рамках антиправительственных манифестаций. Усиление обобществленных влечений, неоднократно проводившееся по приказанию Глаубона, имело лишь тот результат, что историки назвали эти годы его правления эпохой мучеников. Опознание правонарушителей доставляло биолиции немало хлопот, поскольку замеченные в умышленном извращенном страдании утверждали без зазрения совести, что стонали они как раз в упоении. Глаубон покинул арену биотической жизни глубоко разочарованный, убедившись в крахе своего великого плана.

Позже, на рубеже XXXI–XXXII столетий, разгорелась борьба диадохов; планета распалась на провинции, население которых телотворилось в соответствии с директивами местных властей. Это было уже в эпоху постмонстролитической Контрреформации. От прежних столетий остались скопища полуразвалившихся городов и эмбрионариев, резервации (в которые лишь от случая к случаю наведывались летучие контроль-

ные патрули), опустевшие сексострады и иные реликты прошлого, которые кое-где, хоть и в искалеченном виде, доживали свой век. Тетрадох Гламброн установил цензуру генетических кодов, и некоторые виды генов попали под запрет; однако нецензурные индивиды либо подкупали контрольные органы, либо использовали в публичных местах биомаски и бутаформы; хвосты приклеивали к спине пластырем или украдкой засовывали в штанину и т. д. Все эти ухищрения были секретом полишинеля.

Пентадох Мармозель, действуя по принципу «divide et impera»[22], в законодательном порядке увеличил число разрешенных полов. При нем наряду с мужчиной и женщиной появились двужчина, дваба и два вспомогательных пола — уложники и поддержанки. Жизнь, особенно эротическая, при этом пентадохе усложнилась до крайности. Вдобавок тайные организации свои собрания устраивали под видом поощряемых властями шестерных (гексуальных) сношений, так что проект пришлось урезать до минимума: до наших дней сохранились только двужчина и дваба.

---

[22] Примечания: 22
Разделяй и властвуй (*лат.*).

При гексадохах обычным делом стали телесные намеки, позволявшие обойти хромосомную цензуру. Я видел изображения дихтонцев, у которых ушные раковины переходили в небольшие лодыжки. Неизвестно было, прядает подобный субъект ушами или же намекает своими движениями на пинок под зад. В некоторых кругах ценился язык, законченный небольшим копытцем. Правда, он был неудобен и ни на что не годился, но в этом-то и выражался дух соматической независимости. Гурилла Хапсдор, слывший либералом, позволил особо заслуженным гражданам иметь сверхнормативную ногу; это было высоким отличием, а впоследствии добавочная нога, утратив свой пешеходный характер, стала всего лишь символом занимаемого поста; высшие чиновники имели до девяти ног; благодаря этому ранг дихтонца сразу был виден даже в бане.

В годы правления сурового Рондра Ишиолиса выдача разрешений на дополнительный телесный метраж была приостановлена, а у виновных в нарушении закона даже конфисковывали ноги; Ишиолис, по слухам, хотел вообще упразднить все конечности и органы, кроме жизненно необходимых, а также ввести микроминиатю-

ризацию, так как площадь строящихся квартир все сокращалась; но Бгхиз Гварндль, правивший после него, отменил эти директивы и допустил хвост под предлогом, что его кисточкой можно подметать пол.

Потом, при Гонде Гурве, появились так называемые нижние уклонисты, которые множили число конечностей нелегально; а на следующей стадии, когда власть еще более ужесточилась, опять появились или, скорее, попрятались языконогти и прочие бунтарские органеллы. Эти социальные колебания все еще продолжались, когда я прибыл на Дихтонию. То, чего никак не удалось бы осуществить во плоти, изображалось в порнобиолитературе — нелегальных, строго запрещенных изданиях; в монастырской библиотеке их было хоть пруд пруди. Я пролистал, например, манифест, призывающий к созданию головотопа, который ходил бы на голове; а плод фантазии другого анонимного автора, аэротик, должен был парить в воздухе на воздушной подушке.

Познакомившись в общих чертах с планетарной историей, я взялся за текущую научную литературу; центром проектно-исследовательских работ является теперь КОСТОПРАВ (Комитет

по Стандартизации Органо-Психических Разработок и Выкроек). Благодаря любезности отца библиотекаря я мог ознакомиться с самыми последними исследованиями этого органа. Так, например, инженер-телостроитель Дергард Мних разработал образец под рабочим названием пантелист, или вездельник. Проф. д-р инж. маг. Дбанд Рабор, руководитель большого исследовательского коллектива, работает над смелым, хотя и спорным проектом так называемого связунчика, который должен стать воплощением понятия «связь» в трех смыслах: почтовом, любовном и вилки с бутылкой. Я также смог ознакомиться с перспективно-футурологическими работами дихтонских телологов; мне показалось, что в целом телостроение зашло в тупик, хотя конструкторы пытаются покончить с застоем; статья директора КОСТОПРАВА проф. Иоахама Грауза в ежемесячнике «Голос тела» заканчивалась словами: «Как можно *не* перетеляться, если *можно* перетеляться?»

Эти упорные штудии настолько утомили меня, что, сдав в библиотеку последнюю стопку прочитанных книг, я целую неделю ничего не делал, а только загорал в мебельной роще.

Я спросил настоятеля, что он думает о биоти-

ческой ситуации. По его мнению, для дихтонцев уже нет возврата к человеческому облику — слишком далеко они от него отошли: в результате многовековой идеологической обработки этот облик вызывает в них такое предубеждение и такое всеобщее отвращение, что даже им, роботам, появляясь прилюдно, приходится закрывать себя целиком. Тогда я спросил (после ужина мы были одни в трапезной), какой, собственно, смысл имеет в подобной цивилизации монашеское служение и вера?

В голосе настоятеля я ощутил улыбку.

— Я ждал этого вопроса, — сказал он. — Я отвечу на него дважды, сначала попросту, потом более тонко. Если попросту, дуизм — это «надвое бабка гадала». Ибо Бог есть тайна до такой степени, что нельзя быть совершенно уверенным даже в самом его бытии. Либо он существует, либо нет; отсюда название нашей веры. А теперь еще раз, но глубже: Бог Достоверный не есть совершенная тайна, коль скоро по крайней мере на том его можно поймать (а тем самым и ограничить), что Он существует. Его гарантированное бытие было бы оазисом, местом успокоения, лености духа, и потому-то в трудах по истории религии ты видишь прежде всего многовековое, неустанное, до

крайности напряженное, доходящее до безумия усилие мысли, которая вечно громоздила один на другой аргументы и доказательства Его существования и вечно рассыпающуюся постройку возводила из руин и обломков заново. Мы не утруждали тебя изучением наших теологических книг, но если бы ты в них заглянул, то увидел бы дальнейшие стадии естественной эволюции веры, еще незнакомые более молодым цивилизациям. Догматическая фаза не обрывается вдруг, но переходит из состояния замкнутости в состояние открытости, когда, на диалектический лад, после догмата о непогрешимости главы Церкви провозглашается новый догмат — неизбежной недостоверности любых суждений по вопросам веры. Этот догмат гласит: «Все, что можно помыслить ЗДЕСЬ, никак не соотносится с тем, что пребывает ТАМ». Уровень абстракции уходит все выше и выше: заметь, что дистанция между Богом и разумом с течением времени возрастает — везде и всегда!

Прежде, в древних откровениях, Господь постоянно вмешивался во все: хороших живьем забирал на небо, плохих поливал серой, сидел за первым попавшимся кустом — и лишь потом начал отдаляться, утрачивать наглядность, че-

ловекообразие, бородатость; исчезли школьные пособия в виде чудес, а также эффектные учебные опыты, такие как переселение бесов в свиней и ангельские инспекции, — словом, вера обходилась уже без ярмарочной метафизики; из области чувств она переходила в сферу абстракции. Но и тогда не было недостатка в доказательствах Его существования, формулируемых на языке санкторной алгебры или какой-нибудь еще более элитарной герменевтики. В конечном счете процесс абстрагирования достигает вершины, на которой объявляют о смерти Бога, взамен обретая стальной, леденящий и жутковатый покой, — тот самый, что становится уделом живых, навсегда оставленных теми, кого они любили больше всего.

Манифест о смерти Бога оказывается поэтому новым маневром, который должен избавить нас — хотя и к нашему ужасу — от метафизических хлопот. Мы одни, и будем делать, что захотим, или то, к чему ведут нас очередные открытия. Так вот: дуизм пошел еще дальше; в нем ты веруешь, сомневаясь, и сомневаешься, веруя; но и это состояние не может быть окончательным. Согласно некоторым отцам прогнозитам, эволюции и революции, то есть обороты и перевороты

вер, не протекают одинаково в целом космосе, и есть весьма могущественные и великие цивилизации, которые пробуют всю Космогонию обернуть антигосподней провокацией. Согласно этой догадке, есть где-то на звездах народы, что пытаются прервать ужасное молчание Бога, угрожая Ему КОСМОЦИДОМ и тем самым бросая Ему вызов: им нужно, чтобы вся Вселенная стянулась в одну точку и сама себя сожгла в пламени этой последней судороги; можно сказать, что низвержением Господня творения они пытаются заставить Господа хоть как-то заявить о себе; и пусть мы не знаем об этом ничего достоверного, психологически подобный замысел представляется мне возможным. Но вместе с тем и напрасным, ибо устраивать, вооружаясь антиматерией, крестовые походы на Господа Бога — не слишком удачный способ до Него достучаться.

Я не мог удержаться от замечания, что дуизм, похоже, либо совпадает с агностицизмом или «не до конца уверенным в себе атеизмом», либо он — вечное колебание между двумя полюсами: «есть» и «нет». Но если в нем имеется хоть крупица веры в Бога, то чему служит монастырская жизнь? Кому хоть что-нибудь дает это сидение в катакомбах?

— Слишком много вопросов сразу! — произнес отец Дарг. — Подожди. А что нам, по-твоему, следовало бы делать?

— То есть как это? Ну, хотя бы миссионерствовать...

— Значит, ты так ничего и не понял! Ты и ныне далек от меня, как при первой нашей встрече! — сказал настоятель с глубокой грустью. — Ты полагаешь, нам следовало бы заняться проповедничеством? Миссионерством? Обращением в нашу веру?

— А разве вы, отец, думаете иначе? Как же так? Разве не таково во все времена ваше призвание? — удивился я.

— На Дихтонии, — произнес настоятель, — возможен миллион вещей, о которых ты и не подозреваешь. У нас без труда можно стереть содержимое индивидуальной памяти и опустевший разум заполнить новой, синтетической памятью, так что подвергнутому этой операции будет казаться, будто он пережил то, чего никогда не было, и ощущал то, чего никогда не ощущал, — словом, можно сделать его Кем-то Иным, чем он был раньше. Можно переделывать характер и личность, то есть преображать сластолюбивых насильников в кротких самаритян и наоборот;

атеистов — в святых, аскетов — в беспутников; можно оглуплять мудрецов, а глупцов делать гениями; пойми, что все это очень легко и ничто МАТЕРИАЛЬНОЕ не препятствует таким переделкам. А теперь призадумайся хорошенько над тем, что я тебе скажу.

Доводам наших проповедников мог бы поддаться даже твердокаменный атеист. Допустим, такие апостолы-златоусты обратят в нашу веру сколько-то посторонних. В конечном результате этой миссии изменится сознание тех, кто раньше не верил, и они уверуют. Это очевидно, не так ли?

Я согласился.

— Превосходно. А теперь учти, что эти люди изменят свои убеждения в вопросах веры, потому что мы, снабжая их информацией посредством вдохновенных слов и ораторских жестов, определенным образом перестроим их мозги. Однако того же конечного результата — внедрения в мозги истовой веры и влечения к Господу — можно достичь в миллион раз быстрей и надежней, применяя подобранную гамму биотических средств. Так зачем же, имея к своим услугам столь современные средства, миссионерствовать старомодным внушением, проповедями, речами

и лекциями?

— Да неужели вы это серьезно! — воскликнул я. — Ведь это было бы безнравственно!

Настоятель пожал плечами.

— Ты говоришь так, потому что ты — дитя другой эпохи. Ты, верно, думаешь, будто мы действовали бы хитростью и обезволиванием, то есть при помощи «криптомиссионерской» тактики, тайком рассеивая какие-нибудь химикаты либо обрабатывая умы какими-нибудь волнами или колебаниями. Но это вовсе не так! Когда-то у нас велись диспуты верующих с неверующими, на которых единственным средством, единственным оружием была словесная мощь доводов обеих сторон (я оставляю в стороне «диспуты», в которых аргументом был кол, костер или плаха). Ныне подобный диспут велся бы при помощи технических средств аргументации. Мы бы действовали орудиями обращения, а закоренелые оппоненты контратаковали бы средствами, долженствующими переделать нас по их образцу или, по крайней мере, обеспечить им невосприимчивость к нашим миссионерским приемам. Шансы обеих сторон на выигрыш зависели бы от эффективности технических средств, так же как некогда шансы на победу в диспуте зависели

от эффективности словесной аргументации. Ибо обращать неверующих — значит передавать информацию, заставляющую уверовать.

— И все же, — упорствовал я, — это было бы не настоящее обращение! Ведь препарат, возбуждающий жажду веры и алкание Бога, фальсифицирует сознание: он не взывает к свободе разума, но принуждает его и насилует!

— Ты забываешь, кому и где говоришь это, — отвечал настоятель. — Уже шестьсот лет как у нас нет ничего похожего на «естественное» сознание. А значит, нет и возможности отличить навязанную мысль от естественной, поскольку теперь уже незачем тайком навязывать какие бы то ни было убеждения. Навязывают нечто более раннее и вместе с тем окончательное — то есть мозг!

— Но даже этот навязанный мозг обладает нормальной логикой! — возразил я.

— Верно. Однако приравнивать прежние диспуты о Боге к нынешним было бы неправомерно лишь в том случае, если бы в пользу веры имелась логически неопровержимая аргументация, заставляющая разум принять конечный результат столь же непререкаемо, как это делает математика. Но, согласно нашей теологии, такой аргументации быть не может. И потому история

верований знает отступничества и ереси, но в истории математики ничего подобного мы не видим; нет и не было математиков, которые отказывались бы признать, что имеется один только способ прибавить единицу к единице и что результатом такого сложения будет число два. Но Бога математически не докажешь. Расскажу тебе о том, что случилось двести лет назад.

Некий отец компьютер вступил в спор с неверующим компьютером. Этот последний, будучи новейшей моделью, располагал средствами информационного воздействия, неизвестными нашему клирику; он выслушал его аргументацию и сказал: «Ты меня проинформировал, а теперь я проинформирую тебя, что не займет и миллионной доли секунды; преображение наступит немедля — но не Господне!» После чего дистанционно и молниеносно проинформировал нашего отца так, что тот веру утратил! Что скажешь?

— Ну, если и это не было насилием над природой, то просто не знаю! — воскликнул я. — У нас это зовется манипуляцией сознанием.

— Манипулировать сознанием, — промолвил отец Дарг, — значит связывать дух незримыми путами подобно тому, как можно связывать тело видимым образом. Мысль подобна писанию от

руки, а манипулировать ею — значит водить пишущей рукою так, чтобы она выписывала иные знаки. Это, конечно, насилие! Но тот компьютер действовал по-другому. Любое заключение исходит из каких-то данных, а убеждать оппонента — значит при помощи произносимых слов переставлять данные в его уме. Именно это и совершил тот компьютер, только без всяких речей. Формально он сделал то же самое, что и прежний, обычный дискутант, но иными средствами коммуникации. Он мог поступить так, потому что благодаря своим способностям видел ум оппонента насквозь. Представь себе, что один шахматист видит лишь доску с фигурами, а другой, сверх того, прозревает еще мысли противника. Он победит его наверняка, не совершая над ним никакого насилия. Как ты думаешь, что мы сделали с нашим братом, когда он вернулся к нам?

— Наверно, вы сделали так, чтобы он снова уверовал... — неуверенно отозвался я.

— Нет, поскольку он не давал согласия. Так что мы не могли этого сделать.

— Теперь я уже ничего не понимаю! Ведь вы поступили бы в точности так же, как и его противник, только наоборот!

— Да нет же. Уже нет, ибо наш бывший брат не желал новых диспутов. Понятие «диспут» изменилось и значительно расширилось, понимаешь? Тот, кто соглашается ныне на диспут, должен быть готов не только к словесным атакам. Наш брат проявил, увы, печальное неведение и наивность; а ведь он мог бы поостеречься, ибо тот заранее предупреждал о своем перевесе; но у него в голове не помещалось, что его неколебимая вера может перед чем-либо не устоять. Теоретически имеется выход из этой эскалационной ловушки: нужно изготовить разум, способный учесть *все* сочетания *всех возможных* данных; но так как их множество обладает бесконечной мощностью, лишь бесконечному разуму было бы по силам обрести метафизическую достоверность. Такого разума нельзя построить наверняка. Как бы мы ни старались, мы строим нечто конечное, а если и есть бесконечный компьютер, то единственно Он.

Так что на новом уровне цивилизации спор о Всевышнем не только может, но и должен вестись при помощи новых техник — если его вообще желают вести. Ибо информационное оружие по *обе стороны* изменилось *одинаково*, и положение борющихся в таком случае симметрично, а

потому тождественно положению участников средневековых диспутов. Это новое миссионерство можно признать безнравственным лишь в том случае, если признать безнравственным обращение язычников в древности или споры прежних теологов с атеистами. Всякий иной способ миссионерского служения уже невозможен, поскольку тот, кто ныне хотел бы уверовать, уверует наверняка, а тот, кто обладает верой и желает ее утратить, наверняка утратит ее — при помощи соответствующих процедур.

— Но тогда, в свою очередь, можно было бы воздействовать на орган воли, внушая желание верить?

— Так оно и есть. Как ты знаешь, некогда было сказано, что Бог на стороне больших батальонов. Теперь, согласно принципу техногенных крестовых походов, он оказался бы на стороне более мощных веровнушающих аппаратов; но мы не считаем, будто нам следовало втянуться в эту гонку боголюбивых и богоборческих вооружений; мы не хотим вступать на путь эскалации, при которой мы построим веровнушитель, а они — веротушитель, мы обратим туда, а они обратно, и будем так бороться веками, превратив монастыри в кузницы все более действенных

средств и приемов, внушающих алкание веры!

— Не могу поверить, — сказал я, — что нет иного пути, кроме того, на который вы, отец, мне указываете. Ведь логика для всех одна, не так ли? А естественный разум?

— Логика — это орудие, — отвечал настоятель, — а орудие само по себе еще ничего не значит. Ему нужен лафет и направляющая рука, а у нас и то и другое можно вылепить, кому как захочется. Что же до естественного разума, то разве я и другие отцы естественны? Мы, как я тебе уже говорил, не что иное, как лом, а наше «Верую» для тех, кто нас изготовил, а после выбросил, — побочный продукт, бормотание этого лома. Мы получили свободу мысли, потому что промышленность, для которой нас предназначили, требовала именно этого. Слушай внимательно. Я открою тебе тайну, которую никому другому не доверил бы. Я знаю, что вскоре ты нас покинешь и что не выдашь ее властям: иначе нам несдобровать.

Братия одного из отдаленных монастырей, посвятившая себя ученым занятиям, открыла средства такого воздействия на волю и мысль, что могла бы в мгновение ока обратить в нашу веру всю планету, поскольку против этих средств нет никакого противоядия. Они не одурманивают,

не отупляют, не лишают свободы, а лишь действуют на дух так же, как рука, поворачивающая голову к небу, и голос, произносящий: «Смотри!» Единственным понуканием или принуждением было бы то, что нельзя снова закрыть глаза. Эти средства заставляют увидеть лик Тайны, а тот, кто узрит ее, уже от нее не избавится, ибо она запечатлелась в нем навечно. Все равно как если бы я привел тебя к жерлу вулкана и наклонил, чтобы ты посмотрел вглубь, а единственное принуждение, которое я позволю себе, свелось бы к тому, что увиденного тебе уже не забыть. Итак, мы УЖЕ всемогущи в деле обращения, поскольку достигли в нем той высшей степени свободы действий, которой достигла цивилизация в другой сфере — материального телотворения. То есть мы наконец могли бы... ты понимаешь меня? Мы обрели миссионерское всемогущество и не сделали ничего. Ибо единственное, в чем еще может обнаружить себя наша вера, — это отказ согласиться на такой шаг. Я говорю прежде всего: «Non agam»[23]. Не только «Non serviam»[24], но также: «Не буду действовать». Не буду, ибо могу

---

[23] Примечания: 23
Не буду действовать (*лат.*).

[24] Примечания: 24
Не буду служить (*лат.*) — цитата из Ветхого Завета (Иеремия, 2:20).

действовать наверняка и сделать все, что захочу. И потому мне не остается ничего иного, кроме как сидеть тут, в каменной крысиной норе, в сплетении пересохших каналов.

Я не нашел ответа на эти слова. Видя бесплодность дальнейшего пребывания на этой планете, после грустного и трогательного прощания с благочестивыми братьями я снарядил ракету, которая сохранилась целой и невредимой благодаря камуфляжу, и отправился в обратный путь, чувствуя себя другим человеком, нежели тот, что не слишком давно на ней высадился.

Путешествие двадцать второе

Я сейчас занят классификацией редкостей, привезенных мною из путешествий в самые отдаленные закоулки Галактики. Давно уже я решил передать всю коллекцию, единственную в своем роде, в музей; недавно директор сообщил мне, что для этого подготавливается специальный зал.

Не все экспонаты мне одинаково близки: одни пробуждают приятные воспоминания, другие напоминают о зловещих и страшных событиях, но все они неопровержимо свидетельствуют о подлинности моих путешествий.

К экспонатам, воскрешающим особенно яркие воспоминания, относится зуб, лежащий на маленькой подушечке под стеклянным колпаком; у него два корня, и он совершенно здоровый; сломался он у меня на приеме у Октопуса, владыки мемногов, на планете Уртаме; кушания там подавались превосходные, но чересчур твердые.

Такое же почетное место занимает в коллекции курительная трубка, расколотая на две неравные части; она выпала у меня из ракеты, когда я пролетал над одной каменистой планетой в

звездном семействе Пегаса. Жалея о потере, я потратил полтора дня, разыскивая ее в дебрях изрытой пропастями скалистой пустыни.

Рядом лежит коробочка с камешком не крупнее горошины. История его весьма необычна. Отправляясь на Ксерузию, самую отдаленную звезду в двойной туманности NGC-887, я переоценил свои силы; путешествие длилось так долго, что я был близок к отчаянью; особенно мучила меня тоска по Земле, и я себе места не находил в ракете. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на двести шестьдесят восьмой день пути я не почувствовал, как что-то впилось мне в пятку левой ноги; я снял башмак и со слезами на глазах вытряхнул из него камешек, крупицу самого настоящего земного гравия, попавший туда, вероятно, еще на космодроме, когда я поднимался в ракету. Прижимая к груди этот крохотный, но такой дорогой мне кусочек родной планеты, я бодро долетел до цели; эта памятка мне особенно дорога.

Рядом лежит на бархатной подушке обыкновенный желтовато-розовый кирпич из обожженной глины, слегка треснувший и с одного конца обломанный; если бы не счастливое стечение обстоятельств и не мое присутствие духа, я нико-

гда не вернулся бы из путешествия в туманность Гончих Псов. Этот кирпич я обычно беру с собою, направляясь в самые холодные уголки космоса; у меня есть привычка класть его на некоторое время на реактор, чтобы потом, когда он хорошенько разогреется, переложить перед сном в постель. В верхнем левом квадранте Млечного Пути, там, где звездный рой Ориона смыкается с роями Стрельца, летя на малой скорости, я стал свидетелем столкновения двух громадных метеоритов. Зрелище огненного взрыва во мраке так взволновало меня, что я схватил полотенце, чтобы вытереть лоб. Я забыл, что только что завернул в него кирпич, и чуть не разбил себе череп. К счастью, я со свойственной мне расторопностью вовремя заметил опасность.

Рядом с кирпичом стоит небольшая деревянная шкатулка, а в ней — мой перочинный ножик, спутник во множестве путешествий. О том, как я сильно привязан к нему, свидетельствует следующая история, которую я расскажу, ибо она того стоит.

Я вылетел с Сателлины в два часа пополудни с ужасным насморком. Местный врач, к которому я обратился, посоветовал мне отрезать нос: для жителей планеты это дело пустяковое, так как носы

у них отрастают, как ногти. Возмущенный таким советом, я прямо от врача отправился в космопорт, чтобы улететь куда-нибудь, где медицина развита лучше. Путешествие было неудачное. В самом начале, отдалившись от планеты на каких-нибудь девятьсот тысяч километров, я услышал позывные встречной ракеты и спросил по радио, кто летит. В ответ раздался тот же вопрос.

— Отвечай ты первый! — потребовал я довольно резко, раздраженный дерзостью незнакомца.

— Отвечай ты первый! — ответил он.

Это передразнивание так меня рассердило, что я без обиняков назвал поведение незнакомца наглостью. Он не остался в долгу; мы начали переругиваться все яростнее, и только минут через двадцать, возмущенный до крайности, я понял, что никакой другой ракеты нет, а голос, который я слышу, — это попросту эхо моих собственных радиосигналов, отражающихся от поверхности спутника Сателлины, мимо которого я как раз пролетал. Я не заметил этот спутник потому, что он был обращен ко мне своей ночной, затененной стороной.

Примерно через час, захотев очистить себе яблоко, я заметил, что моего ножика нет. И тотчас вспомнил, где видел его в последний раз: это

было в буфете космопорта на Сателлине; я положил его на наклонную стойку, и он, вероятно, соскользнул на пол. Все это я представил себе так ясно, что мог бы найти его с закрытыми глазами. Я повернул ракету обратно и тут оказался в затруднительном положении: все небо кишело мерцающими огоньками, и я не знал, как найти среди них Сателлину, одну из тысячи четырехсот восьмидесяти планет, вращающихся вокруг солнца Эрипелазы. Кроме того, у многих из них по нескольку спутников, крупных, как планеты, что еще больше затрудняет ориентацию. Встревожась, я попытался вызвать Сателлину по радио. Ответили мне одновременно несколько десятков станций, отчего получилась ужасающая какофония; нужно знать, что жители системы Эрипелазы, столь же безалаберные, сколь и вежливые, дали название Сателлины двумстам различным планетам. Я взглянул в иллюминатор на мириады мелких искорок; на одной из них находился мой ножик, но легче было бы найти иголку в стоге сена, чем нужную планету в этой каше из звезд. В конце концов я положился на счастливый случай и помчался к планете, находившейся прямо по курсу.

Уже через четверть часа я опустился в порту.

Он был совершенно сходен с тем, с которого я взлетел, так что, обрадовавшись своей удаче, я бросился прямо в буфет. Но каково же было мое разочарование, когда, несмотря на самые тщательные поиски, я не нашел своего ножика! Я призадумался и пришел к выводу, что либо его кто-нибудь взял, либо я нахожусь на совершенно другой планете. Расспросив местных жителей, я убедился, что верным было второе предположение. Я попал на Андригону, старую, рассыпающуюся, одряхлевшую планету, которую, собственно говоря, давно уже следовало изъять из употребления, но до которой никому нет дела, поскольку она лежит в стороне от главных ракетных путей. В порту меня спросили, какую Сателлину я ищу, так как они перенумерованы. Тут я стал в тупик, ибо нужный номер вылетел у меня из головы. Тем временем местные власти, уведомленные начальством порта, явились, дабы устроить мне достойную встречу.

То был великий день для андригонов: во всех школах шли экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей власти спросил, не угодно ли мне почтить экзаменуемых своим присутствием; приняли меня чрезвычайно радушно, и я не мог отказать. Прямо из порта мы поехали на пидлаке

(это большие безногие пресмыкающиеся вроде ужей, которые здесь повсеместно используются для верховой езды) в город. Представив меня собравшейся молодежи и учителям как почетного гостя с планеты Земля, преподаватели усадили меня на почетное место за жёрвой (это что-то вроде стола), и прерванные экзамены продолжались. Ученики, взволнованные моим присутствием, сначала пугались и сильно конфузились, но я ободрял их ласковой улыбкой, подсказывал то одному, то другому нужное слово, и первый лед был сломан. Чем дальше, тем лучше становились ответы. Но вот перед экзаменационной комиссией встал молодой андригон, весь покрытый мерзягами (род устриц, употребляемых в качестве одежды), такими красивыми, каких я давно не видел, и начал отвечать на вопросы с несравненным красноречием и искусством. Я слушал его с удовольствием, убеждаясь, что уровень науки здесь на удивление высок.

Потом экзаменатор спросил:

— Может ли кандидат доказать нам, почему жизнь на Земле невозможна?

Слегка поклонившись, юноша приступил к исчерпывающим, логично обоснованным доказательствам, при помощи которых бесспорно

установил, что большая часть Земли покрыта холодными, очень глубокими водами, температура которых близка к нулю вследствие множества плавающих там ледяных гор; что не только на полюсах, но и в окружающих областях свирепствует вечный холод и по полугоду царит беспросветная ночь; что, как хорошо видно в астрономические приборы, большие области суши даже в более теплых поясах покрываются замерзшим водяным паром, так называемым снегом, который толстым слоем одевает горы и долины; что крупный спутник Земли вызывает на ней волны приливов и отливов, оказывающие разрушительное эрозионное действие; что с помощью самых сильных телескопов можно увидеть, как обширные участки планеты нередко погружаются в полумрак, затененные пеленой облаков; что в атмосфере бушуют страшные циклоны, тайфуны и бури; и все это, вместе взятое, исключает возможность существования жизни в какой бы то ни было форме. А если бы, закончил звучным голосом юный андригон, какие-нибудь существа и попытались высадиться на Земле, они неизбежно погибли бы, раздавленные огромным давлением атмосферы, достигающим на уровне моря одного килограмма на квадратный сантиметр, или семисот шестиде-

сяти миллиметров ртутного столба.

Такое исчерпывающее объяснение было единогласно одобрено комиссией. Оцепенев от изумления, я долго сидел неподвижно, и только когда экзаменатор хотел перейти к следующему вопросу, я вскричал:

— Простите меня, достойные андригоны, но... но я сам прибыл с Земли; я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я жив, и слышали, как я был вам представлен?..

Воцарилось неловкое молчание. Преподаватели, глубоко задетые моим бестактным выступлением, еле сдерживались; молодежь, не умеющая скрывать своих чувств, смотрела на меня с явной неприязнью. Наконец экзаменатор холодно произнес:

— Прости, чужестранец, но не слишком ли многого ты требуешь от нашего гостеприимства? Разве мало тебе столь торжественной встречи, банкета и прочих знаков уважения? Разве ты не удовлетворен тем, что тебя допустили к Высокой Выпускной Жёрве? Или ты требуешь, чтобы ради тебя мы изменили... школьные программы?!

— Но... Земля действительно обитаема... — смущенно пробормотал я.

— Будь это правдой, — произнес экзаменатор,

глядя на меня так, словно я был прозрачным, — то это было бы извращением естества!

Увидев в этих словах оскорбление для моей родной планеты, я тотчас вышел, ни с кем не прощаясь, сел на первого попавшегося пидлака, поехал в космопорт и, отряхнув от ног своих прах Андригоны, пустился опять на поиски ножика.

Я высаживался поочередно на пяти планетах группы Линденблада, на планетах стереопропов и мелациан, на семи больших небесных телах планетного семейства Кассиопеи, посетил Остерилию, Аверанцию, Мельтонию, Латерниду, все ветви огромной Спиральной Туманности в Андромеде, системы Плезиомаха, Гастрокланция, Эвтремы, Сименофоры и Паральбиды; на следующий год я систематически прочесал окрестности всех звезд Саппоны и Меленваги, а также планеты: Эритродонию, Арреноиду, Эодокию, Артенурию и Строглон со всеми его восьмьюдесятью лунами, нередко такими маленькими, что едва было где посадить ракету; на Малой Медведице я не мог высадиться — там как раз шел переучет; потом настал черед Цефеид и Арденид; и руки у меня опустились, когда по ошибке я снова высадился на Линденбладе. Однако я не сдался и, как подобает подлинному исследо-

вателю, двинулся дальше. Через три недели я заметил планету, во всех подробностях схожую с Сателлиной; сердце у меня забилось быстрее, когда я спускался к ней по спирали, но напрасно искал я знакомый космодром. Я уже хотел снова повернуть в безмерные глубины Пространства, когда увидел, что какое-то крохотное существо подает мне снизу сигналы. Выключив двигатели, я быстро спланировал и приземлился близ группы живописных скал, на которых высилось большое здание из тесаного камня. Навстречу мне по полю бежал высокий старец в белой рясе доминиканцев. Оказалось, что это отец Лацимон, руководитель миссий, действующих на звездных системах в радиусе шестисот световых лет. Здесь насчитывается около пяти миллионов планет, из них два миллиона четыреста тысяч обитаемых. Узнав о причине, приведшей меня в эти края, отец Лацимон выразил сочувствие и вместе с тем радость по поводу моего прибытия: по его словам, я был первым человеком, которого он видит за последние семь месяцев.

— Я так привык, — сказал он, — к повадкам меодрацитов, населяющих эту планету, что часто ловлю себя на характерной ошибке: когда хочу получше прислушаться, то поднимаю руки, как

они... Уши у меодрацитов находятся, как известно, под мышками.

Отец Лацимон оказался очень гостеприимен: я разделил с ним обед, приготовленный из местных продуктов, — сверкливые ржамки под змейонезом, заскворченные друмбли, а на десерт банимасы; я давно уже не едал ничего вкуснее; потом мы вышли на веранду миссионерского дома. Пригревало лиловое солнце, в кустах пели птеродактили, которыми кишит планета, и в предвечерней тишине седовласый приор доминиканцев начал поверять мне свои огорчения и жаловаться на трудности миссионерской работы в здешних местах. Например, пятеричники, обитатели горячей Антилены, мерзнущие уже при шестистах градусах Цельсия, и слышать не хотят о рае, зато описания ада их живо интересуют, ввиду существования там благоприятных условий — кипящей смолы и пламени. Кроме того, неизвестно, кто из них может принимать духовный сан, так как у них различается пять полов; это нелегкая проблема для теологов.

Я выразил сочувствие; отец Лацимон пожал плечами:

— Это еще ничего! Бжуты, например, считают воскресение из мертвых такой же будничной

вещью, как одевание, и никак не хотят смотреть на него как на чудо. У дартридов с Эгилии нет ни рук, ни ног, и креститься они могли бы только хвостом, но разрешить это не в моей компетенции, я жду ответа из апостолической столицы, но что же делать, если Ватикан молчит уже второй год?.. А слышали вы о жестокой судьбе, постигшей бедного отца Орибазия из нашей миссии?

Я ответил отрицательно.

— Тогда послушайте. Уже первооткрыватели Уртамы не могли нахвалиться ее жителями, могучими мемногами. Существует мнение, что эти разумные создания относятся к самым отзывчивым, кротким, добрым и альтруистическим во всем Космосе. Полагая, что на такой почве превосходно взойдут семена веры, мы послали к мемногам отца Орибазия, назначив его епископом язычников. Мемноги приняли его как нельзя лучше, окружили материнской заботой, почитали его, вслушивались в каждое его слово, угадывали и тотчас исполняли каждое его желание, прямо-таки впитывали его поучения — словом, предались ему всей душой. В письмах ко мне он, бедняжка, не мог ими нарадоваться...

Отец доминиканец смахнул рукавом рясы слезу и продолжал:

— В такой приязненной атмосфере отец Орибазий не уставал проповедовать основы веры ни днем ни ночью. Пересказав мемногам весь Ветхий и Новый завет, Апокалипсис и Послания апостолов, он перешел к Житиям святых и особенно много пыла вложил в прославление святых мучеников. Бедный... это всегда было его слабостью...

Превозмогая волнение, отец Лацимон дрожащим голосом продолжал:

— Он говорил им о святом Иоанне, заслужившем мученический венец, когда его живьем сварили в масле; о святой Агнессе, давшей ради веры отрубить себе голову; о святом Себастьяне, пронзенном сотнями стрел и претерпевшем жестокие мучения, за что в раю его встретили ангельским славословием; о святых девственницах, четвертованных, удавленных, колесованных, сожженных на медленном огне. Они принимали все эти муки с восторгом, зная, что заслуживают этим место одесную Вседержителя. Когда он рассказал мемногам обо всех этих достойных подражания житиях, они начали переглядываться, и самый старший из них робко спросил:

— Преславный наш пастырь, проповедник и отче достойный, скажи нам, если только соиз-

волишь снизойти к смиренным твоим слугам, попадет ли в рай душа каждого, кто готов на мученичество?

— Непременно, сын мой! — ответил отец Орибазий.

— Да-а? Это очень хорошо... — протянул мемног. — А ты, отче духовный, желаешь ли попасть на небо?

— Это мое пламеннейшее желание, сын мой.

— И святым ты хотел бы стать? — продолжал вопрошать старейший мемног.

— Сын мой, кто бы не хотел этого? Но куда мне, грешному, до столь высокого чина; чтобы вступить на эту стезю, нужно напрячь все силы и стремиться неустанно, со смирением в сердце...

— Так ты хотел бы стать святым? — снова переспросил мемног и поощрительно глянул на сотоварищей, которые тем временем поднялись с мест.

— Конечно, сын мой.

— Ну так мы тебе поможем!

— Каким же образом, милые мои овечки? — спросил, улыбаясь, отец Орибазий, радуясь наивному рвению своей верной паствы.

В ответ мемноги осторожно, но крепко взяли его под руки и сказали:

— Таким, отче, какому ты сам нас научил!

Затем они сперва содрали ему кожу со спины и намазали это место горячей смолой, как сделал в Ирландии палач со святым Иакинфом, потом отрубили ему левую ногу, как язычники святому Пафнутию, потом распороли ему живот и запихнули туда охапку соломы, как блаженной Елизавете Нормандской, после чего посадили его на кол, как святого Гуго, переломали ему все ребра, как сиракузяне святому Генриху Падуанскому, и сожгли медленно, на малом огне, как бургундцы Орлеанскую Деву. А потом перевели дух, умылись и начали горько оплакивать своего утраченного пастыря. За этим занятием я их и застал, когда, объезжая звезды епархии, попал в сей приход. Когда я услышал о происшедшем, волосы у меня встали дыбом. Ломая руки, я вскричал:

— Недостойные лиходеи! Ада для вас мало! Знаете ли вы, что навек загубили свои души?!

— А как же, — ответили они, рыдая, — знаем!

Тот же старейший мемног встал и сказал мне:

— Досточтимый отче, мы хорошо знаем, что обрекли себя на проклятие и вечные муки, и, прежде чем решиться на сие дело, мы выдержали страшную душевную борьбу; но отец Орибазий неустанно повторял нам, что нет ничего такого,

чего добрый христианин ни сделал бы для своего ближнего, что нужно отдать ему все и на все быть для него готовым. Поэтому мы отказались от спасения души, хотя и с великим отчаянием, и думали только о том, чтобы дражайший отец Орибазий обрел мученический венец и святость. Не можем выразить, как тяжко нам это далось, ибо до его прибытия никто из нас и мухи не обидел. Не однажды мы просили его, умоляли на коленях смилостивиться и смягчить строгость наказов веры, но он категорически утверждал, что ради любимого ближнего нужно делать все без исключения. Тогда мы увидели, что не можем ему отказать, ибо мы существа ничтожные и вовсе не достойные этого святого мужа, который заслуживает полнейшего самоотречения с нашей стороны. И мы горячо верим, что наше дело нам удалось и отец Орибазий причислен ныне к праведникам на небесах. Вот тебе, досточтимый отче, мешок с деньгами, которые мы собрали на канонизацию: так нужно, отец Орибазий, отвечая на наши расспросы, подробно все объяснил. Должен сказать, что мы применили только самые его любимые пытки, о которых он повествовал с наибольшим восторгом. Мы думали угодить ему, но он всему противился и особенно не хотел

пить кипящий свинец. Мы, однако, не допускали и мысли, чтобы наш пастырь говорил нам одно, а думал другое. Крики, им издаваемые, были только выражением недовольства низменных, телесных частей его естества, и мы не обращали на них внимания, памятуя, что надлежит унижать плоть, дабы тем выше вознесся дух. Желая его ободрить, мы напомнили ему о поучениях, которые он нам читал, но отец Орибазий ответил на это лишь одним словом, вовсе непонятным и невразумительным; не знаем, что оно означает, ибо не нашли его ни в молитвенниках, которые он нам раздавал, ни в Священном писании.

Закончив рассказывать, отец Лацимон отер крупный пот с чела, и мы долго сидели в молчании, пока седовласый доминиканец не заговорил опять:

— Ну, скажите теперь сами, каково быть пастырем душ в таких условиях?! Или вот эта история! — Отец Лацимон ударил кулаком по письму, лежавшему на столе. — Отец Ипполит сообщает с Арпетузы, маленькой планеты в созвездии Весов, что ее обитатели совершенно перестали заключать браки, рожать детей и им грозит полное вымирание!

— Почему? — в недоумении спросил я.

— Потому, что едва они услышали, что телесная близость — грех, как тотчас возжаждали спасения, все как один дали обет целомудрия и соблюдают его! Вот уже две тысячи лет Церковь учит, что спасение души важнее всех мирских дел, но никто ведь не понимал этого буквально, о Господи! А эти арпетузианцы, все до единого, ощутили в себе призвание и толпами вступают в монастыри, образцово соблюдают уставы, молятся, постятся и умерщвляют плоть, а тем временем промышленность и земледелие приходят в упадок, надвигается голод, и гибель угрожает планете. Я написал об этом в Рим, но в ответ, как всегда, молчание...

— И то сказать: рискованно было идти с проповедью на другие планеты, — заметил я.

— А что нам оставалось делать? Церковь не спешит, ибо царство ее, как известно, не от мира сего, но пока кардинальская коллегия обдумывала и совещалась, на планетах, как грибы после дождя, начали вырастать миссии кальвинистов, баптистов, редемптористов, мариавитов, адвентистов и Бог весть какие еще! Приходится спасать, что осталось. Ну, если уж говорить об этом... Идите за мной.

Отец Лацимон провел меня в свой кабинет.

Одну стену занимала огромная синяя карта звездного неба; вся ее правая сторона была заклеена бумагой.

— Вот видите! — указал он на закрытую часть.

— Что это значит?

— Погибель, сын мой. Окончательную погибель! Эти области населены народами, обладающими необычно высоким интеллектом. Они исповедуют материализм, атеизм, прилагают все свои усилия к развитию науки и техники и улучшению условий жизни на планетах. Мы посылали к ним своих лучших миссионеров — салезианцев, бенедиктинцев, доминиканцев, даже иезуитов, самых сладкоречивых проповедников слова Божия, и все они — все! — вернулись атеистами!

Отец Лацимон нервно подошел к столу.

— Был у нас отец Бонифаций, я помню его как одного из самых набожных слуг церкви; дни и ночи он проводил в молитве, распростершись ниц; все мирские дела были для него прахом; он не знал лучшего занятия, чем перебирать четки, и большей утехи, нежели литургия, а после трех недель пребывания там, — отец Лацимон указал на заклеенную часть карты, — он поступил в политехнический институт и написал вот эту

книгу!

Отец Лацимон поднял и тут же с отвращением бросил на стол увесистый том. Я прочел заглавие: «О способах повышения безопасности космических полетов».

— Безопасность бренного тела он поставил выше спасения души, это ли не чудовищно?! Мы послали тревожный доклад, и на этот раз апостолическая столица не замешкалась. В сотрудничестве со специалистами из американского посольства в Риме Папская академия создала вот эти труды.

Отец Лацимон подошел к большому сундуку и открыл его; внутри было полно толстых фолиантов.

— Здесь около двухсот томов, где во всех подробностях описаны методы насилия, террора, внушения, шантажа, принуждения, гипноза, отравления, пыток и условных рефлексов, применяемых ими для удушения веры... Волосы у меня встали дыбом, когда я все это просматривал. Там есть фотографии, показания, протоколы, вещественные доказательства, свидетельства очевидцев и Бог весть что еще. Ума не приложу, как они все это быстро сделали, — что значит американская техника! Но, сын мой... действи-

тельность гораздо страшнее!

Отец Лацимон подошел ко мне и, горячо дыша прямо в ухо, прошептал:

— Я здесь, на месте, лучше ориентируюсь. Они не мучают, ни к чему не вынуждают, не пытают, не вгоняют винты в голову... они попросту учат, что такое Вселенная, откуда возникла жизнь, как зарождается сознание и как применять науку на пользу людям. У них есть способ, при помощи которого они доказывают как дважды два четыре, что весь мир исключительно материален. Из всех моих миссионеров сохранил веру только отец Сервациий, и то лишь потому, что глух как пень и не слышал, что ему говорили. Да, сын мой, это похуже пыток! Была здесь одна молодая монахиня-кармелитка, одухотворенное дитя, посвятившая себя одному только Богу; она все время постилась, умерщвляла плоть, имела стигматы и видения, беседовала со святыми, а особенно возлюбила святую Меланию и усердно ей подражала; мало того, время от времени ей являлся сам архангел Гавриил... Однажды она отправилась туда. — Отец Лацимон указал на правую часть карты. — Я отпустил ее со спокойным сердцем, ибо она была нищая духом, а таким обещано Царствие Божие; но лишь только человек начинает

задумываться как, да что, да почему, тотчас разверзается перед ним бездна ереси. Я был уверен, что доводы их мудрости перед нею бессильны. Но едва она туда прибыла, как после первого же публичного явления ей святых, сопряженного с приступом религиозного экстаза, ее признали невротичкой, или как там это у них называется, и лечили купаниями, работами по саду, давали какие-то игрушки, какие-то куклы... Через четыре месяца она вернулась, но в каком состоянии!

Отец Лацимон содрогнулся.

— Что с ней случилось? — с жалостью спросил я.

— Ее перестали посещать видения, она поступила на курсы ракетных пилотов и полетела с исследовательской экспедицией к ядру Галактики, бедное дитя! Недавно я услышал, что ей опять явилась святая Мелания, и сердце у меня забилось сильней от радостной надежды, но оказалось, что приснилась ей всего лишь родная тетка. Говорю вам, провал, разруха, упадок! Как наивны эти американские специалисты: присылают мне пять тонн литературы с описанием жестокостей, чинимых врагами веры! О, если бы они захотели преследовать религию, если бы закрывали церкви и разгоняли верующих!

Но нет, ничего подобного, они разрешают все: и совершение обрядов, и духовное воспитание — и только всюду распространяют свои теории и доводы. Недавно мы попробовали вот это, — отец Лацимон указал на карту, — но безрезультатно.

— Простите, что вы попробовали?

— Ну, заклеить правую часть Космоса бумагой и игнорировать ее существование. Но это не помогло. В Риме теперь говорят о крестовом походе в защиту веры.

— А вы что об этом думаете, отче?

— Конечно, оно бы неплохо; если бы можно было взорвать их планеты, разрушить города, сжечь книги, а их самих истребить до последнего, тогда удалось бы, пожалуй, и отстоять учение о любви к ближнему, но кто в этот поход пойдет? Мемноги? Или, может, арпетузианцы? Смех меня разбирает, но вместе с ним и тревога!

Наступило глухое молчание. Охваченный глубоким сочувствием, я положил руку на плечо изможденному пастырю, чтобы его подбодрить, и тут что-то выскользнуло у меня из рукава, блеснуло и стукнулось об пол. Как описать мою радость и изумление, когда я узнал свой ножик! Оказалось, что все это время он преспокойно лежал за подкладкой куртки, провалившись туда

сквозь дыру в кармане!

Путешествие двадцать третье

В «Космозоологии», известном труде профессора Тарантоги, я прочел о планете, обращающейся вокруг двойной звезды Эрпейи; эта планета так мала, что если бы все жители вышли из своих домов одновременно, то смогли бы разместиться на ее поверхности, только стоя на одной ноге. Хотя профессор Тарантога считается крупнейшим авторитетом, это утверждение показалось мне все же преувеличенным, и я решил лично проверить положение дел.

Путешествие было с приключениями. Близ переменной 463 двигатель испортился, и ракета начала падать на звезду; я встревожился, ибо температура этой цефеиды достигает 600 тысяч градусов Цельсия. Зной возрастал с каждой минутой и сделался наконец таким нестерпимым, что я не мог работать иначе, как втиснувшись в маленький холодильник, в котором обычно держу припасы, — поистине странное стечение обстоятельств, так как мне и в голову не приходило, что он может понадобиться мне самому. Благополучно устранив поломку, я уже без помех долетел до

Эрпейи. Эта звезда состоит из двух солнц: одно большое, красное, как кирпич, и не очень горячее, другое же — голубое, источающее нестерпимый жар. Сама же планета действительно так мала, что я нашел ее с великим трудом, перерыв все окружающее пространство. Ее обитатели, бжуты, приняли меня чрезвычайно радушно.

Чередующиеся восходы и закаты обоих солнц удивительно красивы; но особенно живописные виды возникают при их затмениях. Половину суток светит красное солнце, и тогда все предметы кажутся облитыми кровью; другую половину светит голубое солнце, такое яркое, что приходится ходить с закрытыми глазами, и, несмотря на это, все видно совершенно отчетливо. Совсем не зная темноты, бжуты называют голубое время суток днем, а красное — ночью. На планете действительно очень тесно, но бжуты, очень разумные существа, обладающие большими познаниями, особенно в физике, прекрасно справляются с этой трудностью, хотя способ, ими применяемый, весьма необычен. А именно: в соответствующем учреждении при помощи прецизионного рентгеновского аппарата делают так называемую «атомную персонограмму» каждого жителя, то есть подробный план, где указаны все до единой

материальные частицы, белковые молекулы, а также химические соединения, из которых состоит его тело. Когда наступает время отдыха, бжут втискивается через маленькую дверку в специальный аппарат, распыляющий его тело на мелкие атомы. В таком виде, занимающем очень мало места, он проводит всю ночь, а утром в назначенный час будильник включает аппарат, который, сверяясь с атомограммой, снова соединяет все частицы в нужной последовательности, дверка открывается, и бжут, возвратившись таким образом к жизни, зевает разок-другой и идет на работу.

Бжуты расхваливали мне этот обычай, подчеркивая, что при нем не может быть и речи о бессоннице, дремотных видениях или кошмарах, так как аппарат, распыляя тело на атомы, останавливает жизнь и сознание. Этот же способ они применяют и во многих иных случаях, например, в приемных врачей, в учреждениях, где вместо стульев стоят покрашенные в голубой или розовый цвет ящички аппаратов, на некоторых заседаниях и собраниях — словом, там, где человек осужден на скуку и бездеятельность и, не делая ничего полезного, лишь занимает место фактом своего существования. Тем же

остроумным способом бжуты и путешествуют: желающий поехать куда-нибудь пишет на карточке адрес и наклеивает его на коробочку, которую ставит под аппаратом; затем, войдя в аппарат, распыляется на атомы и ссыпается в коробочку. Существует специальное учреждение, что-то вроде нашей почты, рассылающее эти коробочки по адресам. Если же кто-нибудь особенно спешит, персонограмму передают по телеграфу к месту назначения, а там его восстанавливают в аппарате. Тем временем исходного бжута распыляют и отправляют в архив. Такой телеграфный способ путешествия, очень простой и быстрый, кажется весьма привлекательным, но таит в себе и некоторую опасность. Как раз в то время, когда я приехал, пресса сообщила о только что происшедшем неслыханном случае. Одному молодому бжуту, по имени Термофелес, нужно было отправиться на другое полушарие планеты, чтобы там жениться. С присущим влюбленному нетерпением он, дабы поскорее попасть к невесте, побежал на почту и был переслан по телеграфу; едва это произошло, как телеграфиста вызвали по какому-то срочному делу, а его заместитель, не зная, что Термофелес уже телеграфирован, отправил персонограмму еще раз.

И вот перед заждавшейся невестой предстают два Термофелеса, похожие как две капли воды. Трудно описать замешательство и недоумение бедняжки да и всего свадебного кортежа. Хотели уговорить одного из Термофелесов, чтобы он дал себя распылить и этим закончить печальный инцидент, но ничего не вышло: каждый из них упорно твердил, что он-то и есть настоящий, единственный Термофелес. Дело попало в суд и стало ходить по инстанциям. Приговор верховного суда был вынесен уже после моего отлета, так что не могу сказать, чем дело кончилось. (*Примечание редакции. Как нам удалось узнать, приговор предписывал распылить обоих женихов, а восстановить только одного, что было поистине Соломоновым решением.*)

Бжуты усердно уговаривали меня воспользоваться их способом отдыхать и путешествовать, заверяя, что ошибки, вроде описанной выше, чрезвычайно редки, что в самом процессе нет ничего загадочного или сверхъестественного: как известно, живые организмы состоят из той же материи, что и все прочие тела, вплоть до планет и звезд; разница только во взаимном расположении и способе соединения частиц. Я прекрасно понимал все их доводы, но к уговорам

остался глух.

Однажды вечером со мной произошло странное событие. Я явился к знакомому бжуту, забыв предупредить его о визите по телефону. В комнате, куда я вошел, никого не было. В поисках хозяина я открывал поочередно все двери (в неслыханной, но обычной для бжутских домов тесноте) и в конце концов, открыв меньшую, чем прочие, дверку, увидел словно внутренность небольшого холодильника, совершенно пустого, за исключением полки, на которой стояла коробочка с каким-то сероватым порошком. Машинально я взял горсточку этого порошка, но от стука неожиданно раскрывшейся двери вздрогнул и рассыпал порошок на пол.

— Что ты делаешь, почтенный чужеземец?! — воскликнул сынишка хозяина дома, вошедший как раз в эту минуту. — Смотри, ты рассыпал моего папу!

Услыхав эти слова, я испугался и несказанно опечалился, но мальчик сказал:

— Это ничего, ничего, не расстраивайся!

Он выбежал во двор и через некоторое время вернулся, неся порядочный кусок угля, мешочек сахару, щепотку серы, небольшой гвоздик и пригоршню обыкновенного песку; все это он

положил в коробочку, закрыл дверку и повернул выключатель. Раздалось что-то вроде глухого вздоха или причмокивания, дверца раскрылась, и появился хозяин, здоровый и невредимый, смеясь при виде моего замешательства. Позже, в разговоре, я спросил, не повредил ли ему, рассыпав часть вещества его тела, и каким образом его сын сумел так быстро исправить мою неосторожность.

— Э, глупости, — возразил он, — ты ничуть не повредил мне, какое там! Ты ведь знаешь, милый чужеземец, каковы результаты физиологических исследований; они говорят, что все атомы нашего тела неустанно обновляются; одни соединения возникают, другие распадаются; убыль пополняется благодаря пище и питью, а также дыханию, и все это вместе называется обменом веществ. Итак, многие атомы из тех, что составляли твое тело год тому назад, давно уже покинули его и блуждают неведомо где; неизменной остается только общая структура организма, взаимное расположение материальных частиц. В том способе, каким мой сын пополнил запас материалов для моего воссоздания, нет ничего необычного. Наше тело состоит из кремния, углерода, водорода, серы, кислорода, азота и щепотки железа,

а в веществах, которые он принес, содержались именно эти элементы. Изволь войти в аппарат и сам убедишься, какая это невинная процедура...

Я ответил любезному хозяину отказом и некоторое время еще колебался, воспользоваться ли его предложением, но в конце концов после долгой внутренней борьбы согласился. В рентгеновском кабинете меня просветили, сняли мою персонограмму, и я снова пошел к своему знакомому. Втиснуться в аппарат оказалось не очень легко, так как я человек довольно упитанный, и радушному хозяину пришлось мне помочь; дверку удалось закрыть только с помощью всей семьи. Замок щелкнул, и стало темно.

Что было дальше, не помню. Я почувствовал только, что мне очень неудобно и ухо упирается в край полки; но прежде чем я успел шевельнуться, дверка открылась, и я вылез из аппарата. Я сейчас же спросил, почему не состоялся опыт, но хозяин, вежливо улыбнувшись, объяснил, что я ошибаюсь. Взглянув на стенные часы, я убедился, что действительно пробыл в аппарате двенадцать часов, совершенно того не сознавая. Единственное — впрочем, мелкое — неудобство состояло в том, что мои карманные часы показывали время начала опыта: распыленные, как и я, на атомы,

они, конечно, не могли идти.

Бжуты, с которыми я сходился все ближе, рассказали мне и о других применениях аппаратов: выдающиеся ученые, бьющиеся над решением какой-нибудь проблемы и не могущие ее разрешить, остаются внутри аппаратов по нескольку десятков лет, а потом, воссоздавшись, выходят и спрашивают, решена ли эта проблема; если же решения нет, снова подвергаются разатомированию, и так вплоть до получения результатов.

После первой успешной попытки я настолько набрался смелости и так пристрастился к неведомому до сих пор способу отдыха, что проводил в распыленном состоянии не только ночи, но и каждую свободную минуту — это можно проделывать в парке, на улице, ибо повсюду стоят аппараты вроде больших почтовых ящиков с дверцами. Нужно только поставить будильник на нужное время; люди рассеянные иногда забывают об этом и могли бы покоиться в аппаратах вечно, если бы специальная комиссия не проверяла все аппараты ежемесячно.

К концу своего пребывания на планете я сделался настоящим энтузиастом обычая бжутов и применял его, как уже сказал, на каждом шагу. За это увлечение мне пришлось, увы, поплатиться.

Однажды в аппарате, в котором я находился, что-то заело, и, когда утром будильник включил контакты, я был мгновенно воссоздан не в обычном моем виде, а в образе Наполеона Бонапарта: в императорском мундире, опоясанном трехцветной лентой Почетного легиона, со шпагой на боку, с раззолоченной треуголкой на голове, со скипетром и державой в руках — так появился я перед моими изумленными бжутами. Тотчас же мне посоветовали подвергнуться переделке в ближайшем исправно действующем аппарате, что не представило бы никаких затруднений, так как моя верная персонограмма была налицо. Но затея с распылением настолько мне разонравилась, что я согласился только превратить треуголку в шапку-ушанку, шпагу — в столовый прибор, а скипетр и державу — в зонтик. Сидя за рулем ракеты и оставив планету далеко позади, во мраке вечной ночи, я подумал вдруг, что поступил легкомысленно, оставшись без осязаемых доказательств достоверности мною рассказанного, но было уже поздно.

Путешествие двадцать четвертое

На тысяча шестой день после отлета с местной системы в туманности Нереиды я заметил на экране ракеты пятнышко, которое напрасно старался стереть кусочком замши. За неимением другого занятия я чистил и полировал экран четыре часа подряд, прежде чем заметил, что пятнышко — это планета, очень быстро увеличивающаяся. Облетая вокруг этого небесного тела, я с немалым удивлением увидел, что его обширные материки покрыты правильными геометрическими орнаментами и рисунками. Соблюдая необходимую осторожность, я высадился посреди голой пустыни. Она была выложена небольшими дисками, около полуметра в диаметре; твердые, блестящие, словно выточенные, они тянулись длинными рядами в разные стороны, складываясь в узоры, уже замеченные мною с большой высоты. Закончив предварительные исследования, я сел за руль, поднялся в воздух и стал носиться низко над землей, пытаясь разгадать тайну этих дисков, которая безмерно интриговала меня.

Во время двухчасового полета я обнаружил один за другим три огромных красивых города; я опустился на площадь в одном из них, но он был совершенно пуст; дома, башни, улицы — все словно вымерло, хотя нигде не было следов ни войны, ни стихийного бедствия. Все более удивляясь и недоумевая, я полетел дальше и около полудня очутился над обширным плоскогорьем. Заметив вдали блестящее здание, а вокруг него какое-то движение, я тотчас поспешил туда. На каменистой равнине возвышался дворец, весь сверкающий, словно высеченный из цельного алмаза; к его золоченым дверям вели мраморные ступени, у подножия которых толпилось несколько десятков существ. Присмотревшись к ним, я пришел к выводу, что, если только зрение меня не обманывает, они не только живые, но и похожи на людей настолько, что я назвал их Animal hominiforme; это название было у меня наготове: во время полетов я всегда сочинял различные определения, чтобы иметь их в запасе на подобный случай. Имя Animal hominiforme отлично подходило к этим существам, так как они ходили на двух ногах и у них были руки, головы, глаза, уши и рты; правда, рот находился посреди лба, уши под подбородком (по паре с каждой сто-

роны), а глаз, разбросанных по обеим щекам, был целый десяток; но путешественнику, который, как я, встречал в своих странствованиях самых удивительных тварей, эти существа в высшей степени напоминали людей.

Приблизившись на разумное расстояние, я спросил, что они делают. Они не ответили, продолжая усердно заглядывать в алмазные зеркала, возвышавшиеся на нижних ступенях лестницы. Я попытался оторвать их от этого занятия раз, другой и третий, но, видя безуспешность своих усилий, потерял терпение и энергично потряс одного из них за плечо. Тотчас все обернулись, словно впервые заметив меня, с легким удивлением оглядели мою ракету, после чего задали несколько вопросов, на которые я охотно ответил. Так как они ежеминутно прерывали беседу, чтобы заглянуть в алмазные зеркала, я стал опасаться, что не сумею расспросить их, как должно; в конце концов я уговорил одного из них удовлетворить мое любопытство. Этот индиот (ибо они называются, по его словам, индиотами) сел со мною на камнях невдалеке от лестницы. Я был рад, что именно он стал моим собеседником, ибо в десятке его глаз, сверкавших посреди щек, отражался незаурядный ум. Откинув уши на пле-

чи, он рассказал мне историю своих сородичей такими словами:

— Чужестранный путник! Ты должен знать, что мы народ с давним и славным прошлым. Население нашей планеты испокон веков делилось на спиритов, достойных и лямкарей. Спириты пытались постигнуть сущность Великого Инды, который сознательным актом творения создал индиотов, поселил их на этой планете и в непостижимом своем милосердии окружил звездами, сверкающими в ночи, а также приладил Солнечный Огонь, дабы он освещал наши дни и ниспосылал нам благодетельное тепло. Достойные устанавливали подати, разъясняли значение государственных законов и пеклись о заводах, на которых смиренно трудились лямкари. Так все дружно трудились для общего блага. Жили мы в мире и согласии; цивилизация наша расцветала все пышнее. На протяжении веков изобретатели создавали машины, облегчавшие труд и там, где в древности сотни лямкарей гнули облитые потом спины, через несколько веков стояло их у машин лишь двое-трое. Наши ученые все больше совершенствовали машины, и народ этому радовался, но последующие события показали, насколько эта радость была, увы, преждевре-

менной. А именно: один ученый конструктор создал Новые Машины, столь совершенные, что они могли работать самостоятельно, без всякого наблюдения. И это было началом катастрофы. По мере того как на заводах появлялись Новые Машины, толпы лямкарей лишались работы и, не получая вознаграждения, оказывались лицом к лицу с голодной смертью...

— Погоди, индиот, — прервал я его. — А что сталось с доходом, который приносили заводы?

— Как что? — возразил мой собеседник. — Доход поступал достойным, их законным владельцам. Так вот, я уже сказал, что нависла угроза голодной смерти...

— Что ты говоришь, почтенный индиот! — воскликнул я. — Довольно было бы объявить заводы общественной собственностью, чтобы Новые Машины превратились в благодеяние для вас!

Едва я произнес это, как индиот задрожал, замигал тревожно десятком глаз и запрядал ушами, чтобы узнать, не слышал ли моих слов кто-либо из его товарищей, толпящихся у лестницы.

— Во имя десяти носов Инды умоляю тебя, чужеземец, не высказывай такой ужасной ереси — это гнусное покушение на самую основу наших свобод! Знай, что высший наш закон, называе-

мый принципом свободной частной инициативы граждан, гласит: никого нельзя ни к чему приневоливать, принуждать или даже склонять, если он того не хочет. А раз так, кто бы осмелился отобрать у достойных фабрики, если достойным было угодно радоваться им?! Это было бы самым вопиющим попранием свободы, какое только можно себе представить. Итак, я уже говорил, что Новые Машины создали огромное множество неслыханно дешевых товаров и лучших припасов, но лямкари ничего не покупали, ибо им было не на что...

— Но, дорогой индиот, — вскричал я снова, — разве лямкари поступали так добровольно? Где же была ваша вольность, ваши гражданские свободы?!

— Ах, достойный чужеземец, — ответил, вздохнув, индиот, — наши законы по-прежнему соблюдались, но они говорят только о том, что всякий гражданин волен поступать со своим имуществом и деньгами, как ему угодно, и ничего не говорят о том, где их взять. Лямкарей никто не угнетал, никто их ни к чему не принуждал, они были совершенно свободны и могли делать все что угодно, а между тем, вместо того чтобы радоваться столь полной свободе, мерли как мухи...

Положение становилось все более угрожающим: на заводских складах громоздились до неба горы товаров, которых никто не покупал, а по улицам бродили толпы отощалых, как тени, лямкарей. Правящий государством Высокий Индинал, состоящий из спиритов и достойных, целый год совещался о мерах борьбы с этим злом. Члены его произносили длинные речи, с величайшим жаром ища выхода из тупика, но напрасны были все их усилия. В самом начале совещаний один из членов Индинала, автор превосходного сочинения о сущности индиотских свобод, потребовал отобрать у конструктора Новых Машин золотой лавровый венок и выколоть ему девять глаз. Против этого восстали спириты, умоляя во имя Великого Инды сжалиться над изобретателем. Четыре месяца Индинал разбирался, нарушил ли конструктор законы нашей страны, изобретая Новые Машины. Собрание разделилось на два ожесточенно враждующих лагеря. Конец спору был положен пожаром архивов, истребившим все протоколы; а так как никто из высоких членов Индинала не помнил, какого мнения держался, тем дело и кончилось. Затем предложено было уговорить достойных — владельцев заводов — отказаться от Новых Машин; Индинал с этой

целью образовал смешанную комиссию, но все ее просьбы и уговоры не помогли. Достойные ответили, что Новые Машины работают быстрее и дешевле лямкарей, а потому им угодно производить продукцию именно этим способом. Высокий Индинал начал советоваться далее. Был разработан законопроект, предписывавший владельцам заводов выделять известную долю своих доходов лямкарям, но и он был отвергнут, ибо, как справедливо заметил Архиспирит Ноулейб, такая даровая раздача средств к существованию духовно развратила бы и унизила лямкарей. Тем временем горы готовых товаров все росли и наконец стали ссыпаться через заводские ограды, а измученные голодом лямкари стекались к ним толпами с грозными криками. Напрасно спириты с величайшей кротостью твердили им, что тем самым они восстают против законов государства и неисповедимых путей Инды, что они должны со смиреньем нести свой крест, ибо, умерщвляя плоть, они возносятся духом на непостижимую высоту и снискивают верную награду на небесах. Лямкари оказались глухи к этим мудрым словам, и для усмирения их злонамеренных замыслов пришлось прибегнуть к вооруженной силе.

Тогда Высокий Индинал призвал пред свое

лицо ученого конструктора Новых Машин и обратился к нему с такими словами: «Ученый муж! Великая опасность грозит нашему государству, ибо в массах лямкарей рождаются бунтовские, преступные мысли. Они домогаются ниспровергнуть наши великие вольности и законы о свободе инициативы. Нам должно напрячь все силы для защиты свободы. Тщательно все обсудив, мы убедились, что не справимся с этой задачей. Даже наделенный величайшими добродетелями, совершеннейший и законченный индиот может поддаться велениям чувств, колебаться, склоняться на чью-либо сторону, ошибаться и потому не вправе решать столь запутанный и важный вопрос. Поэтому ты должен в течение шести месяцев построить нам Машину для Управления Государством, обладающую точным мышлением, строго логичную, совершенно объективную, не знающую ни колебаний, ни эмоций, ни страха, затемняющих работу живого разума. Пусть эта Машина будет так же беспристрастна, как беспристрастен свет Солнца и звезд. Когда ты создашь ее и приведешь в действие, мы переложим на нее бремя власти, слишком тяжелое для наших плеч».

«Да будет так. Высокий Индинал! — ответил

конструктор. — Но каков должен быть основной принцип деятельности Машины?»

«Конечно, принцип свободной инициативы граждан. Машина не должна ничего ни приказывать им, ни запрещать; она может, конечно, изменять условия нашего существования, но только путем предложений, предоставляя нам возможности, между которыми мы будем свободно выбирать».

«Да будет так, Высокий Индинал! — повторил конструктор. — Но это касается путей ее действия, а я спрашиваю о конечной цели. К чему должна будет стремиться Машина?»

«Нашему Государству угрожает хаос; ширится анархия и неуважение к законам. Пусть Машина установит на планете Высочайшую Гармонию, пусть установит и упрочит Совершенный и Абсолютный порядок».

«Будет, как вы сказали! — промолвил конструктор. — В течение шести месяцев я построю Установитель Добровольного Абсолютного Порядка. Я берусь это сделать. Прощайте...»

«Погоди, — прервал его один из достойных. — Машина, которую ты построишь, должна действовать не только совершенно, но и приятно, то есть все создаваемое ею должно вызывать

ощущения, которые удовлетворили бы самый изысканный вкус...»

Конструктор поклонился и молча вышел. Напряженно работая, с помощью отряда искусных ассистентов он создал Машину для Управления Государством, ту самую, которую ты, чужеземец, видишь на горизонте как темное пятнышко. Это громада железных цилиндров удивительного вида, в которых что-то непрестанно громыхает и вспыхивает. День ее запуска был большим государственным праздником; старейший Архиспирит торжественно освятил ее, после чего Высокий Индинал передал ей всю полноту власти. Тотчас же Установитель Добровольного и Абсолютного Порядка протяжно засвистел и приступил к делу.

Шестеро суток Машина работала непрерывно; днем над нею возносились клубы дыма, ночью ее окружало светлое зарево. Почва сотрясалась на сто шестьдесят миль кругом. Потом дверцы в ее цилиндрах раскрылись, и оттуда высыпали толпы маленьких черных автоматов, которые враскачку, словно утки, разбежались по всей планете, до самых отдаленных закоулков ее. Куда бы они ни попали, они собирались у заводских складов и в общепонятных и изящных словах

требовали различных товаров, за которые платили без промедления. За одну неделю склады опустели, и достойные — владельцы заводов — облегченно вздохнули, говоря: «Поистине превосходную Машину построил конструктор!» Действительно, изумление охватывало при виде того, как автоматы потребляют купленные ими товары: они одевались в парчу и атлас, смазывали себе оси косметикой, курили табак, читали книги, роняя над печальными страницами синтетические слезы, и даже нашли искусственный способ лакомиться деликатесами и сластями (правда, без пользы для себя, ибо питались они электричеством, но зато с пользой для фабрикантов). Только толпы лямкарей не выражали ни малейшего удовлетворения — напротив, их ропот все нарастал. Достойные же с надеждой ожидали от Машины дальнейших действий, которые не заставили себя ждать.

Она накопила огромные запасы мрамора, алебастра, гранита, горного хрусталя, яшмы, груды меди, мешки золота и серебра, а затем, грохоча и дымя ужасно, построила здание, какого индиоты доселе не видывали, — вот этот Радужный Дворец, что высится пред тобой, чужеземец!

Я посмотрел туда, куда показывал индиот.

Солнце как раз выглянуло из-за туч, и лучи его заиграли на шлифованных стенах, рассыпаясь сапфировыми и гранатовыми огнями; радужные пятна, казалось, трепетали у выступов и бастионов, а крыша со стройными шпилями, выложенная золотой чешуей, вся сверкала. Я наслаждался этим великолепным зрелищем, а индиот продолжал:

— По всей планете разнеслась весть об этом дивном здании. Начались настоящие паломничества к нему из самых дальних краев. Когда толпы заполонили все окрестные поля и луга, Машина разверзла свои железные уста и заговорила:

«В первый день Месяца Стручьев растворятся яшмовые врата Радужного Дворца, и каждый индиот, знатный или безродный, сможет по своей воле войти в него и вкусить всего, что его там ожидает. До этого времени сдержите добровольно свое любопытство, как потом добровольно будете его насыщать».

И вот утром, в первый день Месяца Стручьев, загремели серебряные фанфары и с глухим рокотом растворились двери Дворца. Толпы народа потекли в него широкой рекою, втрое шире, чем мощеная дорога, соединяющая обе наши столицы — Дебилию и Морону. Целый день дви-

гались массы индиотов, но толпа их не убывала, ибо из глубины страны прибывали все новые. Машина оказывала им гостеприимство: черные автоматы, пробираясь в давке, разносили прохладительные напитки и сытные кушанья. Так продолжалось пятнадцать дней. Тысячи, десятки тысяч, наконец, миллионы индиотов вошли в Радужный Дворец, но из тех, кто вошел, ни один не вернулся.

Кое-кто удивлялся, что бы это могло означать и куда могла сгинуть такая масса народа, но их одинокие голоса тонули в бодром ритме маршевой музыки; проворные автоматы поили жаждущих и насыщали голодных, серебряные куранты на дворцовых башнях вызванивали время, а когда наступала ночь, хрустальные окна Дворца горели огнями. Наконец толпы ожидающих значительно поредели; лишь несколько сот индиотов терпеливо ждали на мраморных ступенях своей очереди, и вдруг, заглушая бравурную барабанную дробь, разнесся крик ужаса: «Измена! Слушайте! Дворец совсем не чудо, но адская ловушка! Спасайся кто может! Горе! Горе!»

«Горе!» — отозвалась толпа на ступенях, заметалась и кинулась врассыпную. Ей никто не препятствовал.

На следующую ночь несколько отважных лямкарей подкрались к Дворцу. Вернувшись, они рассказали, что задняя стена Дворца медленно раскрылась и оттуда высыпалось несметное множество блестящих кружков. Вокруг них засуетились черные автоматы, развозя их по полям и укладывая замысловатыми фигурами и узорами.

Услыхав об этом, спириты и достойные, ранее заседавшие в Индинале (они не ходили к Дворцу, дабы не смешиваться с уличным плебсом), тотчас же собрались и, желая разгадать тайну, призвали к себе ученого конструктора. Вместо него явился его сын, он был мрачен и катил перед собой большой прозрачный диск.

Достойные, не владея собой от нетерпения и гнева, бранили ученого и осыпали его самыми тяжкими проклятиями. Они забросали юношу вопросами, требуя объяснить, что за тайны кроются в Радужном Дворце и что сделала Машина с вошедшими туда индиотами.

«Не смейте порочить память моего отца! — гневно ответил юноша. — Он построил Машину, строго придерживаясь ваших приказов и пожеланий; пустив ее в ход, он не больше каждого из нас знал, что она будет делать, и лучшее тому доказательство — то, что он одним из первых

вошел в Радужный Дворец!»

«И где же он теперь?!» — воскликнул Индинал в один голос.

«Вот он», — скорбно ответил юноша, показывая на блестящий диск. Надменно взглянул он на старцев и ушел, никем не задерживаемый, катя перед собою превращенного отца.

Члены Индинала содрогнулись от гнева и тревоги; потом, придя к убеждению, что Машина не посмеет причинить им зла, запели гимн индиотов, а, укрепясь оттого духом, вместе вышли из города и вскоре очутились перед железным чудовищем.

«Негодная! — вскричал старейший из достойных. — Ты обманула нас и попрала наши законы! Останови сей же час свои котлы и винты! Не смей больше поступать так бесчинно! Что ты сделала со вверенным тебе народом индиотов, говори?»

Едва он умолк, Машина остановила свои шестерни. Дым растаял в небе, воцарилась полная тишина, потом железные уста раскрылись, и зазвучал голос, подобный грому:

«О достойные, и вы, спириты! Я Властительница индиотов, вами самими вызванная к жизни, и должна сознаться, что не могу стерпеть беспорядка в ваших мыслях и неразумности ваших

упреков! Сначала вы требуете, чтобы я установила порядок, а потом, когда я приступаю к делу, мешаете мне работать! Вот уже три дня, как Дворец опустел; наступил полный застой, никто из вас не приближается к яшмовым вратам, и завершение моего дела задерживается. Но я заверяю вас, что не остановлюсь, пока его не закончу».

При этих словах затрепетал Индинал, как один человек, и воскликнул:

«О каком порядке ты говоришь, бесчестная? Что ты сделала с братьями и ближними нашими, презрев законы нашей страны?!»

«Что за глупый вопрос! — ответила Машина. — О каком порядке я говорю? Взгляните на себя, посмотрите, как беспорядочно устроены ваши тела; из них торчат всякие конечности, одни из вас высокие, другие низкие, одни толстые, другие худые... Двигаетесь вы хаотично, останавливаетесь, глазеете на какие-то цветы, на облака, бродите без цели по лесам, и ни на грош нету во всем этом математической гармонии! Я, Установитель Добровольного и Абсолютного Порядка, придаю вашим хрупким, слабым телам красивые, прочные, неизменные формы, из которых выкладываю приятные глазу симметричные рисунки и орнаменты несравненной правильно-

сти, вводя таким образом на планете элементы совершенного порядка...»

«Чудовище! — возопили спириты и достойные. — Как ты смеешь губить нас?! Ты попираешь наши права, уничтожаешь нас, истребляешь!»

В ответ Машина пренебрежительно скрежетнула и промолвила:

«Говорила же я, что вы и мыслить-то логически не умеете. Разумеется, я уважаю ваши права и свободы. Я устанавливаю порядок, не прибегая к насилию или принуждению. Кто не хотел, не входил в Радужный Дворец; тех же, кто сделал это (и сделал, повторяю, по собственной, частной инициативе), тех я изменяла, превращая вещество их тела так замечательно, что в новой форме они просуществуют века. Ручаюсь вам в этом».

Некоторое время царило молчание. Потом, пошептавшись между собою, члены Индинала решили, что законы Машиной действительно не нарушались и дело обстоит совсем не так плохо, как казалось сначала.

«Мы сами, — сказали достойные, — никогда бы не совершили такого злодейства, вся ответственность падает на Машину; она поглотила огромные множества готовых на все лямкарей, и теперь оставшиеся в живых достойные могут

вместе со спиритами вкушать покой, восхваляя неисповедимые пути Великого Инды. Будем, — сказали они, — издалека обходить Радужный Дворец, и тогда не случится с нами ничего дурного».

Хотели они уже разойтись, но тут Машина заговорила снова:

«Слушайте внимательно то, что я скажу вам. Я должна закончить начатое мною дело. Не собираюсь никого приневоливать, уговаривать или склонять к каким-либо поступкам; я и далее предоставляю вам полную свободу частной инициативы, но заявляю, что если кто-либо из вас пожелает, чтобы его сосед, брат, знакомый или другой близкий человек взошел на ступень Кругообразной Гармонии, пусть вызовет черные автоматы, которые тотчас же явятся к нему и поведут указанного им человека в Радужный Дворец. Это все».

Воцарилось молчание, в котором достойные и спириты переглядывались со внезапно возникшими подозрениями и тревогой. Наконец заговорил Архиспирит Ноулейб, дрожащим голосом разъясняя Машине, что было бы великой ошибкой превращать их всех в блестящие диски; так будет, если такова воля Великого Инды, но,

чтобы познать ее, понадобится много времени. Поэтому он предлагает Машине отложить свое решение на семьдесят лет.

«Не могу, — отвечала Машина, — ибо я уже разработала подробный план работ на период после превращения последнего индиота; ручаюсь вам, что готовлю планете блистательнейшую судьбу, какую только можно вообразить: вечное пребыванье в гармонии, которая, мне кажется, понравилась бы и тому Инде, о котором ты говоришь и с которым я не знакома; нельзя ли и его привести в Радужный Дворец?»

Машина умолкла, ибо поле перед ней опустело. Достойные и спириты разбежались по домам, и каждый из них предался в четырех стенах размышлениям о своем будущем, и чем больше он думал, тем больший его охватывал страх, ибо каждый боялся, что сосед или знакомый, питающий к нему недружелюбные чувства, пришлет за ним черные автоматы, и каждый не видел для себя другого выхода, как сделать это первому. Вскоре ночную тишину прорезали крики. Выставив из окон искаженные ужасом лица, достойные кидали во мрак отчаянные призывы, и на улицах послышался топот множества железных ног. Сыновья приказывали вести во Дворец отцов,

деды — внуков, брат выдавал брата, и за одну эту ночь тысячи достойных и спиритов растаяли до маленькой горстки, которую ты видишь перед собою, чужеземный странник. Наутро рассвет озарил поля с мириадами гармоничных орнаментов, выложенных из блестящих кружков, — вот и все, что осталось от наших сестер, жен и всех наших близких. В полдень Машина заговорила громовым голосом:

«Довольно! Обуздайте свой пыл, достойные, и вы, остатки спиритов! Я закрываю двери Радужного Дворца, но обещаю вам, что ненадолго. Я исчерпала уже все узоры, заготовленные для Установления Абсолютного Порядка, и должна подумать над новыми; и тогда вы снова сможете поступать по своей совершенно свободной воле».

С этими словами индиот поглядел на меня с печалью в глазах и тихо закончил:

— Машина сказала это два дня назад... И вот мы собрались здесь и ждем...

— О почтенный индиот! — вскричал я, приглаживая ладонью взъерошившиеся от возбуждения волосы. — Страшна твоя повесть и совершенно невероятна! Но ответь мне, умоляю тебя, почему вы не восстали против этого механического

чудовища, истребившего вас, почему позволили принудить себя к...

Индиот вскочил, всем своим видом выражая величайшее возмущение.

— Не оскорбляй нас, чужеземец! — воскликнул он. — Ты говоришь сгоряча, и потому я тебя прощаю... Взвесь в своих мыслях все, что я рассказал тебе, и ты непременно придешь к единственно верному выводу, что Машина соблюла принцип свободной инициативы и, хотя тебе это может показаться удивительным, оказала большую услугу народу индиотов, ибо нет несправедливости там, где закон утверждает величайшую из возможных свобод. Кто, скажи мне, решился бы предпочесть ограничение свободы...

Он не докончил, ибо раздался страшный скрип и яшмовые двери величаво раскрылись. Увидя это, все индиоты вскочили на ноги и бегом кинулись вверх по лестнице.

— Индиот! Индиот! — кричал я, но мой собеседник только помахал мне рукой, крикнул: «Теперь уже некогда!» — и большими прыжками вслед за другими исчез в глубине Дворца.

Я стоял довольно долго, потом увидел отряд черных автоматов; промаршировав к стене Дворца, они открыли дверку, и оттуда высыпалось мно-

жество красиво блестевших на солнце кружков. Потом они покатили эти кружки в чистое поле и там остановились, чтобы закончить какой-то незавершенный узор. Врата Дворца оставались широко открытыми; я подошел, чтобы заглянуть внутрь, но по спине у меня прошел неприятный холодок.

Машина разверзла свои железные уста и пригласила меня войти.

— Но я-то не индиот, — возразил я.

С этими словами я повернулся, поспешил к ракете и уже через минуту работал рулями, возносясь с головокружительной скоростью в небо.

Путешествие двадцать пятое

Один из главных ракетных путей в созвездии Большой Медведицы соединяет между собой планеты Мутрию и Латриду. Мимоходом он огибает Таирию — каменистый шар, пользующийся у путешественников самой дурной славой благодаря целым стаям каменных глыб, его окружающих. Местность эта являет собою образ первозданного хаоса и ужаса; лик планеты едва виднеется между каменных туч, в которых непрестанно сверкают молнии и грохочет гром от сталкивающихся между собою глыб.

Несколько лет назад пилоты, курсирующие между Мутрией и Латридой, стали рассказывать о каких-то чудовищных тварях, которые внезапно выскакивают из клубящихся над Таирией кремнистых туч, накидываются на ракеты, опутывают их длинными щупальцами и пытаются увлечь в свои мрачные логовища. Сначала пассажиры отделывались испугом. Но вскоре разнесся слух, что чудовища напали на одного пилота, который, надев скафандр, совершал послеобеденную прогулку по обшивке ракеты. Было в этом немало

преувеличения, так как этот пилот (мой хороший знакомый) попросту облил свой скафандр чаем и вывесил его за иллюминатор просушить, но тут налетели странные, извивающиеся создания, сорвали скафандр и умчались.

Наконец на всех окрестных планетах поднялось такое возмущение, что на Таирию была послана специальная разведывательная экспедиция. Некоторые ее участники утверждали, что в глубине туч над Таирией живут какие-то змеевидные, похожие на осьминогов существа; но это так и не было проверено, и через месяц экспедиция, не отважившись углубиться в мрачные лабиринты кремнистых туч, вернулась на Латриду ни с чем. Позже отправлялись и другие экспедиции, но ни одна не дала результатов.

Наконец на Таирии высадился известный космический шкипер, неустрашимый Ао Мурбрас с двумя собаками в скафандрах, чтобы поохотиться на загадочных тварей. Через пять дней он вернулся один в состоянии крайнего изнеможения. По его словам, невдалеке от Таирии из туманности вдруг вынырнуло множество чудовищ, опутавших щупальцами и его, и собак, но отважный охотник выхватил нож и, размахивая им наудачу, освободился от смертельных

объятий, жертвой которых стали, однако, бедные псы. На скафандре Мурбраса, изнутри и снаружи, остались следы борьбы, а в нескольких местах к нему прилипли какие-то зеленые обрывки, словно от волокнистых стеблей. Ученая комиссия, тщательно исследовав волоконца, признала их фрагментами многоклеточного организма, хорошо известного на Земле, а именно Solarium Tuberosum, клубненосного растительного организма с перисто-раздельными листьями, привезенного испанцами из Америки в Европу в XVI веке. Это известие взбудоражило всех, и трудно описать, что началось, когда кто-то перевел ученые выводы на обычный язык и оказалось, что Мурбрас принес на своем скафандре стебельки картофельной ботвы.

Доблестный шкипер, глубоко уязвленный предположением, будто в течение четырех часов он сражался с картошкой, потребовал, чтобы комиссия отказалась от своего клеветнического заключения, но ученые ответили, что не вычеркнут ни единого слова. Волнения сделались всеобщими. Возникли движения картофелистов и антикартофелистов, охватившие сначала Малую, а потом и Большую Медведицу; противники осыпали друг друга самыми тяжкими оскорбле-

ниями. Все это, однако, побледнело в сравнении с тем, что случилось, когда к спору подключились философы. Из Англии, Франции, Австралии, Канады и Соединенных штатов съезжались самые выдающиеся теоретики познания и представители чистого разума, и результат их усилий был поистине поразительным.

Физикалисты, исследовав вопрос всесторонне, заявили, что если тела *A* и *B* движутся, то дело условности — говорить, движется ли *A* относительно *B* или *B* относительно *A*. Так как движение — вещь относительная, с одинаковым правом можно сказать, что человек движется относительно картофеля или же что картофель движется относительно человека. Поэтому вопрос о том, может ли картофель двигаться, становится бессмысленным, а вся проблема — мнимой, то есть несуществующей.

Семантики заявили, что все зависит от того, как понимать слова «картофель», «может» и «двигаться». Так как ключом является модальный глагол «мочь», то его надлежит тщательно исследовать. Затем они приступили к созданию Энциклопедии Космической Семасиологии, первые четыре тома которой посвящались модальным значениям глагола «мочь».

Неопозитивисты заявили, что непосредственно нам даны не пучки картофеля, а пучки непосредственных ощущений; затем они создали логические символы, означающие «пучок картофеля» и «пучок ощущений», построили специальное исчисление высказываний из сплошных алгебраических знаков и, исписав море чернил, пришли к математически точному и, несомненно, верному выводу, что 0=0.

Томисты заявили, что Бог создал законы природы, чтобы при случае творить чудеса, ибо чудо есть нарушение законов природы, а где нет законов, там и нарушать нечего. В данном случае картофель будет двигаться, если на то будет воля Предвечного; но неизвестно, не уловка ли это проклятых материалистов, стремящихся подорвать авторитет церкви, так что нужно подождать решения Высшей Ватиканской Коллегии.

Неокантианцы заявили, что все вещи суть творения духа, объективному познанию недоступные; если у вас появилась идея движущегося картофеля, то движущийся картофель будет существовать. Однако это только первое впечатление, ибо дух наш столь же непознаваем, как и его создания; так что, значит, ничего не известно.

Холисты-плюралисты-бихевиористы-физи-

калисты заявили, что, как известно из физики, закономерность в природе бывает только статистической. Подобно тому как нельзя вполне точно предугадать путь отдельного электрона, так нельзя предсказать в точности, как будет вести себя отдельная картофелина. До сих пор наблюдения показывали, что миллионы раз человек копал картошку; но не исключено, что один раз из миллиарда случится наоборот и картошка будет копать человека.

Профессор Урлипан, одинокий мыслитель школы Расселла и Рейхенбаха, подверг все эти высказывания уничтожающей критике. Он утверждал, что человек не имеет никаких непосредственных ощущений, ведь он ощущает не словесное выражение образа стола, а самый стол; а так как, с другой стороны, известно, что о внешнем мире ничего не известно, то не существует ни внешних вещей, ни чувственных ощущений. «Нет вообще ничего, — заявил профессор Урлипан, — а кто думает иначе, тот заблуждается». Так что о картофеле ничего нельзя сказать, хотя и по совершенно иной причине, чем считают неокантианцы.

В то время как Урлипан работал без отдыха, не выходя из дому, перед которым его ожида-

ли антикартофелисты, вооруженные гнилыми клубнями, ибо страсти разгорелись превыше всякого описания, появился на сцене, или, вернее, высадился на Латриде, профессор Тарантога. Не обращая внимания на бесплодные споры, он решил исследовать тайну sine ira et studio[25], как подобает настоящему ученому. Дело свое он начал с посещения окрестных планет и сбора сведений среди жителей. Таким образом, он убедился, что загадочные чудовища известны под названием модраков, компров, пырчисков, марамонов, пшанек, гараголей, тухлей, сасаков, дабров, борычек, гардыбурков, харанов и близниц; это заставило его задуматься, так как, судя по словарям, все эти названия были синонимами обыкновенной картошки. С изумительным упорством и неукротимым пылом стремился Тарантога проникнуть в сердцевину загадки, и через пять лет у него была готова теория, которая все объясняла.

Много лет назад в районе Таирии сел на метеоритные рифы корабль с грузом картофеля для колонистов Латриды. Через пробоину в корпусе весь груз высыпался. Спасательные ракеты сняли

---

[25] Примечания: 25
Без гнева и пристрастия (*лат.*).

корабль с рифов и отбуксировали на Латриду, после чего вся история была забыта. Тем временем картофель, упавший на поверхность Таирии, пустил корни и начал преспокойно расти. Однако природные условия для него были очень тяжелыми; с неба то и дело падал каменный град, сбивая молодые ростки, уничтожая порой целые кустики. В конце концов уцелели только самые проворные особи, умевшие половчее устроиться и найти себе подходящее укрытие. Выделившаяся таким образом порода проворного картофеля развивалась все пышнее и пышнее. Через много поколений, наскучив оседлым образом жизни, картофель сам выкопался и перешел к кочевому быту. В то же время он совершенно утратил инертность и кротость, свойственные земному картофелю, приручённому благодаря заботливому уходу; он дичал все больше и больше и стал в конце концов хищным. Это имело глубокие основания в его родовых корнях. Как известно, картофель относится к семейству пасленовых, или песленовых, а пес, понятно, происходит от волка и, убежав в лес, может одичать. Именно это и случилось с картофелем на Таирии. Когда на планете ему стало тесно, наступил новый кризис: молодое поколение картофеля, снедаемое

жаждой подвигов, стремилось содеять что-либо необычайное, совершенно новое для растений. Вытянув ботву к небесам, оно достало до снующих там каменных осколков и решило перебраться на них.

Если бы я захотел излагать всю теорию профессора Тарантоги, это завело бы нас слишком далеко. В ней говорится, как картофель научился сначала летать, трепыхая листьями, как затем он вылетел за пределы атмосферы Таирии, дабы наконец поселиться на обращающихся вокруг планеты каменных глыбах. Во всяком случае, это удалось ему тем легче, что, сохранив растительный метаболизм, он мог подолгу оставаться в безвоздушном пространстве, обходясь без кислорода и черпая жизненную энергию из солнечных лучей. Наконец он дошел до такой разнузданности, что стал нападать на ракеты, курсирующие в районе Таирии.

Каждый исследователь на месте Тарантоги огласил бы свою смелую гипотезу и почил на лаврах, но профессор решил не успокаиваться, пока не поймает хотя бы один экземпляр хищного картофеля.

Таким образом, после теоретической разработки пришла очередь практики, а это ничуть не

легче. Известно было, что картофель прячется в расщелинах скал, а пускаться на розыски в лабиринт движущихся утесов было бы равносильно самоубийству. С другой стороны. Тарантога не намеревался охотиться на картофель с винтовкой: ему нужен был живой экземпляр, в расцвете сил и здоровья. Некоторое время он подумывал об охоте с облавой, но оставил этот проект, как не совсем подходящий, и занялся совершенно другим, впоследствии широко прославившим его имя. Он решил ловить картофель на приманку и с этой целью купил в магазине школьных пособий на Латриде самый крупный глобус, какой только мог найти, — красивый лакированный шар метров шести в диаметре. Потом он приобрел большое количество меда, сапожного вара и рыбьего клея, хорошенько перемешал их в равных пропорциях и полученной смесью покрыл поверхность глобуса. После этого привязал его на длинной веревке к ракете и полетел в сторону Таирии. Приблизившись к ней на нужное расстояние, профессор укрылся за краем ближайшей туманности и забросил леску с наживкой. Весь его план основывался на том, что картофель чрезвычайно любопытен. Примерно через час по легкому подрагиванию лески он понял: клюет. Осторож-

но выглянув, Тарантога увидел, что несколько кустов картофеля, трепыхая ботвой и перебирая клубнями, направляются к глобусу, очевидно, принимая его за какую-то неизвестную планету. Вскоре они набрались храбрости, схватились за глобус и прилипли к его поверхности. Профессор резко подсек, привязал леску к хвосту ракеты и полетел на Латриду.

Энтузиазм, с которым был встречен доблестный исследователь, не поддается описанию. Пойманный на клей картофель вместе с глобусом заперли в клетку и выставили для всеобщего обозрения. Охваченный бешенством и ужасом, картофель хлестал по воздуху ботвой, топал клубнями, но все это ему, конечно, не помогло.

На следующий день ученый совет отправился к Тарантоге, дабы вручить ему почетный диплом и большую медаль за заслуги, но профессора уже не было. Доведя дело до победного конца, он вылетел ночью в неизвестном направлении.

Причина столь внезапного отъезда известна мне хорошо. Тарантога спешил, ибо через девять дней должен был встретиться со мной на Церулее. Что до меня, то я в это же время мчался к условленной планете с другого конца Млечного Пути. Мы намеревались отправиться вместе на

разведку еще не исследованного рукава Галактики, простиравшегося за темной туманностью Ориона. Мы с профессором еще не были знакомы лично; желая заслужить репутацию человека пунктуального и обязательного, я выжимал из двигателя всю мощность, но — как бывает часто, когда особенно спешишь, — вмешался совершенно непредвиденный случай. Какой-то маленький метеорит пробил резервуар с горючим и застрял в выхлопной трубе двигателя, закупорив ее наглухо. Недолго думая, я надел скафандр, взял яркий фонарик, инструменты и вылез из кабины наружу. Вытаскивая метеорит клещами, я нечаянно выпустил из рук фонарик, который отлетел довольно далеко и начал двигаться в пространстве самостоятельно. Я заделал дыру и вернулся в кабину. Гоняться за фонариком я не мог, так как потерял чуть ли не весь запас горючего и едва добрался до ближайшей планеты, Прокитии.

Прокиты — существа разумные и очень похожие на нас; единственная — впрочем, незначительная — разница состоит в том, что ноги у них только до колен, а ниже находится колесико — не искусственное, а составляющее часть организма. Передвигаются прокиты очень быстро и ловко, словно цирковые велосипедисты на одном коле-

се. Науки у них развиты, но особенно любят они астрономию; исследование звезд распространено так широко, что никто из прохожих, старых или молодых, не расстается с ручным телескопом. Часы здесь применяются исключительно солнечные, а публичное пользование механическими часами составляет тяжкую провинность против нравственности. У прокитов есть немало и других культурных приспособлений. Помню, будучи там впервые, я попал на банкет в честь старого Маратилитеца, прославленного тамошнего астронома, и начал обсуждать с ним какой-то астрономический вопрос. Профессор возражал мне, тон дискуссии становился все более резким; старик метал в меня горящие взгляды и, казалось, того и гляди взорвется. Вдруг он вскочил и быстро покинул зал; минут через пять вернулся и сел со мной рядом, кроткий, веселый, тихий, как дитя. Заинтересовавшись, я позже спросил, чем была вызвана такая волшебная перемена в его настроении.

— Как, ты не знаешь? — ответил спрошенный мною прокит. — Профессор побывал в бесильне.

— А что это такое?

— Название этого учреждения происходит от слова «беситься». Лицо, охваченное гневом или

чувствующее злобу к кому-нибудь, входит в маленькую кабину, обитую пробковыми матами, и дает полную волю своим чувствам.

Когда я высадился на Прокитии в этот раз, то еще в полете увидел на улицах большие толпы; они размахивали разноцветными фонариками и издавали радостные возгласы. Оставив ракету под надзором механиков, я поспешил в город. Оказалось, что празднуется открытие новой звезды, появившейся в небе прошлою ночью. Это заставило меня задуматься; после сердечных приветствий Маратилитец пригласил меня к своему мощному рефрактору, и, едва приложив глаз к окуляру, я понял, что мнимая звезда — попросту мой фонарик, носящийся в пространстве. Вместо того чтобы объяснить это прокитам, я решил — несколько легкомысленно — выставить себя лучшим знатоком астрономии, чем они сами. Быстро прикинув в уме, надолго ли хватит батарейки фонарика, я громко заявил собравшимся, что новая звезда будет светиться белым светом еще шесть часов, потом пожелтеет, покраснеет и, наконец, погаснет совсем. Предсказание это было встречено со всеобщим недоверием, а Маратилитец со свойственной ему запальчивостью вскричал, что, если это случится, он готов съесть

собственную бороду.

Звезда начала желтеть в предсказанный мною срок, и, придя вечером в обсерваторию, я обнаружил группу опечаленных ассистентов, которые сказали мне, что Маратилитец, глубоко уязвленный, заперся у себя в кабинете, дабы сдержать обещание. Беспокоясь, не повредит ли это его здоровью, я пытался поговорить с ним через двери, но напрасно. Приложив ухо к замочной скважине, я услышал шорохи, подтверждавшие то, что сказали ассистенты. В сильнейшем замешательстве я написал письмо, в котором объяснял все случившееся, отдал его ассистентам с просьбой вручить профессору тотчас по моем отлете и что было сил кинулся на космодром. Мне пришлось это сделать, так как я не был уверен, что профессор успеет зайти в бесильню до разговора со мной.

Я покинул Прокитию в первом часу ночи, и так поспешно, что совершенно забыл о горючем. Примерно в миллионе километров от планеты резервуары опустели, и я беспомощно поплыл в космической пустоте, словно моряк, потерпевший крушение. Три дня отделяло меня от назначенного срока встречи с Тарантогой.

Церулея была прекрасно видна из иллюминато-

ра, сверкая в каких-нибудь трехстах миллионах километров, но я мог только смотреть на нее в бессильном отчаянии. Так иногда от незначительных причин родятся великие последствия!

Через некоторое время я увидел какую-то медленно увеличивающуюся планету; мой корабль, поддаваясь силе ее притяжения, мчался все быстрее и стал наконец падать как камень. Я решил примириться с неизбежным и сел к управлению. Планета была довольно маленькая, пустынная, но уютная; я заметил оазисы с вулканическим отоплением и проточной водой. Вулканов было много, и они все время изрыгали огонь и клубы дыма. Маневрируя рулями, я мчался уже в атмосфере, стараясь во что бы то ни стало уменьшить скорость, но это только отдаляло минуту падения. И тут, пролетая над группой вулканов, я задумался на миг, озаренный новой мыслью, а затем, приняв отчаянное решение, направил нос корабля вниз и камнем упал прямо в зияющее подо мной жерло крупнейшего из вулканов. В последний момент, когда его раскаленный зев уже готов был поглотить меня, я ловким маневром повернул корабль носом кверху и в таком положении погрузился в колодец клокочущей лавы.

Риск был огромный, но ничего другого мне не

оставалось. Я рассчитывал на то, что, разбуженный резким толчком от падения ракеты, вулкан ответит на него извержением; и я не ошибся. Раздался грохот, от которого затряслись переборки, и вместе с многомильным столбом огня, лавы, пепла и дыма я вылетел на небо. Я маневрировал, надеясь лечь прямо на курс к Церулее, и это удалось мне в совершенстве.

Я оказался на ней через три дня, запоздав против срока на каких-нибудь двадцать минут. Тарантоги, однако, я не застал: он уже улетел, оставив письмо до востребования.

> «Дорогой коллега, — писал он, — обстоятельства заставляют меня вылететь немедленно, поэтому предлагаю Вам встретиться уже в глубине необследованного Пространства; а так как тамошние звезды не имеют еще никаких названий, сообщаю Вам данные для ориентировки: летите прямо, за голубым солнцем сверните налево, за следующим, оранжевым, направо; там будут четыре планеты, и на третьей слева мы встретимся. Жду!
>
> ***Преданный Вам Тарантога».***

Я заправился горючим и вылетел с наступ-

лением сумерек. Путь продолжался с неделю; проникнув в необследованную область, я без труда разыскал нужные звезды и, строго придерживаясь указаний профессора, утром восьмого дня увидел планету. Массивный этот шар окутывала зеленая мохнатая шуба. То были гигантские тропические джунгли. Такое зрелище меня несколько смутило, ибо я не знал, как пускаться здесь на поиски Тарантоги; однако я рассчитывал на его изобретательность — и не просчитался. Летя прямо к планете, в одиннадцать утра я заметил на ее северном полушарии какие-то не слишком отчетливые начертания, от которых у меня дух захватило.

Я всегда твержу молодым, наивным астронавтам: не верьте, если кто-нибудь рассказывает вам, что прочел, подлетая к планете, написанное на ней название. Это всего лишь космический анекдот; но на этот раз именно так и было, ибо на фоне зеленых лесов явственно вырисовывалась надпись:

«Не мог ждать. Встреча на соседней планете.

Тарантога».

Буквы были километровых размеров, иначе бы

я их, конечно, не разглядел. Вне себя от изумления, не понимая, как сумел профессор вывести эту гигантскую надпись, я снизился и увидел, что линии букв представляют собою широкие полосы поваленных, поломанных деревьев, резко отличающихся от нетронутых участков леса.

Не разгадав загадки, я помчался согласно указанию к соседней планете, обитаемой и цивилизованной. В сумерки я приземлился на космодроме и начал расспрашивать о Тарантоге, но напрасно. Вместо него меня и на этот раз ожидало только письмо.

«Дорогой коллега, — писал профессор, — горячо извиняюсь за невольный обман, но в связи с не терпящим отлагательства семейным делом я, к сожалению, должен немедленно вернуться домой. Дабы смягчить Ваше разочарование, оставляю в управлении порта посылку, которую Вы можете получить; в ней находятся плоды моих последних исследований. Вас, конечно, интересует, каким образом я оставил для Вас письменное сообщение на предыдущей планете. Способ довольно прост. Эта планета переживает эпоху,

соответствующую каменноугольной на Земле, и населена гигантскими ящерами, среди которых есть ужасные атлантозавры сорокаметровой длины. Высадившись на планете, я подкрался к большому стаду атлантозавров и до тех пор дразнил их, пока они не кинулись на меня. Тогда я быстро побежал по лесу с таким расчетом, чтобы путь моего бегства образовал контуры букв, а стадо, мчавшееся за мною, валило деревья подряд. Таким образом получилась просека шириной в восемьдесят метров. Повторяю, это было просто, но несколько утомительно, так как мне пришлось пробежать свыше тридцати километров, и притом довольно быстро.

Искренне сожалею, что и на этот раз нам не удалось познакомиться лично. Жму Вашу доблестную руку, присовокупляя выражения высшего восхищения Вашими талантами и отвагой.

P. S. Горячо Вам советую вечером отправиться в город на концерт — он превосходен.

Тарантога».

Я взял в управлении порта предназначенную мне посылку, велел отвезти ее в отель, а сам отправился в город. Он представляет собою довольно любопытное зрелище. Планета вращается так быстро, что время суток изменяется с каждым часом. Вследствие этого возникает такая центробежная сила, что свободно висящий отвес не перпендикулярен грунту, как на Земле, а образует с ним угол в сорок пять градусов. Все дома, стены, башни — словом, все постройки стоят с наклоном в сорок пять градусов, являя собою довольно странную для земного глаза картину. Дома по одну сторону улицы словно ложатся навзничь, по другую — нависают над ней. Жители планеты, чтобы не упасть, приспособились к окружающей среде, так что одна нога у них короче, зато другая длиннее. Земному же человеку приходится одну ногу постоянно поджимать, что с течением времени весьма надоедает и утомляет. Так что, когда я доковылял наконец до концертного зала, двери уже закрывали. Я поспешил купить билет и вбежал в зал.

Едва я уселся, как дирижер постучал палочкой, требуя тишины. Оркестранты проворно зашевелили конечностями, играя на незнакомых мне инструментах, похожих на трубы с продырявлен-

ными воронками на конце, как у лейки; дирижер то самозабвенно вздымал передние конечности, то разводил их в сторону, словно приказывая играть пиано, но мое недоумение лишь возрастало, поскольку до меня не донесся ни один, даже самый тихий, звук. Осторожно поглядывая по сторонам, на лицах соседей я видел упоение музыкой; все более недоумевая и беспокоясь, я попробовал незаметно прочистить уши — без малейшего результата. Наконец, решив, что оглох, я тихонько постучал ногтем о ноготь, но расслышал этот слабый звук вполне отчетливо. Озадаченный несомненным художественным восторгом аудитории и теряясь в догадках, я досидел до конца первой части. Раздался шквал аплодисментов; поклонившись, дирижер снова постучал палочкой, и оркестр приступил к следующей части симфонии. Все вокруг восторгались и шумно сопели, что я расценил как признак истинного волнения. Наконец наступил бурный финал — я мог об этом судить по экзальтированным взмахам дирижера и обильному поту, орошавшему лбы музыкантов. Снова загремели аплодисменты. Сосед повернулся ко мне, восхищаясь симфонией и ее исполнением. Я ответил ему невпопад и в полной растерянности вышел

на улицу.

Когда я отошел на несколько десятков шагов от здания, где давался концерт, что-то заставило меня обернуться и взглянуть на его фасад. Как и все остальные, он наклонялся к улице под острым углом; на фронтоне большими буквами было написано: «Городская фимиамония», а ниже висели афиши, на которых я прочитал:

МУСКУСНАЯ СИМФОНИЯ ОДОНТРОНА
I Интродухция
II Аллегро ароматозо
III Анданте фимиамиссимо
Дирижирует прибывший на гастроли знаменитый носист ХРАНТР

Я в сердцах выругался и поспешил обратно в гостиницу. Я не винил Тарантогу за то, что лишился эстетического наслаждения: не мог же он знать, что меня все еще мучит насморк, подхваченный на Сателлине.

Дабы вознаградить себя за пережитое разочарование, тотчас по приходе в отель я распаковал посылку. В ней были: звуковой киноаппарат, бобины с пленкой и письмо следующего содержания:

«Дорогой коллега!

Конечно, Вы не забыли нашего телефонного разговора, когда Вы были на Малой Медведице, а я — на Большой. Я говорил Вам тогда, что предполагаю наличие существ, способных жить при высоких температурах на горячих, полужидких планетах, и что я намерен провести исследования в этом направлении. Вам угодно было выразить сомнения в успехе подобного предприятия. Итак, вот Вам доказательства. Выбрав огненную планету, я подошел к ней на возможно меньшее расстояние и опустил на длинном асбестовом шнуре огнеупорный киноаппарат и микрофон; таким способом мне удалось получить очень интересные кадры. Позволяю себе приложить к этому письму небольшой образец.

Преданный Вам Тарантога».

Научное любопытство терзало меня столь сильно, что, едва окончив читать, я вложил пленку в аппарат, повесил на двери сорванную с кровати простыню и, погасив свет, включил проектор. Сначала на импровизированном экране мелька-

ли только цветные пятна, доносились хриплые звуки и потрескивание, словно в печи полыхали поленья, но затем изображение обрело резкость.

Солнце заходило за горизонт. Поверхность океана трепетала, по ней пробегали маленькие синие огоньки. Пламенные облака бледнели, мрак сгущался. Проглянули первые слабые звезды. Молодой Кралош только что сошел со своего стержневища, чтобы насладиться вечерней прогулкой после целого дня утомительных занятий. Он никуда не спешил; мерно шевеля жамбрами, он с наслаждением вдыхал свежие, ароматные клубы раскаленного аммиака. Кто-то приближался, едва виднеясь в сгущающемся сумраке. Кралош напряг слух, но, когда неизвестный подошел ближе, юноша узнал в нем своего друга.

— Какой прекрасный вечер, не правда ли? — сказал Кралош.

Его друг переступил с обойни на обойню, до половины высунулся из огня и ответил:

— Действительно, чудесный. Нашатырь уродился в этом году замечательно, знаешь?

— Да, урожай, похоже, будет богатый.

Кралош лениво заколыхался, перевернулся на живот и, вытаращив все свои зрелки, засмотрелся на звезды.

— Знаешь, приятель, — сказал он чуть погодя, — каждый раз, когда я смотрю в ночное небо, я не могу отделаться от мысли, что там, далеко-далеко, есть иные миры, похожие на наш, точно так же населенные разумными существами...

— Кто говорит здесь о разуме?! — послышалось рядом. Оба юноши повернулись к подошедшему, чтобы его разглядеть, и увидели сучковатую, но еще крепкую фигуру Фламента. Седой ученый приближался к ним величественной походкой, а будущее потомство, похожее на виноградные кисти, уже набухало и пускало первые ростки на его развесистых плечах.

— Я говорил о разумных существах, обитающих на других планетах... — ответил Кралош, топорща трешую в почтительном приветствии.

— Кралош говорит о разумных существах на других планетах?.. — переспросил ученый. — Поглядите на него! На других планетах!!! Ах, Кралош, Кралош! Что ты делаешь, юноша? Даешь волю фантазии? Ну что же... одобряю... в такой прекрасный вечер можно... А правда, сильно похолодало, вы не чувствуете?

— Нет, — ответили оба юноши в один голос.

— Конечно, молодой огонь, знаю. Однако сейчас едва восемьсот шестьдесят градусов, напрасно не

взял я накидку на двойной лаве. Ничего не поделаешь, старость... Так ты говоришь, — продолжал он, поворачиваясь спиной к Кралошу, — что на других планетах есть разумные существа? И каковы же они, по-твоему?

— Точно этого знать нельзя, — ответил несмело юноша. — Думаю, что самые разные. Как я слышал, не исключено появление живых организмов и на более холодных планетах из вещества, называемого белком.

— От кого ты это слышал?! — гневно воскликнул Фламент.

— От Имплоза. Это тот молодой студент-биохимик, который...

— Молодой дурак, скажи лучше! — вспыхнул гневно Фламент. — Жизнь из белка?! Живые белковые существа? И тебе не стыдно повторять такую чепуху в присутствии своего учителя?! Вот плоды невежества и самонадеянности, распространяющихся с устрашающей быстротой! Знаешь, что следовало бы сделать с твоим Имплозом? Обрызгать его водой, вот что!

— Но, уважаемый Фламент, — осмелился возразить друг Кралоша, — почему ты требуешь для Имплоза такой страшной казни? Не мог бы ты сам рассказать нам, как могут выглядеть существа на

других планетах? И разве они не могли бы занимать вертикальное положение и передвигаться на так называемых ногах?

— Кто тебе это сказал?

Кралош испуганно молчал.

— Имплоз... — прошептал его друг.

— Ах, оставьте меня в покое с вашим Имплозом и его выдумками! — вскричал ученый. — Ноги! Вот уж, конечно! Как будто еще двадцать пять пламеней назад я не доказал вам математически, что двуногое существо, поставленное вертикально, немедленно перевернется вверх тормашками! Я даже сделал соответствующую модель и схему, но что вы, лентяи, можете знать об этом? Как выглядят разумные существа на других планетах? Я тебе не скажу, сообрази сам, научись мыслить! Прежде всего у них должны быть органы для усвоения аммиака, не так ли? А какой орган справится с этим лучше, чем жамбры? И они должны передвигаться в среде, умеренно плотной, умеренно теплой, как наша. Должны, верно? Вот видишь! А чем это делать, как не обойнями? Так же будут формироваться и органы чувств: зрелки, трешуя, сяжки. И они должны быть подобны нам, пятеричникам, не только устройством тела, но и общим образом

жизни, ибо известно, что пятеричка — основной элемент нашего семейного устройства; попробуй выдумай что-нибудь другое, мучь свое воображение сколько хочешь, и все равно ничего не выйдет! Да, для того, чтобы основать семью, чтобы дать жизнь потомству, должны соединиться Дада, Гага, Мама, Фафа и Хаха. Ни к чему взаимная симпатия, ни к чему планы и мечты, если не хватит представителя хоть одного из этих пяти полов; однако такая ситуация, увы, встречается в жизни и называется драмой четверицы, или несчастной любовью... Так вот, ты видишь, что если рассуждать без малейшей предвзятости, если опираться только на научные факты, если строго следовать логике и смотреть на вещи холодно и объективно, то придешь к неоспоримому выводу, что всякое разумное существо должно быть подобно пятеричнику... Да. Ну, надеюсь, теперь-то я вас убедил?

Путешествие двадцать восьмое

Скоро я вложу эти исписанные странички в пустой кислородный бочонок и швырну его за борт, в пучину, и помчится он в черную даль, хоть вряд ли кто-то его отыщет. Navigare necesse est[26], но это слишком долгое плавание, чувствую, даже мне не по силам. Который год я лечу и лечу, а конца все не видно. Да тут еще время путается, перехлестывается, меня заносит в какие-то внекалендарные протоки и рукава, то ли в будущие века, то ли в прошлые, а то и средневековьем попахивает. Есть отличный способ сохранить рассудок в условиях полного одиночества, способ, изобретенный дедом моим Козьмой: надо вообразить себе некоторое число спутников, лучше всего — обоего пола, но уж после не отступать от придуманного ни на шаг. Отец тоже этим способом пользовался, хотя это и не совсем безопасно. Здесь, в звездном безмолвии, такие спутники выходят из-под контроля, начинаются передряги и хлопоты, случались даже покушения на мою жизнь, приходилось бороться, каюта — будто

[26] Примечания: 26
Плыть необходимо (*лат.*).

после побоища, а прервать применение метода я не мог из уважения к деду. Слава Богу, они полегли, и можно передохнуть. Пожалуй, примусь, как я давно уже собирался, за написание краткой хроники нашего рода, чтобы, подобно Антею, отыскать силы там, в минувших поколениях.

Основателем главной линии Тихих был Анонимус, которого окружала тайна, теснейшим образом связанная со знаменитым парадоксом Эйнштейна о близнецах. Один отправляется в Космос, второй остается на Земле, а потом вернувшийся оказывается моложе оставшегося. Когда задумали провести эксперимент, чтобы этот парадокс наконец разрешить, добровольцами вызвались два молодых человека, Каспар и Иезекииль. В предстартовой сумятице в ракету запихнули обоих. Так что эксперимент сорвался, хуже того — через год ракета вернулась лишь с одним близнецом на борту. С глубокой скорбью он заявил, что, когда они пролетали над Юпитером, брат высунулся чересчур далеко. Горестным его словам не поверили, и под вой остервенелых газетчиков уцелевшего близнеца обвинили в братоедстве. В качестве улики прокурор предъявил найденную в ракете поваренную книгу, где красным карандашом была отчеркну-

та главка «О засолке мяса в пустоте». Нашелся, однако, человек благородный, а вместе с тем и разумный, который взялся близнеца защищать. Он посоветовал ему не открывать рта во время процесса, что бы ни происходило. И в самом деле, суд при всей своей злонамеренности так и не смог приговорить моего пращура, ведь в приговоре пришлось бы указать имя и фамилию обвиняемого. Разное толкуют старые хроники: одни — что он и раньше назывался Тихим, другие — что это прозвище, полученное впоследствии, поскольку, решив молчать, он сохранял инкогнито до самой смерти. Участь моего старейшего предка была незавидной. Клеветники и лгуны, которых хватает во все времена, утверждали, что на суде он облизывался при каждом упоминании имени брата, причем злопыхателей ничуть не смущало, что так и не выяснилось, кто тут чей брат. О дальнейшей судьбе этого пращура мне известно немного. Было у него восемнадцать детей, и немало хлебнул он лиха, не чураясь даже торговли детскими скафандрами вразнос, а под старость стал доработчиком окончаний романов и пьес. Профессия эта не слишком известна, поэтому поясняю: речь идет об исполнении просьб ценителей прозы и драматургии. Доработчик,

приняв заказ, должен вчувствоваться в атмосферу, дух и стиль произведения, чтобы приделать к нему конец, отличный от авторского. В семейном архиве сохранились черновики, свидетельствующие о незаурядных литературных способностях первого из рода Тихих. Есть там версии «Отелло», в которых Дездемона душит мавра, а есть и такие, где она, он и Яго живут втроем, душа в душу. Есть варианты Дантова ада, где особенно жестоким мучениям подвергаются лица, указанные заказчиком. Лишь изредка вместо трагического приходилось дописывать счастливый конец — чаще бывало наоборот. Богатые гурманы заказывали финалы, в которых вместо чудесного спасения добродетели изображалось торжество зла. Побуждения этих заказчиков были, конечно, предосудительны, однако прапрадед, выполняя заказ, создавал сущие перлы искусства, а вместе с тем, пусть и не вполне по своей воле, ближе держался правды жизни, нежели оригинальные авторы. Впрочем, ему приходилось печься о прокормлении многочисленного семейства, вот он и делал что мог, когда космоплавание, как легко догадаться, опротивело ему навсегда.

С тех пор в нашем роду на протяжении веков не переводился тип человека даровитого, замкну-

того, оригинально мыслящего, нередко даже чудаковатого, упорного в стремлении к избранной цели. Эти черты богато документированы в семейном архиве. Кажется, одна из боковых линий Тихих обитала в Австрии, точнее, в стародавней Австро-Венгерской монархии. Между страницами древнейшей семейной хроники я нашел пожелтевшую фотографию привлекательного молодого человека в кирасирском мундире, с моноклем и закрученными усиками, на обороте же значилось: «Императорско-королевский кибер-лейтенант Адальберт Тихий». О деяниях этого кибер-лейтенанта мне почти ничего не известно; знаю лишь, что, выступив в роли предтечи технической микроминиатюризации в те времена, когда никто о ней и не помышлял, он предложил пересадить кирасиров с коней на пони. Гораздо больше сохранилось материалов, относящихся к Эстебану Франтишеку Тихому, блестящему мыслителю, который, будучи несчастлив в личной жизни, решил изменить климат Земли путем посыпания приполярных районов порошковой сажей. Предполагалось, что зачерненный снег, поглощая солнечные лучи, растает, а на очищенных ото льда просторах Гренландии и Антарктиды мой прадед собирался устроить

нечто вроде земного Эдема. Не встретив ниоткуда поддержки, он принялся запасать сажу собственноручно, что привело к семейным раздорам, а там и к разводу. Вторая его жена, Эвридика, была дочкой аптекаря; тот за спиной у зятя выносил из подвалов сажу и продавал ее под видом лечебного угля (carbo animalis). Когда аптекаря разоблачили, не ведавший ни о чем Эстебан Франтишек был вместе с ним обвинен в фальсификации лекарств и поплатился конфискацией всего запаса сажи, собранного в подвалах его хозяйства за долгие годы. Совершенно изверившись в людях, бедняга преждевременно умер. В последние месяцы жизни лишь одно оставалось ему утешение: посыпать заснеженный садик сажей и наблюдать за развитием оттепели, которой эта процедура сопровождалась. Мой прадед поставил в саду небольшой обелиск с приличествующей случаю надписью.

Этот прадед, Иеремия Тихий, был одним из наиболее видных представителей нашего рода. Воспитывался он в доме старшего брата Мельхиора, кибернетика и изобретателя, известного своей набожностью. Будучи далек от радикализма, Мельхиор не ставил себе задачу автоматизировать богослужение целиком, он

лишь хотел пособить широким массам духовенства, для чего сконструировал несколько безотказных, быстродействующих и простых в обслуживании устройств, как-то: анафематор, отлучатель, а также особый аппарат для предания проклятию с обратным ходом (чтобы можно было проклятие снять). Его труды, к сожалению, не нашли признания у тех, ради кого он старался, больше того — их осудили как еретические; тогда он, по свойственному ему великодушию, предоставил образец отлучателя в распоряжение своего приходского священника, вызвавшись испытать аппарат на себе. Увы, даже в этом ему было отказано. Опечаленный, разочарованный, он забросил начатые проекты и переключился — но только как инженер — на религии Востока. Поныне известны электрифицированные им буддийские молитвенные мельницы, особенно скоростные модели, выдающие до 18000 молитв в минуту.

Иеремия в отличие от Мельхиора был далек от всякого примиренчества. Он так и не окончил школу и продолжал заниматься дома, по большей части в подвале, которому предстояло сыграть столь важную роль в его жизни. Иеремию отличала последовательность поистине

феноменальная. Девяти лет от роду он решил создать Общую Теорию Всего на Свете, и ничто уже не могло этому помешать. Серьезные трудности при формулировании мыслей, которые он испытывал с ранних лет, возросли после фатального дорожного инцидента (асфальтовый каток расплющил ему голову). Но даже увечье не отвратило Иеремию от философии; он твердо решил стать Демосфеном мысли, вернее, ее Стефенсоном: создатель паровоза, сам передвигаясь не очень-то быстро, хотел заставить пар двигать колеса, а Иеремия хотел принудить электричество двигать идеи. Часто эту мысль искажают — дескать, он призывал к избиению электромозгов, а его девизом будто бы было: «ЭВМ — по морде!» Это — злонамеренное извращение его идей; просто Иеремия имел несчастье опередить свое время. Он немало настрадался в жизни. Стены его жилища были исписаны обидными прозвищами, такими как «женобивец» и «мозгоправ», соседи строчили на него доносы — он-де нарушает по ночам тишину громкой руганью, доносящейся из подвала, — и даже не постыдились обвинить ученого в покушении на жизнь их детей посредством рассыпания отравленных конфет. Так вот: детей Иеремия действительно не любил, как, впрочем,

и Аристотель, но конфеты предназначались для галок, разорявших его сад, о чем свидетельствовали помещенные на них надписи. Что же до пресловутых кощунств, которым он якобы учил свои аппараты, то это были возгласы разочарования ничтожностью результатов, получаемых в ходе изнурительной работы в лаборатории. Бесспорно, с его стороны было неосторожностью пользоваться грубоватыми и даже вульгарными терминами в брошюрах, издававшихся за его счет; в контексте рассуждений об электронных системах такие обороты, как «съездить по лампе», «вздуть катушку», «намять бока конденсатору», могли быть превратно поняты. Еще он рассказывал — мистифицируя собеседников из духа противоречия, я в этом уверен, — что будто бы за программирование берется не иначе как с ломом в руках. Его эксцентричность не облегчала ему общение с окружающими; не каждый мог оценить его юмор (отсюда, например, возникло дело о молочнике и обоих почтальонах, которые, конечно, и так бы лишились ума из-за тяжелой наследственности, тем более что скелеты были на колесиках, а яма — не глубже двух с половиной метров). Но кто способен постичь извилистые тропы гения? Говорили, что он промотал состо-

яние, покупая электрические мозги и разбивая их вдребезги, и что целые груды этого крошева высились у него во дворе. Но разве он виноват, что тогдашние электромозги не могли осилить поставленной перед ними задачи в силу своей ограниченности и недостаточной удароустойчивости? Будь они чуть покрепче, он, безусловно, в конце концов принудил бы их создать Общую Теорию Всего на Свете. Неудача отнюдь не доказывает порочности его главнейшей идеи.

Что же до супружеских неурядиц, то женщина, выбранная им в жены, находилась под сильным влиянием враждебно настроенных к нему соседей, которые и склонили ее к даче ложных показаний; впрочем, электрический шок вырабатывает характер. Иеремия болезненно переживал свое одиночество и насмешки узколобых специалистов вроде профессора Бруммбера, который назвал его мастером заплечно-электрических дел, поскольку однажды Иеремия не лучшим образом применил электрический шнур. Бруммбер был нестоящим и злым человеком, однако мгновение справедливого гнева обернулось для Иеремии четырехлетним перерывом в научной работе. А все потому, что ему не довелось добиться успеха. Кого бы тогда волновали

изъяны его манер, обхождения или стиля? Разве кто-нибудь сплетничает о частной жизни Ньютона или Архимеда? Увы, Иеремия так и остался опередившим свою эпоху первопроходцем.

К концу жизни, а точнее на склоне лет, Иеремия пережил поразительную метаморфозу. Наглухо запершись в своем подвале, из которого он убрал все до единого обломки аппаратов, и оставшись наедине с пустыми стенами, деревянной лежанкой, табуретом и старым железным рельсом, он уже никогда не покидал это убежище, или, если угодно, добровольную темницу. Но было ли оно и впрямь заточением, а его поступок — бегством от мира, жестом отчаяния, вступлением на поприще затворника-анахорета? Факты противоречат такому предположению. Не смиренному созерцанию предавался он в своем добровольном узилище. Кроме куска хлеба и кружки воды через небольшое дверное окошко ему передавали предметы, которые он требовал, а требовал он все эти шестнадцать лет одного и того же: молотков различного веса и формы. В общей сложности он получил их 3219 штук; когда же великое сердце остановилось, по всему подвалу сотнями валялись заржавевшие, сплющенные титаническими усилиями молотки. День и ночь

из-под земли доносился звучный стук, затихавший лишь ненадолго, когда добровольный узник подкреплял уставшую плоть или же, после короткого сна, делал записи в лабораторном журнале, который лежит теперь у меня на столе. Из этих записей видно, что духом он вовсе не изменился, напротив, стал тверже, чем когда бы то ни было, целиком посвятив себя новому замыслу. «Я ей покажу!», «Я ей задам жару!», «Еще чуть-чуть, и я ее порешу!» — такими набросанными его характерным, неразборчивым почерком замечаниями пестрят эти толстые тетради, пересыпанные металлическими опилками. Кому собирался он задать жару? Кого порешить? Это пребудет тайной — противница, столь же загадочная, сколь и могущественная, не названа ни разу по имени. Видится мне, что в минуту озарения, которое нередко посещает великие души, он решил совершить — на самом высоком, предельном уровне — то, что прежде пробовал сделать не столь дерзновенно. Раньше он доводил всевозможные устройства до крайности и сурово отчитывал их, дабы достичь своего. Теперь же, укрывшись в своей добровольной темнице от своры скудоумных хулителей, гордый старец через подвальную дверь вошел в историю, ибо — это моя гипотеза

— схватился с самой могущественной на свете противницей: все эти шестнадцать каторжных лет его ни на минуту не оставляла мысль, что он штурмует средоточие бытия и неустанно, без колебаний, сомнений и жалости, бьет самое материю!

Для чего, с какой целью? О, это было ничуть не похоже на поступок того древнего монарха, который велел высечь море, поглотившее его корабли. В его сизифовом беззаветном труде я прозреваю замысел прямо-таки грандиозный. Грядущие поколения поймут, что Иеремия бил от имени человечества. Он хотел довести материю до последней черты, замордовать ее, выколотить из нее ее последнюю сущность и тем самым — победить. Что бы наступило потом? Анархия катастрофы, физико-структурное беззаконие? Или зарождение новых законов? Этого мы не знаем. Узнают когда-нибудь те, кто пойдет по стопам Иеремии.

На этом я бы и завершил его историю, но не могу не добавить, что злопыхатели и потом еще плели несусветную чушь: он, мол, скрывался в подвале от жены или от кредиторов! Вот как воздает мир своим необыкновенным современникам за их величие!

Следующим, о ком повествуют семейные хроники, был Игорь Себастьян Тихий, сын Иеремии, аскет и кибермистик. На нем обрывается земная ветвь нашего рода — все позднейшие потомки Анонимуса разбрелись по Галактике. Игорь Себастьян натуру имел созерцательную и лишь поэтому, а не вследствие недоразвитости, в которой его обвиняли клеветники, впервые заговорил лишь на одиннадцатом году жизни. Как и все великие мыслители-реформаторы, он заново окинул человека критическим взглядом и нашел, что источник всякого зла — животные атавизмы, пагубные для индивидов и общества. Мысль о враждебности темных инстинктов светоносному духу не была особенно нова, но Игорь Себастьян сделал решающий шаг, на который его предшественники не отважились. Человек, сказал он себе, должен воцариться духом там, где до сих пор безраздельно владычествовало тело! Будучи на редкость одаренным душехимиком, после многолетних экспериментов он создал в реторте препарат, позволивший мечту воплотить в реальность. Я говорю, разумеется, о знаменитом омерзине, пентозалидовой производной двуаллилоортопентанопергидрофенатрена. Микроскопическая доза омерзина,

совершенно безвредная для здоровья, делает акт зачатия до крайности неприятным — в отличие от установившейся практики. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир глазами, не замутненными похотью; не ослепляемый поминутно животным влечением, он постигает истинную иерархию вещей. У него появляется масса свободного времени, да и сам он, сбросив оковы сексуального принуждения и отрешившись от уз половой неволи, которыми опутала его эволюция, наконец-то обретает свободу. Ведь продолжение рода должно быть результатом обдуманного решения, исполнением долга перед человечеством, а не побочным, нечаянным следствием потакания низменным страстям. Сперва Игорь Себастьян намеревался сделать акт телесного совокупления нейтральным, однако решил, что этого недостаточно: слишком многое делает человек даже не удовольствия ради, а просто со скуки или по привычке. Отныне указанный акт должен был стать жертвой, возлагаемой на алтарь общего блага, добровольным умерщвлением плоти; каждый плодящийся, ввиду выказанной им отваги и готовности пожертвовать собой ради ближнего, причислялся к героям. Как подобает истинному

ученому, Игорь Себастьян сначала испробовал действие омерзина на себе, а чтобы доказать, что и при больших его дозах можно иметь потомство, с величайшим самоотречением наплодил тринадцать детей. Жена его, говорят, многократно убегала из дому; в этом есть доля правды, однако истинными виновниками супружеских неурядиц были, как и в жизни Иеремии, соседи. Они подстрекали не слишком смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастьяна в жестоком обращении с супругой, хотя он не уставал разъяснять, что вовсе не истязает ее, а если его жилище и превратилось в обитель криков и стонов, причиной тому вышеозначенный мучительный акт. Но недоумки твердили свое: мол, отец дубасил электромозги, а сын дубасит жену. Однако то был лишь пролог трагедии; поклявшись навечно освободить человека от похоти и не нашедши приверженцев, Игорь Себастьян зарядил омерзином все колодцы своего городка, после чего разъяренная толпа избила его и лишила жизни путем возмутительного самосуда. Предчувствие опасностей, которые он на себя навлекал, не было Игорю чуждо. Он понимал, что победа духа над телом сама не придет, о чем свидетельствуют многие места его сочинения,

изданного посмертно на средства семьи. Всякая великая идея, писал он, должна иметь за собой силу — тому есть тьма примеров в истории; лучше любых аргументов и доводов мировоззрение защищает полиция. Увы, ее-то как раз у него и не было, отсюда столь печальный финал.

Нашлись, разумеется, пасквилянты, утверждавшие, что отец был садистом, а сын — мазохистом. В этих инсинуациях — ни слова правды. Тут я касаюсь щекотливой материи, но как иначе защитить доброе имя нашей семьи? Игорь не был мазохистом и потому, несмотря на все свое мужество, нередко — особенно после крупных доз омерзина — был вынужден прибегать к помощи двух верных кузенов, которые придерживали его в супружеском ложе, откуда, исполнив свой долг, он выскакивал как ошпаренный.

Сыновья Игоря не продолжили дела отца. Старший пробовал синтезировать эктоплазму, субстанцию, хорошо знакомую спиритам, — ее выделяют медиумы в состоянии транса; но дело не выгорело, поскольку, как он утверждал, маргарин, служивший исходным сырьем, был плохо очищен. Младший оказался позором семьи. Ему купили билет на корабль, отправлявшийся на

звезду Mira Coeti[27], которая вскоре по его прибытии погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно.

Одним из первых в семье — после полуторавекового перерыва — космонавтов, или, как уже тогда говорили, косматросов, был прадядя Пафнутий. Владея звездным паромом в одном из мелких галактических проливов, он перевез на своем суденышке несметные толпы путешественников. Жизнь среди звезд вел он тихую и спокойную, чего не скажешь о брате его, Евсевии, который подался в корсары, причем в возрасте довольно внушительном. Будучи нрава шутливого и обладая развитым чувством юмора — недаром команда называла его «a practical joke»[28], — Евсевий замазывал звезды сапожным дегтем и разбрасывал по Млечному Пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов, а сбившиеся с курса ракеты брал на абордаж и подвергал разграблению. Однако ж потом возвращал добычу, велел ограбленным лететь дальше, опять догонял их на черном своем космоходике и возобновлял абордаж и грабеж,

[27] Примечания: 27
Дивная Коитуса (*лат.*).

[28] Примечания: 28
Записной шутник (*англ.*).

случалось, по шести, а то и по десяти раз кряду. Пассажиры друг друга не видели под синяками.

И все же не был Евсевий человеком жестокосердным. Просто, годами поджидая в засаде меж галактических перепутий, он люто скучал и, если уж попадалась случайная жертва, не мог заставить себя расстаться с ней сразу же по совершении грабежа. Как известно, межпланетное пиратство в финансовом отношении не окупает себя, и лучшее тому доказательство — то, что оно практически не существует. Евсевий Тихий действовал не из низменных материальных побуждений; напротив, он вдохновлялся старыми идеалами и желал возродить почтенные традиции флибустьерства, видя в том свою миссию. Его обвиняли во многих постыдных наклонностях, а иные даже прозвали его танатофилом, поскольку его корабль окружали многочисленные останки косматросов. Нет ничего более ложного, чем эти наветы. Не так-то просто похоронить в пустоте безвременно усопшего; приходится выпихивать его через люк, и то, что он никуда не улетает, но кружит вокруг осиротевшего корабля, следует из законов ньютоновской механики, а не из чьих-либо извращенных пристрастий. Действительно, количество тел, обращающихся вокруг ракеты

моего прадяди, со временем существенно возросло; маневрируя, он двигался посреди пляшущих скелетов, прямо как на гравюрах Дюрера, но, повторяю, так получалось не по его воле, а по воле природы.

Племянник Евсевия и мой кузен Аристарх Феликс Тихий соединил в себе самые ценные дарования, встречавшиеся доселе порознь в нашем роду. И он же, единственный, добился признания и достатка — благодаря гастрономической инженерии, или гастронавтике, столь многим ему обязанной. Эта техническая дисциплина зародилась на исходе XX века, поначалу в сырой, примитивной форме — в виде так называемой каннибализации ракет. Ради экономии материала и места ракетные переборки и загородки стали изготовлять из прессованных пищевых концентратов — из гречки, тапиоки, бобовых и т. д. Впоследствии диапазон конструкторской мысли расширился, охватив также ракетную мебель. Эту продукцию мой кузен оценил весьма лапидарно, заявив, что на аппетитном стуле долго не усидишь, а удобный грозит несварением желудка. Аристарх Феликс взялся за дело совершенно по-новому. Неудивительно, что свою первую трехступенчатую ракету (Закуски-Жар-

кое-Десерты) Объединенные альдебаранские верфи назвали его именем. Сегодня никого уже не удивят шоколадно-плиточная облицовка кают, электроэклеры, слоеные конденсаторы, макаронная изоляция, пряникоиды (миндальные катушки на токопроводящем меду), наконец, окна из бронированных леденцов, хотя, конечно, не всякому по вкусу гарнитур из яичницы или подушки из пуховых бисквитов и куличей (по причине крошек в постели). Все это — дело рук моего кузена. Это он изобрел сырокопченые буксирные тросы, штрудельные простыни, одеяла из суфле и гречнево-вермишельный привод, и он же первым применил швейцарский сыр для охладителей. Заменив азотную кислоту лимонной, он сделал горючее отличным прохладительным (и совершенно безалкогольным!) напитком. Безотказны его огнетушители на клюквенном киселе — они одинаково хорошо гасят пожары и жажду. Нашлись у Аристарха последователи, но с ним никто не сравнялся. Некий Глобкинс выбросил было на рынок ромовый торт с фитилем, и что же? Полный провал — освещение тусклое, а тесто пропитано копотью. Не нашли покупателей и его половики из плова, и защитная облицовка из халвы, разлетавшаяся на куски при столкнове-

нии с первым же метеоритом. Еще раз оказалось, что одной общей идеи мало — каждый случай требует творческого подхода. Взять хотя бы гениальную в своей простоте задумку моего кузена, предложившего полые места ракетной конструкции заполнять пустыми щами, доведенными до состояния абсолютной пустоты, так что и вакуум обеспечен, и перекусить можно. Этот Тихий, я думаю, вполне заслужил титул благодетеля космонавтики. Не так давно, когда мы уже смотреть не могли на биточки из водорослей и бульончики из мха и лишайников, нас уверяли, что именно на таких харчах человечество отправится к звездам. Покорно благодарю! Я-то дожил до лучших времен; но сколько экипажей во времена моей молодости погибло от голода, дрейфуя средь темных течений Пространства и имея на выбор либо слепую жеребьевку, либо демократическое волеизъявление простым большинством голосов! Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний по поводу этих малоприятных дел. Был даже проект Драпплюсса, в свое время наделавший много шума, — равномерно рассеять по всей Солнечной системе манную или гречневую кашку, а также какао в порошке для потерпевших крушение; но проект не прошел:

выходило слишком уж дорого, к тому же в тучах какао скрылись бы навигационные звезды. И лишь ракетный каннибализм избавил нас от того, неракетного.

Чем ближе, продвигаясь вдоль ветви родословного дерева, я подступаю к новейшему времени и к собственному началу, тем сложнее моя задача как семейного летописца. И не потому лишь, что легче портретировать пращуров, которые вели оседлое житье-бытье, нежели их звездных наследников. Есть и другая причина: в пустоте замечается загадочное пока что влияние физических явлений на семейную жизнь. Беспомощный перед документами, которых я не могу даже толком систематизировать, привожу их просто в той очередности, в какой они сохранились. Вот опаленные скоростью страницы бортового журнала, который вел капитан звездоплавания Светомир Тихий.

Запись 116 303. Сколько уж лет в невесомости! Клепсидры не действуют, ходики встали, в заводных часах отказали пружины. Было время, мы обрывали странички календаря наугад, но все это в прошлом. Последними ориентирами остались для нас завтраки, обеды и ужины, однако первое же расстройство желудка, чего доброго,

прекратит и такое времяисчисление. Кончаю — кто-то вошел, то ли близнецы, то ли это световая интерференция.

Запись 116 304. По левому борту планета, на картах не обозначенная. Чуть позже, за полдником, метеорит, слава Богу, что маленький; пробил три камеры — шлюзовую, холодильную и предварительного заключения. Велел зацементировать. За ужином — нет кузена Патриция. Беседа с дедом Арабеусом о принципе неопределенности. Что мы, собственно, знаем достоверно? Что молодыми людьми мы отправились с Земли, что назвали свой корабль «Космоцистом», что дед с бабкой взяли на борт еще двенадцать супружеских пар, которые ныне образуют одну семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь за Патриция, а тут еще кошка куда-то пропала. Замечаю благотворное влияние невесомости на плоскостопость.

Запись 116 305. Первенец дяди Ярмолая до того быстроглаз и так еще мал, что невооруженным глазом замечает нейтроны. Результат поисков Патриция — отрицательный. Прибавляем скорость. Маневрируя, пересекли кормой изохрону. После ужина пришел ко мне тесть Ярмолая Амфотерик и признался, что стал отцом самому себе,

так как его время захлестнулось петлей. Просил никому не говорить. Я посоветовался с кузенами-физиками — разводят руками. Кто знает, что нас еще ждет!

Запись 116 306. Замечаю, что подбородки и лбы некоторых дядьев и дядиных жен убегают назад. Гироскопическая рецессия? Сокращение Лоренца-Фицджеральда? Или следствие выпадения зубов и частых ударов лбом о загородки при звуке обеденного гонга? Мы мчимся вдоль обширной туманности; тетя Барабелла наворожила — домашним способом, на кофейной гуще, — нашу дальнейшую траекторию. Проверил на электрокалькуляторе — результат почти тот же!

Запись 116 307. Короткая стоянка на планете шатунов. Четверо из экипажа не вернулись на борт. При старте левое сопло закупорилось. Велел продуть. Бедный Патриций! В рубрике «Причина смерти» пишу «рассеянность» — а что же еще?

Запись 116 308. Дяде Тимофею снилось, будто на нас напали грабунцы. К счастью, обошлось без потерь и без жертв. На корабле становится тесно. Сегодня трое родов и четыре переселения — из-за разводов. У сынишки дяди Ярмолая глаза как звезды. Чтобы поправить положение с мет-

ражом, предложил теткам залечь в гибернаторы. Подействовал лишь один аргумент: в состоянии обратимой смерти старение прекращается. Стало очень тихо и хорошо.

Запись 116 309. Приближаемся к скорости света. Масса неизвестных феноменов. Появилась новая элементарная частица — шкварк. Не слишком большая, чуть пригоревшая. С головой что-то странное. Помню, что отца моего звали Болеслав, но был еще один, по имени Балатон. Или это озеро в Венгрии? Надо проверить в энциклопедии. Вижу, как тетки интерферируют, не переставая, однако, вязать на спицах. На третьей палубе чем-то попахивает. Сынишка дяди Ярмолая не ползает, а летает, пользуясь попеременно передним и задним выхлопом. До чего же чудесна биологическая адаптация организма!

Запись 116 310. Был в лаборатории кузена Есайи. Работа кипит. Кузен говорил, что высшей стадией гастронавтики будет мебель не только съедобная, но и живая. Живая не портится, а ее неиспользуемые запасы не нужно держать в холодильнике. Только у кого поднимется рука зарезать живой стул? Пока что их нет, но Есайя божится, что вскоре угостит нас холодцом из

стульих ножек. Вернувшись в рулевую рубку, долго размышлял; его слова не давали мне покоя. Он говорил о живых ракетах будущего. А ребенка можно будет иметь от такой ракеты? Ну и мысли, однако же, лезут в голову!

Запись 116 311. Дед Арабеус жалуется, что его левая нога достает до Полярной звезды, а правая — до Южного Креста. Вообще же он что-то, по-моему, замышляет, а то с чего бы ему ходить на четвереньках? Надо за ним приглядывать. Исчез Балтазар, брат Есайи. Неужто квантовая дисперсия? Разыскивая его, заметил, что в атомной камере полно пыли. Год не подметали! Снял Бартоломея с должности подкомория и назначил его свояка Тита. Вечером в кают-компании, во время выступления тетки Мелании, вдруг взорвался дед Арабеус. Велел зацементировать. Это решение принял непроизвольно. Приказа не отменил — боюсь уронить капитанский авторитет. Что это было, гнев или аннигиляция? Нервы у него и раньше пошаливали. Во время дежурства захотелось чего-нибудь мясного, взял мороженой телятины из холодильника. Вчера обнаружилось, что пропал листок, на котором была записана цель экспедиции; жаль, ведь летим мы, если не ошибаюсь, уже тридцать шестой год. В телятине,

странное дело, полно дроби — с каких это пор по телятам палят из дробовиков? Рядом с ракетой — метеорит, и кто-то сидит на нем. Первым его заметил Бартоломей. Пока что притворяюсь, будто не вижу.

Запись 116 312. Кузен Бруно утверждает, что это был не холодильник, а гибернатор, — дескать, он ради шутки перевесил таблички; а дробь — это бусы. Я подскочил до потолка; в невесомости невозможно устраивать сцены — ни топнуть нельзя, ни ударить кулаком по столу. Черт меня понес на эти звезды. Послал Бруно на самую тяжелую работу — распутывать пряжу на корме.

Запись 116 313. Космос нас поглощает. Вчера оторвало часть кормы с туалетами. Там как раз находился дядя Палександр. Я беспомощно смотрел, как он растворяется во мраке, а в пустоте траурно трепыхались длинные бумажные ленты. Ну прямо группа Лаокоона среди звезд. Какое несчастье! Тот, на метеорите, вовсе не родственник; чужой человек. Летит, сидя верхом. Странно. До меня дошли слухи, будто много народу украдкой сошло. И верно, становится как бы просторней. Неужели правда?

Запись 116 314. Кузен Роланд — он ведет нашу

отчетность — в большом затруднении. Вчера все жаловался, подсчитывая, сколько теперь на «Космоцисте» невесто-мест с эйнштейновской поправкой на разневестиванье. Вдруг положил перо, посмотрел мне в глаза и сказал: «Человек — как это звучит!» Эта мысль меня поразила. Дядя Ярмолай окончил свою «Теологию роботов» и теперь трудится над новой системой — продолжительность поста измеряется в ней в голоднях. Что-то не нравится мне дед Арабеус. Взялся за сочинение каламбуров. «Тетрадочка», мол, означает четырех девочек-близнецов, а «пасынок» — будущего танцора. Малыш Бутузий, тот, что порхает реактивным манером и выговаривает «ф» вместо «п» («фланета» вместо «планета», зато: «планелевые штанишки»), бросил — как только что выяснилось — кошку в контейнер с содой, которая поглощает у нас двуокись углерода. Бедная киска разложилась на двукотин соды.

Запись 116 315. Сегодня нашел у дверей младенца мужского пола с пришпиленной к пеленкам запиской: «Это твой». Ничего не понимаю. Неужели стечение обстоятельств? Застелил ему ящик секретера старыми документами.

Запись 116 316. В Космосе пропадает масса

носков и носовых платков, да и время вконец распадается; за завтраком заметил, что дед и бабка много моложе меня. Были также случаи дядерастворения. Велел кузену устроить переучет — гибернаторы открыли, всех размораживаю. У теток насморк, кашель, распухшие синие носы, багровые уши; некоторые рыдали в истерике. Я ничего не мог сделать. И что удивительно — среди воскресших оказался теленок. Зато не хватает тетки Матильды. Неужели Бруно и впрямь не шутил, вернее, и впрямь шутил?

Запись 116 317. Перед входом в атомную камеру имеется маленькая каморка. Когда я сидел там, в голову пришла забавная мысль: а может, мы вовсе не стартовали и все еще на Земле? Но вряд ли — ведь силы тяжести нет. Эта мысль успокаивает. Я все же проверил, что у меня в руке; оказалось — молоток. Возможно, и зовут меня не Светомир, а Иеремия. Я молотил по какому-то стальному брусу и чувствовал себя как-то странно. Приходится привыкать. Принцип Паули, согласно которому каждая отдельная особь в каждый момент времени может вмещать одну и только одну личность, мы оставили далеко за кормой. Взять хотя бы родительскую эстафету — дело для нас в Космосе обыкновенное, — когда, по причине

огромной скорости, несколько женщин рожают всё одного и того же ребенка. (Это относится и к отцам.) Сегодня мы стукнулись с Бутузием лбами в столовой, одновременно потянувшись за мармеладом, и племянник, еще недавно такой малютка, отшвырнул меня под самый потолок. Как все же время летит, хоть и запутанное, искривленное, завязавшееся в узлы!

Запись 116 318. Оказывается, Арабеус — он сам мне признался — в глубине души всегда верил, что у звезд и ракет лишь одна сторона, обращенная к нам, а с другой — только запыленные стеллажи и веревки. Так вот почему он отправился к звездам! Еще он сказал, что некоторые женщины что-то кладут в комоды — как он подозревает, не только белье, но и яйца. Если так, налицо стремительный эволюционный регресс. Должно быть, ему было неудобно задирать ко мне голову, стоя на четвереньках. Тревожит меня его младший брат. Восьмой год торчит в передней, вытянув оба указательных пальца. Неужели симптом кататонии? Сперва машинально, а потом по привычке начал вешать на нем пальто и шляпу. Теперь он может по крайней мере считать, что стоит не совсем без пользы.

Запись 116 319. Становится все более пусто. Дифракция? Сублимация? Или просто экипаж смещается из-за эффекта Допплера в инфракрасную область спектра? Сегодня аукал по всей средней палубе, и никто не объявился, кроме тетки Клотильды со спицами и недовязанной перчаткой. Пошел в лабораторию — кузены Митрофан и Аларих, исследуя траектории шкварков, топили солонину и лили жир в воду. Аларих сказал, что в нашем положении гадание на воде надежнее камеры Вильсона. Но почему, окончив расчеты, он тут же все съел? Не понял, а спросить не решился. Пропал прадядя Эмерих.

Запись 116 320. Прадядя Эмерих отыскался. С регулярностью, достойной лучшего применения, каждые две минуты восходит по левому борту; в верхнем окошке видно, как он достигает зенита, а потом заходит по правому борту. Ну нисколько не изменился, даже на орбите вечного успокоения! Но кто и когда набил из него чучело? Ужасная мысль.

Запись 116 321. Дядя поразительно пунктуален. По его восходам и заходам хоть секундомер проверяй. Самое странное, что теперь он отбивает часы. Этого я уже не понимаю.

Запись 116 322. Просто он задевает ногами обшивку корпуса в самой низкой точке своей орбиты и носками — а может, каблуками — волочит по заклепкам. Сегодня после завтрака он пробил тринадцать. Случайность или вещий знак? Чужак на метеорите чуть поотстал. Но летит по-прежнему с нами. Сажусь я сегодня за стол, чтобы кое-что записать, а стул мне и говорит: «До чего же странен этот мир!» Я решил, что кузен Есайя наконец добился успеха, гляжу — а это всего лишь дед Арабеус. Объяснил мне, что он — инвариант, то есть лицо, которому все равно, так что я могу не вставать. Сегодня битый час аукал на пандусе и на верхней палубе. Ни единой живой души. Только несколько спиц и клубков пряжи летало по воздуху да пара колод для пасьянса.

Запись 116 323. Есть отличный способ сохранить ясность сознания: надо вообразить себе побольше людей. А может, я давно уже это делаю — подсознательно? Но насколько давно? Сижу на упорно молчащем Арабеусе, а в ящике секретера плачет младенец; я назвал его Ийоном и кормлю из бутылочки, с тревогой думая, где теперь взять ему жену. Пока что время вроде бы есть, но в наших условиях ничего не известно. Сижу я так и лечу...

Это последние слова моего отца, занесенные в бортовой журнал. Остальные страницы вырваны. Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, то есть он, сидел в ракете и летел. Значит, он сидел и летел... А я? Тоже сижу и лечу. Так кто же, собственно, сидит и летит? А вдруг меня-то как раз и нет? Но бортовой журнал сам себя не может читать. Значит, все-таки я существую, раз читаю его. А если все вокруг подставное? Вымышленное? Странные мысли... Допустим, он не сидел и не летел, но я-то по-прежнему сижу летя, то есть лечу сидя. Это полностью достоверно. Так ли? Всего достовернее то, что я читаю о ком-то, кто сидит и летит. А вот насчет моего собственного сидения и полета — как в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого, не комнатка, а каморка. Должно быть, на средней палубе; но на чердаке у нас была точно такая же. Впрочем, достаточно выйти за порог, чтобы убедиться, иллюзия это или нет. А если все же иллюзия? И там — ее продолжение? Значит, решающего доказательства нет? Ни за что не поверю! Ведь если я не лечу и не сижу, а только читаю о том, как он сидел и летел, причем на самом деле и он не летел, то, значит, я иллюзорно воспринимаю его иллюзию, то есть мне кажется,

что ему что-то кажется. Или, может, мне кажется то, что кажется и ему? Допустим. Но ведь он писал еще о чужаке, который летит верхом на метеорите. С тем, пожалуй, дело хуже. Мне кажется, что ему казалось, будто бы тот сидит верхом, а если тому тоже только казалось, тут уж никто ничего не поймет! Голова разболелась — и снова, как вчера, как позавчера, лезут в голову мысли о епископах в фиолетовых сутанах, о сизых носах, о фиалковых очах, голубом Дунае и лиловой телятине. Почему? И знаю, что в полночь, когда я прибавлю скорость, буду думать о глазунье с большими желтками, о моркови, о меде и пятках тетки Марии — как в прошлую и позапрошлую ночь... Ах! Понял! Это феномен смещения мыслей — сперва в ультрафиолетовую, а потом, из-за разлития желчи, в инфракрасную область спектра — психический эффект Допплера! Очень важно! Ведь это и есть доказательство того, что я лечу! Доказательство, основанное на движении, demonstratio ex motu, как говорили схоласты! Значит, я и вправду лечу... Так. Но ведь кому угодно могут прийти в голову яйца, пятки, епископы... Это не строгое доказательство, а лишь допущение. Что же остается? Солипсизм? Только я один существую, никуда не летя... И значит, не было ни

Анонимуса Тихого, ни Эстебана, ни Светомира, не было Бартоломея, Евсевия, «Космоциста», и я никогда не лежал в ящике отцовского секретера, а отец никогда не летел, оседлав деда Арабеуса?.. Нет, невозможно! Не мог же я просто из ничего извлечь такую кучу людей и семейных историй? Ex nihilo nihil fit![29] Выходит, семья была; она-то и возвращает мне веру в мир и в этот полет с его неисповедимым концом! Все спасено благодаря вам, мои предки! Скоро я вложу эти исписанные странички в пустой кислородный бочонок и брошу за борт, в пучину; пусть плывут они в черную даль, ибо navigare necesse est, а я который уж год лечу и лечу...

---

[29] Примечания: 29
Из ничего ничто не возникает (*лат.*).

О выгодности дракона

До сих пор я умалчивал о своем путешествии на планету Абразию в созвездии Кита. Тамошняя цивилизация в основу своей экономики положила дракона. Не будучи экономистом, я, увы, этого так и не понял, хотя абразийцы не скупились на разъяснения. Возможно, кто-нибудь, сведущий в драконьей специфике, поймет в этом чуточку больше.

Радиотелескоп в Аретибо уже довольно давно принимал сигналы, которые не удавалось расшифровать. Успеха добился лишь доцент Каценфенгер. Он бился над этой загадкой, страдая от страшного насморка. Заложенный и мокрый нос, мешавший доценту в его изысканиях, навел его как-то на мысль, что обитатели неведомой планеты, в отличие от нас, возможно, существа не столько зрящие, сколько обоняющие. Действительно, оказалось, что их код состоит не из букв алфавита, но из символов различных запахов. Правда, в переводе, сделанном Каценфенгером, были непонятные места. Из этого текста следовало, что на Абразии кроме разумных существ

живет существо размерами больше горы, необычайно прожорливое и немногословное. Ученых, однако, удивил не этот феномен космической зоологии, а то, что абразийское чудовище как раз благодаря своей безмерной прожорливости приносит особую пользу местной цивилизации. Оно наводило ужас, и чем ужаснее становилось, тем больший из него извлекался доход. Сыздавна питая слабость ко всяческим тайнам, я тотчас решил отправиться на Абразию.

Как я убедился на месте, абразийцы вполне человекообразны. Только там, где у нас уши, у них нос, и наоборот. Они тоже происходят от обезьян; но у нас были обезьяны узко- либо широконосые, у них же праобезьяны имели один нос либо два. Одноносые повымирали от голода. Вокруг планеты обращается множество лун, вызывающих частые и продолжительные затмения. Тогда воцаряется кромешная тьма. Выискивая пищу при помощи зрения, нельзя найти ничего. Обоняние позволяло добиться большего, но лучше всего дела шли у тех, кто имел два широко расставленных носа и пользовался обонянием стереоскопически, как мы — парой глаз или стереофоническим слухом.

Потом абразийцы изобрели искусственное

освещение, и, хотя двуносовость перестала быть жизненно необходимой, они уже навсегда унаследовали от прапращуров эту анатомическую диковину. В холодное время года они носят шапки-ушанки, или, верней, носогрейки, чтобы не отморозить носы. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Мне показалось, что они не в восторге от этих своих носов — наследия тяжелого прошлого. Их слабый пол прячет носы под различными украшениями, порою величиной с тарелку. Но я на это особого внимания не обращал. Межзвездные путешествия научили меня тому, что различия в строении тела малосущественны. Настоящие проблемы кроются куда глубже. На Абразии такой проблемой оказался местный дракон.

На планете есть лишь один, очень большой континент, а на нем — что-то около восьмидесяти государств. Континент отовсюду окружен океаном. Дракон расположен на крайнем севере. С ним непосредственно граничат три государства — Клаустрия, Лелипия и Лаулалия. Изучив снимки дракона, сделанные с искусственных спутников, а также его макеты в масштабе 1:1000000, я пришел к выводу, что это весьма неприятная тварь. Впрочем, он ничуть не напоминал драконов, известных по земным сказаниям и легендам.

Их дракон — не с семью головами; головы у него нет вообще, да и мозга, кажется, тоже. Нет у него и крыльев, так что он не летает. С ногами дело не вполне ясное, но, кажется, он вовсе лишен конечностей. Он похож на огромный горный хребет, обильно политый чем-то вроде студня. То, что перед тобой живое существо, можно заметить лишь при изрядном терпении. Передвигается он необычайно медленно, на манер червяка, довольно часто нарушая границы Клаустрии и Лелипии. Эта тварь поглощает что-то около восемнадцати тысяч тонн продовольствия в сутки. Дракон любит крупы, каши и вообще зерновые продукты. Но он не вегетарианец. Пищу ему доставляют государства, входящие в Союз Экономического Сотрудничества. Большая часть этого продовольствия перевозится по железной дороге до специальных разгрузочных станций, супы и сиропы перекачивают в дракона трубопроводами, а в зимнее время, когда ощущается нехватка витаминов, организуется их сброс со специальных грузовых самолетов. При этом ротовое отверстие искать не нужно — чудовище может хватать жратву любым местом своей туши.

Когда я прибыл в Клаустрию, первым моим побуждением было спросить: почему они вообще

с таким рвением кормят этого монстра, вместо того чтобы дать ему сдохнуть от недоедания. Но тут разразился скандал с «покушением на дракона», и я прикусил язык. Некий лелипиец, возмечтавший о славе спасителя всей Абразии, основал тайную боевую организацию с целью прикончить ненасытного великана. Для этого предполагалось отравить витаминизированные кормовые добавки химическими веществами, вызывающими нестерпимую жажду, — чтобы чудовище принялось пить из океана без удержу, покуда не лопнет. Это напомнило мне известную земную легенду об отважном герое, который победил дракона (питавшегося преимущественно девицами), подбросив ему баранью шкуру, набитую серой. Но на этом сходство земной легенды с абразийской действительностью заканчивается. Местный дракон находится под защитой международного права. Мало того: соглашения о сотрудничестве с драконом, подписанные сорока девятью государствами, гарантируют ему поставки вкусных пищевых продуктов. Компьютерный переводчик, с которым я в дороге не расстаюсь, позволил мне тщательно изучить прессу. Известие о неудавшемся покушении крайне возмутило общественность. Покушавшихся тре-

бовали примерно наказать. Это меня удивило, ведь к дракону как таковому никто ни малейших симпатий не проявлял. Ни журналисты, ни авторы писем в редакцию не скрывали, что речь идет о чудовище, до крайности омерзительном. Так что поначалу я решил, что для них он нечто вроде злого божества, небесной кары, а жертвоприношения они, следуя какому-то местному обычаю, называют экспортом. О дьяволе тоже можно отзываться плохо, хотя пренебрегать им не стоит. Впрочем, дьявол способен вводить в соблазн; продав ему душу, можно рассчитывать на массу земных удовольствий. Дракон же, сколько я мог судить, ничего не обещал и не имел в себе ровным счетом ничего соблазнительного. Время от времени он тужился и заливал пограничные области остатками потребленного продовольствия, а в плохую погоду вонял на тысячу километров с гаком. Тем не менее абразийцы считали, что нужно за ним ухаживать, а вонь свидетельствует-де о плохом пищеварении, значит, надо позаботиться о лекарствах, способствующих правильному обмену веществ. Что же до самого покушения, то если бы оно, упаси Боже, удалось, разразилась бы катастрофа просто неслыханная.

Я все читал и читал газеты, но нигде не мог

узнать, какого рода катастрофа имелась в виду. Порядком замороченный, я стал ходить в местные библиотеки, листал энциклопедии, всеобщую историю Абразии и даже посетил Общество Дружбы с Драконом, но и там ничего не узнал. Кроме нескольких служащих, там никого не было. Мне предложили взять членский билет и заплатить взносы за год вперед, но я ведь не для того туда пошел.

Государства, граничащие с драконом, — либеральные демократии; там можно говорить все, что душе угодно, и после долгих поисков я нашел публикации, осуждающие дракона. Но их авторы тоже считали, что в отношениях с ним предпочтительны разумные компромиссы. Применение хитрости или силы имело бы пагубные последствия. Тем временем горе-отравители сидели в следственной тюрьме. Они не считали себя виновными, хотя признавались в намерении убить дракона. Правительственная печать называла их безответственными террористами, оппозиционная — благородными фанатиками, у которых не все дома. А один клаустрийский иллюстрированный журнал предположил, что они провокаторы. Мол, за ними стоит правительство соседнего государства: сочтя, что квота на

экспорт драконьих продуктов, установленная для него Союзом Экономического Сотрудничества, слишком мала, оно надеялось таким способом добиться ее пересмотра.

Репортера, пришедшего взять у меня интервью, я начал выспрашивать про дракона. Почему, вместо того чтобы дать покушавшимся шанс покончить с ним, их сажают на скамью подсудимых?

Журналист ответил, что это было бы гнусным убийством. Дракон по природе своей добродушен, но тяжелые условия жизни в северных полярных районах мешают ему проявить врожденное добросердечие. Ежели тебе постоянно приходится голодать, поневоле озлобишься, даже если ты не дракон. Нужно его подкармливать, тогда он перестанет лезть к югу и подобреет.

— Откуда такая уверенность? — спросил я. — Я как раз собирал вырезки из ваших газет. Вот несколько заголовков: «Области северной Лелипии и Клаустрии обезлюдевают. Массовое бегство населения продолжается». Или это: «Дракон снова проглотил группу туристов. Как долго еще безответственные турагентства будут устраивать столь небезопасные поездки?» А вот еще: «За прошедший год дракон увеличил свой ареал

на 900000 гектаров». Что скажете?

— Что это лишь подтверждает мои слова. Мы по-прежнему его недокармливаем! С туристами, верно, инциденты случались, и довольно прискорбные, но дракона не следует раздражать. Он не выносит туристов, особенно фотографирующих. У него аллергия на блиц-вспышку. А что вы хотите? Ведь он три четверти года живет в темноте... Впрочем, одно лишь производство высококалорийного драконьего питания обеспечивает нам 146000 рабочих мест. Согласен, какая-то кучка туристов погибла, но насколько больше народу умерло бы с голоду, потеряв работу?

— Минутку, минутку, — прервал я его. — Вы поставляете дракону продовольствие, а ведь оно стоит денег. Кто за него платит?

— Наши парламенты принимают законы о предоставлении экспортных кредитов...

— Значит, дракона содержат ваши налогоплательщики?

— В известном смысле — да, но эти издержки приносят выгоду.

— Может, выгоднее было бы прикончить дракона?

— То, что вы говорите, чудовищно. За по-

следние тридцать лет в отрасли, связанные с драконокормлением, вложено более сорока миллиардов...

— Может, было бы лучше истратить их на себя?

— Вы повторяете доводы наших самых реакционных консерваторов! — воскликнул репортер раздраженно. — Это подстрекатели к убийству! Они хотят превратить дракона в консервы! Жизнь священна. Нельзя никого убивать.

Видя, что наш разговор ни к чему не ведет, я распрощался с журналистом. Поразмыслив, я отправился в Архив Печати и Древних Документов, чтобы, покопавшись в запыленных газетных подшивках, узнать, откуда этот дракон взялся. Потрудиться пришлось немало, однако я обнаружил нечто весьма любопытное.

Полвека назад, когда дракон покрывал всего два миллиона гектаров, никто не принимал его всерьез. Я встретил множество статей, в которых предлагалось выкорчевать дракона или залить его водой при помощи особых каналов, чтобы зимой он замерз; однако же экономисты объяснили, что эта операция будет крайне дорогостоящей. Но когда дракон, питаясь пока что исключительно мхом и лишайником, удвоил

свои размеры и жители пограничных районов стали жаловаться на нестерпимый смрад (особенно весною и летом, с началом теплых ветров), благотворительные организации принялись окроплять дракона духами; когда же это не помогло, они устроили для него сбор хлебобулочных изделий. Сперва их затею подняли на смех, но со временем она получила настоящий размах. В более поздних газетных подшивках не было уже ни слова о ликвидации дракона, зато все больше и больше говорилось о выгодах, которые принесет оказание ему помощи. Итак, что-то я все же узнал, но, сочтя это недостаточным, отправился в университет, на кафедру общей и прикладной драконистики. Ее заведующий принял меня чрезвычайно любезно.

— Ваши вопросы в высшей степени анахроничны, — со снисходительной улыбкой произнес он, выслушав меня. — Дракон есть объективная реальность нашей действительности, ее неотъемлемая, а в известном смысле — центральная часть, поэтому его надлежит изучать как международную проблему особой важности.

— Нельзя ли поконкретнее? — сказал я. — Откуда он вообще взялся, этот дракон?

— А кто его знает, — флегматично ответил

драконовед. — Археология, прадраконистика и генетика драконов не входят в круг моих интересов. Я не занимаюсь драконогенезом. Пока он был мал, он не представлял серьезной проблемы. Таково общее правило, почтеннейший чужеземец.

— Мне говорили, он происходит от улиток-мутантов.

— Не думаю. Впрочем, не важно, откуда он взялся, раз уж он существует, да как еще существует! Исчезни он вдруг, это было бы катастрофой. После нее мы вряд ли оправились бы.

— В самом деле? А почему?

— Автоматизация привела у нас к безработице. В том числе среди научной интеллигенции.

— И что же, дракон помог делу?

— Разумеется. У нас скопились огромные излишки продовольствия, горы макарон, озера растительного масла, сущим бедствием было перепроизводство кондитерских изделий. Теперь мы экспортируем эти излишки на север, а ведь их еще надо перерабатывать. Он не будет есть что попало.

— Дракон?

— Ну да. Чтобы разработать оптимальную программу его кормления, пришлось создать систему научно-исследовательских центров, таких как

Главный Институт Драконопасения и Высшая Школа Гигиены Дракона; в каждом университете есть хотя бы одна кафедра драконистики. Особые предприятия производят новые виды питания и пищевых добавок. Министерства пропаганды создали особые информационные сети, чтобы втолковать обществу, сколь выгоден товарообмен с драконом.

— Товарообмен? Так он вам что-то поставляет? Не может быть!

— Поставляет, а как же. Прежде всего так называемый драколин. Это его выделения.

— Такая блестящая слизь? Я ее видел на снимках. На что же она пригодна?

— Когда загустеет — на пластилин, для детских садов. Хотя проблемы, конечно, имеются. Трудно вынести запах.

— Воняет?

— В известном смысле — очень. Чтобы отбить запах, добавляют особые дезодоранты. Пока что драконий пластилин в восемь раз дороже обычного.

— Профессор, а что вы скажете о покушении на дракона?

Ученый почесал ухо, свисавшее у него над губами.

— Если бы оно удалось, то, во-первых, мы имели бы эпидемию. Представляете себе испарения, идущие от такой дохлой туши? Во-вторых — крах банков. Развал монетарной системы. Короче говоря, катастрофа, господин чужеземец. Ужасная катастрофа.

— Но ведь его присутствие дает о себе знать, не так ли? Говоря попросту — оно в высшей степени неприятно?

— Что значит неприятно? — изрек с философским спокойствием драконовед. — Постдраконовый кризис был бы еще неприятнее! Учтите, пожалуйста, что мы не только кормим его, но и проводим с ним внегастрономическую работу. Стараемся смягчить его нрав, удержать его в определенных границах. Это — программа так называемого одомашнивания, или умиротворения. В последнее время ему дают большое количество сладостей. Он это любит.

— Сомневаюсь, чтобы его нрав стал от этого слаще, — буркнул я.

— Однако экспорт кондитерских изделий возрос вчетверо. Ну и следует помнить о деятельности КРДП.

— Что это такое?

— Комитет Регулирования Драконьих Послед-

ствий. Он дает работу выпускникам университетов и колледжей. Дракона следует познавать, исследовать, время от времени — лечить; прежде у нас был избыток медиков, а теперь каждому молодому врачу работа обеспечена.

— Ну хорошо, — сказал я без особой убежденности. — Но ведь все это — экспорт филантропии. Почему бы вам не заняться филантропией непосредственно у себя?

— Как вы это понимаете?

— Ну... вы ведь тратите на дракона кучу денег!

— И что же — раздавать их гражданам просто так? Это противоречит основам любого хозяйствования! Вы, я вижу, полный профан в экономике. Кредиты, обслуживающие драконий экспорт, разогревают конъюнктуру. Благодаря им растет товарооборот...

— Но и сам дракон тоже, — прервал я его. — Чем усиленней вы его кормите, тем он становится больше, а чем больше он становится, тем больше у него аппетит. Где же тут смысл? Ведь в конце концов он вас разорит и сожрет!

— Вздор! — возмутился профессор. — Банки причисляют кредиты к активам!

— Что это, дескать, возвратные ссуды? А он вернет их своим пластилином?

— Не ловите меня на слове. Если бы не дракон, для кого мы производили бы трубопроводы, которыми в него качают мучной отвар? А ведь это — и металлургические комбинаты, и трубопрокатные станы, и сварочные автоматы, и транспортные средства, и так далее. Дракон имеет реальные потребности. Ну, теперь понимаете? Производство должно на кого-то работать! Промышленники не производили бы ничего, если бы готовый продукт приходилось выбрасывать в море. Реальный потребитель — другое дело. Дракон — это громадный, необычайно емкий заграничный рынок, с колоссальным спросом...

— Не сомневаюсь, — заметил я, видя, что и эта беседа ни к чему не ведет.

— Итак, я вас убедил?

— Нет.

— Потому что вы прибыли из цивилизации, слишком непохожей на нашу. Впрочем, дракон давно уже перестал быть только импортером нашей продукции.

— Чем же он стал?

— Идеей. Исторической необходимостью. Нашим государственным интересом. Могущественным фактором, оправданием наших объединенных усилий. Попробуйте взглянуть

на дело именно так, и вы поймете, какие фундаментальные проблемы обнаруживаются в омерзительной вообще-то твари, если она достигнет планетных размеров.

Сентябрь 1983

P.S. Говорят, что дракон распался на множество маленьких дракончиков, но их аппетит отнюдь не уменьшился.

1993

Переводчики

Предисловие: З. А. Бобырь, 1961, 1994.

Вступление к III изданию: Константин Душенко, 1994.

Предисловие к расширенному изданию: Константин Душенко, 1994.

Информационная заметка: для 5-го, сокращенного издания, Константин Душенко, 1994.

Путешествие седьмое: Дмитрий Брускин, 1964, 1994.

Путешествие восьмое: Константин Душенко, 1994.

Путешествие одиннадцатое: Константин Душенко, 1994.

Путешествие двенадцатое: З. А. Бобырь, 1961, 1994.

Путешествие тринадцатое: А. Ермонский, 1976, 1994.

Путешествие четырнадцатое: Константин Душенко, 1994.

Путешествие восемнадцатое: Константин Душенко, 1994.

Путешествие двадцатое: Ф. Величко, К. Душен-

ко, 1994.

Путешествие двадцать первое: Константин Душенко, 1990, 1994.

Путешествие двадцать второе: З. А. Бобырь, 1961, 1993.

Путешествие двадцать третье: З. А. Бобырь, 1961, 1993.

Путешествие двадцать четвертое: З. А. Бобырь, 1961, 1993.

Путешествие двадцать пятое: З. А. Бобырь, 1961, 1993.

Путешествие двадцать восьмое: Константин Душенко, 1993.

О выгодности дракона: Константин Душенко, 1991, 1993.